

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5  
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1982

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|   |    |
|---|----|
| Трубачев О. Н. (Москва). Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики. (Окончание) . . . . . | 3  |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Филин Ф. П.</span> (Москва). О словарном составе языка великорусского народа | 18 |

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

|  |    |
|--|----|
| Бородина М. А. (Ленинград). Диалекты или региональные языки? . . .   | 29 |
| Швейцер А. Д. (Москва). К проблеме социальной дифференциации языка   | 39 |
| Белый В. В. (Винница). У. Д. Уитни и становление американского дескриптивизма . . . . .                            | 49 |
| Джаукян Г. Б. (Ереван). Индоевропейская фонема *b и вопросы реконструкции индоевропейского консонантизма . . . . . | 59 |

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

|  |     |
|--|-----|
| Герценберг Л. Г. (Ленинград). О следах индоевропейской просодики в латинском . . . . .   | 68  |
| Дегтярев В. И. (Ростов-на-Дону). Оформление связи сказуемого с подлежащим — именем собирательным в древних славянских языках . . . . . | 78  |
| Мурьянов М. Ф. (Москва). Еще раз о Минее Дубровского . . . . .   | 90  |
| Малкова О. В. (Москва). К проблеме падения редуцированных гласных в славянских языках и развития украинского икавизма . . . . .        | 95  |
| Петр Я. (Прага). О реализации программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» . . . . .                            | 103 |
| Бурчуладзе Г. Т. (Каспи). Редупликация и грамматические классы в лакском языке . . . . .   | 109 |

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

|   |     |
|---|-----|
| Дешериев Ю. Д. (Москва), Джорбенадзе Б. А., Щенгелиа В. Г. (Тбилиси). «Ежегодник иберийско-кавказского языкознания» . . . . . | 114 |
|---|-----|

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

|  |     |
|--|-----|
| Из лингвистического наследства Л. В. Щербы . . . . . | 118 |
|--|-----|

#### Рецензии

|   |     |
|---|-----|
| Будагов Р. А. (Москва). Язык и идеология. Критика идеалистических концепций функционирования и развития языка . . . . .                                     | 127 |
| Домашнев А. И. (Ленинград). <i>Ярцева В. Н.</i> Контрастивная грамматика  | 129 |
| Щерба Г. М. (Ленинград). <i>Сабанееса М. К.</i> Генезис косвенных наклонений французского глагола . . . . .   | 133 |
| Гордина М. В. (Ленинград). <i>Straka G.</i> Les sons et les mots . . . . .  | 134 |
| Баскаков Н. А. (Москва). <i>Imart G.</i> Description d'une langue de littérition récente. Avec une étude sur: Le dialecte kirghiz du Pamir a gan par Dor R. | 137 |

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Хроникальные заметки . . . . . | 140 |
|--------------------------------|-----|

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),

В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора),  
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 263-00-78  
Зав. редакцией И. В. Соболева

ТРУБАЧЕВ О. Н.

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН. ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ ПО ДАННЫМ ЭТИМОЛОГИИ И ОНОМАСТИКИ \*

Славянский и «древнеевропейская» гидронимия

Далеко еще недостаточно изучен вопрос об отношении славян к «древнеевропейской» гидронимии. Автор этой концепции Краэ несколько априористически, на основании неполноты сведений выразил в своих работах тенденцию как бы вытолкнуть славян из «древнеевропейского» гидронимического ареала [95]. В последнее время это положение коренным образом пересматривается в науке и выдвигаются данные, свидетельствующие об участии славянского в древнеевропейской гидронимии [96, 97], о вхождении также топонимии Правобережной Украины в центральноевропейский топонимический ареал к северу от Альп [98]. В свое время мы уже указывали на это, приводя конкретные соответствия: др.-европ. *Oumena* — укр. *Умань* [75, с. 113—114]; *Talamone* (Италия), *Tolmin* (Словения) — *Телемень / Товмень* (Украина) [75, с. 232]; др.-европ. \**Artan-tia*, *Armeno* (Триент), литов. *Armenà* — *Ромен* (Украина) [75, с. 209]. Название *Солучка* на верхнем Днестре реконструирует как др.-европ. \**Salantja* с соответствием в Швейцарии Удольф вслед за Трубачевым [6, с. 635]. Некоторые факты в этом духе можно найти в работах В. П. Шмида, однако к его преувеличенной балтоцентристской ориентации всей древней индоевропейской гидронимии Европы следует сделать некоторые критические замечания, отметив в первую очередь наличие в наиболее фондовом минимуме «древнеевропейской» гидронимии (еще у Краэ) ряда случаев, которые в ответ на дилемму — балтийский или славянский — соотносятся только со славянскими апеллативами, причем в балтийском точные лексические соответствия отсутствуют, например, др.-европ. \**alisā*, \**amā* — слав. «Wasservörter» \**olъa* (\**alisā*), \*(*jama* (\**amā*). К отмечаемому В. П. Шмидом на балтийской территории важному гидрониму *Venta*, который он в общем верно относит к русск. («Fluß im Gebiet von Minsk») *Вяча* < \**Ventiā* [93, с. 16], необходимо добавить, что предыдущие исследователи убедительно указывали на небалтийское, славянское происхождение данного гидронима [4, с. 309 и примеч. 10]. Лакуна между древнеевропейской гидронимией и славянским постепенно заполняется, и вместе с тем обогащается само понятие древнеевропейской (= древнеиндоевропейской) гидронимии Европы. Одновременно крепнет сознание древних связей славян с Центральной Европой, с локализацией и судьбами всего древнеиндоевропейского языкового конгломерата.

### Праиндоевропейский ареал

Несмотря на неутраченные споры вокруг «древнеевропейской» гидронимии (этому понятию летом 1982 г. исполнилось 20 лет), нам ясно принципиальное значение этого достижения и связанные с ним далекоидущие перспективы, их важность в решении вопроса всего индоевропейского лингвоэтногенеза. Поскольку последний, в свою очередь, теснейшим образом связан со славянским лингвоэтногенезом и пространственной ло-

\* Окончание. Начало статьи см. в ВЯ, 1982, № 4. Там же см. карты. При этом карта № 1: I период (III тыс. до н. э.); карта № 2: II период (II тыс. до н. э.); карта № 3: III период (1-ая пол. I тыс. до н. э.); карта № 4: IV период (2-ая пол. I тыс. до н. э.)

кализацией праславянского (отныне не скованной схемами балто-славянского языкового единства или постулируемых отношений западнобалтийского «отца» — праславянского «сына»), здесь уместно высказаться кратко и по этому вопросу вопросов, ограничившись лишь самым главным. Дело в том, что для древней локализации славян вовсе не безразлично, как казалось бы, откуда задолго до того пришли индоевропейцы и приходили ли они вообще в Европу издалека. Небезразличны, например, теории вторичной «курганизации» (= индоевропейзации) якобы первоначально неиндоевропейской Европы с Востока в V тыс. до н. э. [99]; по этому поводу мы не станем повторять, что культура и этнос не идентичны, а напомним лишь, что распространение культурных волн (которые всегда были больше сродни моде [100], чем обычно думают) не предполагает всякий раз перемещения самих посетителей культуры, самой среды. Обязательно ли с перемещением, скажем, боевых топоров перемещались и сами этносы-носители культуры? Может быть, здесь типологически уместно вспомнить опыт теории волн в сравнительном языкознании и подобно распространению языковых явлений и слов при сохранении устойчивых языковых границ представлять себе распространение артефактов благодаря моде, культурному обмену при сохранении границ этносов? Небезразличны для нас, далее, и новые или реновированные теории малоазиатско-передневожостной прародины индоевропейцев [101—104]. Индоевропейский и даже архаический характер отдельных хеттских гидронимов древней Анатолии мало что меняет, и он не может отменить дохеттской (западнокавказской?) принадлежности субстратного языка хаттов. Допускаемая и по этой теории вторичная северопонтийская, европейская прародина индоевропейцев Европы, пришедших сюда очень давно будто бы в результате миграции путем West by East в обход Каспийского моря или через Кавказ, тоже не удовлетворит нас, потому что при этом не объясняется главное: образование древнеевропейской гидронимии. Существенно, что ничего отдаленно напоминающего этот компактный ономастический ландшафт нет ни в Малой, ни в Большой Азии, хотя там ее зафиксировали бы древнейшие письменные традиции передневожостных цивилизаций<sup>18</sup>. Компактный древнеиндоевропейский ономастический ареал мы находим только в Европе, и диагностическое значение этого факта трудно переоценить в вопросе древней локализации индоевропейцев. Его не могут ослабить попытки отыскать доиндоевропейские элементы в индоевропейском слое [106—108], сами по себе не очень убедительные (почему, например, нужно считать \**kar-* «камень» доиндоевропейским?), хотя, как мы теперь знаем (выше), инородные включения в праязыковом ареале — нормаль-

<sup>18</sup> Спор о том, повторяется или нет древнеевропейский гидронимический ландшафт в древней Анатолии (contra — А. Шерер и рго — [105], не может считаться окончательным, т. е. решенным в положительном смысле, как это попытался представить Б. Розенкранц в указанной статье. Трудолюбиво собранные им материалы дают повод для нескольких иных заключений. Во-первых, бросаются в глаза серьезные отличия: присутствие в древней Анатолии редуцированных, или итеративных гидронимов (*Sigašiga*, *Ululuca*), совершенно чуждых гидронимии древней Европы. Во-вторых, почти половина древнеевропейских гидронимических основ, конкретно — 12-13, из 28, отсутствует в древней Анатолии [см. 105, с. 143, таблица], причем богатство хеттской письменной документации делает случайные пропуски маловероятными. В-третьих — и это главное — находят соответствие в Анатолии те из древнеевропейских форм, которые имели живую опору в хеттской грамматике (парадигма *-r/-n/-nt-*), словообразовании (суф. *-iā-, -l-, -s-*) и лексике (*hara-* «река»), и, наоборот, отсутствие анатолийские соответствия важнейшим др.-европ. гидронимическим основам \**adu-/adru*, \**ak<sup>u</sup>ā*, \**dreg-/dru-*, \**ned-/nad-*, \**neid-/nid-*, \**pol-*, \**yeis-/yis-*, \**albh-*, \**arg-*, \**ag-*, \**oudh-*, \**ner-/nor-*. И-е основа \**danu-* выразительно размещается только на нехеттском западе Малой Азии, а также в возможной южной зоне и-е. проникновения с З<sub>1</sub> а п а д а в Палестине («морские народы? неласты/неласги/филистимляне?»), ср. *Jordan* при др.-европ. *Rho-danus*, *Danubis*, *Tanais*, и в Передней Азии. Бросается в глаза то, что в случае с древнеевропейской гидронимией факт прямой мотивировки ее со стороны конкретного языка отсутствует и о последнем возможны лишь косвенные суждения на базе самой гидронимии Древней Европы, а это, в наших глазах, показатель большей древности древнеевропейской гидронимии, чем явно вторичной индоевропейской гидронимии Анатолии, с чем, кажется, соглашается и Розенкранц [105, с. 144].

ное явление. Его не могут дискредитировать, с другой стороны, наивные попытки найти «das letzte Indogermanisch» в «северо-западном блоке» на южн. Рейне (ареал гидровимов на *-ara*, некельтских и негерманских), который (Indogermanisch) якобы не выдержал трудных условий жизни в зоне германско-римских военных действий к началу н. э. [109].

### Дунайский регион

Предполагая, таким образом, тесную взаимосвязь и значительное совпадение ареалов древнеевропейской гидронимии и собственно праиндоевропейского ареала заселения, мы считали бы целесообразным прислушаться к мнениям тех ученых разных специальностей, которые давно обратили внимание на дунайский регион, ср. констатируемую антропологами иррадиацию дунайского круга еще в неолите [110], вскрываемые археологами балканско-дунайские влияния и распространение отсюда в Северное Причерноморье злаков, скота, металла в V—IV тыс. до н. э. [111]. Существенно, что на Среднем Дунае и на Украине отмечается раннее одомашнивание лошади (V—IV тыс. до н. э.) [112]. Конечно, здесь ведутся споры, причем по самому главному вопросу — считать древний придунайский (дунайско-балканский) очаг цивилизации этнически индоевропейским или доиндоевропейским. Однако мнения об индоевропейской принадлежности, скажем, ареала линейно-ленточной керамики V—IV тыс. до н. э. (в том числе — трипольской культуры) не единичны. Наиболее радикальное выражение этих взглядов — теория дунайской прародины индоевропейцев [113, с. 19]. Разумеется, создаваемая ныне с особенной остротой сложность проблемы реконструкции древних лингвоэтнических отношений, а также сложность самих этих отношений (а не простота и психодное единство, о чем — выше) побуждают не идти дальше признания несколько расплывчатого древнего ареала обитания, т. е., скажем, допущение древнего индоевропейского дунайско-балканского ареала отнюдь не исключает отнесения сюда же части территории Украины и, возможно, других соседних областей, как не исключает оно и присутствия неиндоевропейских элементов хотя бы в части этого ареала. Но дилемма — праиндоевропейская Европа или Азия — лингвистически решается все-таки в пользу Европы. Центральноевропейская локализация отвечает и структурно-типологической характеристике индоевропейского — между уральскими и севернокавказскими языками [114]<sup>19</sup>. Весьма существенные ограничительные критерии получаем мы и с другой стороны. До тех пор, пока датировка индоевропейской дифференциации и расселения не шли вглубь дальше II—III тыс. до н. э., археологи и индоевроведы особенно немецкой школы (или школ) всерьез считались с возможностью североευропейской (прибалтийской) прародины, полагая, что конец оледенения на Севере очень далек и его можно не принимать в расчет [115]. Но сейчас индоевропейские датировки углубляются и удвоятся, они практически совпадают с концом очищения Северной Европы ото льда — около 4000 г. до н. э., а это делает просто невозможной северную локализацию прародины. Север стал заселяться только после этой даты и только с юга [116], что лишь увеличивает шансы Центральной Европы.

### Праславяне на Дунае

{С концепцией центральноевропейского ареала древних индоевропейцев связана и теория дунайской прародины славян, как она традиционно называлась и по распространенному мнению отвергалась наукой нового времени. Между тем заложенное в ней рациональное ядро дает право возвратиться сейчас к рассмотрению ее фактической возможности и к исторической увязке с другими разновременными ареалами обитания славян. Дунайская теория, впрочем, никогда не утрачивала полностью своей при-

<sup>19</sup> Аналогично раньше Трубецкой.

влекательности, и голоса в пользу ее реабилитации раздавались и прежде и недавно в нашей литературе, но это были, например, выступления этнографов, слабо или просто недоброкачественно обоснованные лингвистически [117, 118]. Предмет объективно труден, и не приходится думать о едином решении всех сложных вопросов, но материал для конкретных суждений и для пересмотра все-таки накопился, и не в интересах наук и надолго откладывать его обсуждение.

### Славяне восточные, западные, южные

О восточных славянах справедливо сказано (Б. А. Рыбаков), что для них история начиналась на юге. В самом начале мы уже говорили о народной памяти о Дунае, все еще живущей среди восточных славян. Конечно, вопрос о древнем среднеднепровском ареале славян продолжает стоять и сохраняет свое значение, особенно как исходный ареал для дальнейшего развития собственно восточного славянства. Единственное, на чем, видимо, не следует настаивать, — это (в свете изложенного ранее) на его четкой отграниченности и универсальности для всех времен и для всех славян. Не исключено, что для каких-то предшествующих периодов (см. отчасти выше) среднеднепровский ареал славян был лишь частью (периферией) более крупного, иначе локализованного пространства<sup>20</sup>.

{Польские (и шире — лехитские) территории были освоены славянами лишь вторично, и обратного не удалось доказать польской этногенетической и лингвистической школе, несмотря на наличие здесь ярких достижений и эффектных разработок, включая введение сравнительного частотного анализа текстов. Есть серьезные доводы, которые сводят на нет результаты польского автохтонизма. Меньше всего могут рассчитывать на успех крайние точки зрения, например, стремление обязательно доказать славянское происхождение названий рек *Wista, Odra, Noteć* и др. [7, с. 323]. Впрочем, и среди польских сторонников прародины славян по Одеру и Висле признается спорность происхождения и вторичная славизация ряда гидронимов этого района, указывается на неоспоримость единственно того факта, что гидронимия по Одеру и Висле носит индоевропейский характер, а это равносильно допущению возможности пребывания здесь также других племен [120]. Конечно, мы далеки от мысли прибегать в этом дискуссионном вопросе о висло-одерской прародине славян к старой (и не оправдавшей себя) аргументации, доказывавшей автохтонность этноса через отсутствие инородных названий в ареале обитания; мы знаем, что и присутствие таковых не исключает само по себе возможной исконности пребывания данного этноса. Просто ставка Лер-Сплавинского и его школы на исконнославянскую принадлежность макрогидронимов Польши оказалась вдвойне ненадежной: 1) гидронимы эти допускают более широкую индоевропейскую (скорее всего — не славянскую) мотивацию, 2) макрогидронимы, как указывается в последнее время, этногенетически не показательны. Таким образом, возможность исконнославянского пребывания и тем более — конституирования славянского этноса на польских землях — не самая вероятная из возможностей. В этой связи приобретают значимость различные сигналы о вторичности появления славян на польских и шире — большей части западнославянских земель; ср., например, выдвинутый нами ранее тезис о в т о р и ч н о й о к ц и д е н т а л и з а ц и и серболужицких языков, прослеживаемой на составе лексики, отличным от других западнославянских [79, с. 391—392]. {Серболужицкие территории заселялись славянами в значительной степени с юга [121], а не с востока, как ожидалось бы по висло-одерской теории. Видимо, и польские земли заселялись славянами с юга, как об этом рассказывает Повесть временных лет в эпизоде о волохах, древним характером которого мы займемся ниже. Отношение этнонима вислянских (польских) полян и схожего, но темного, дославянского племенного названия буланы, *Bořlame;*

<sup>20</sup> Ср. указание антропологии на высокий процент средиземноморского типа у восточных славян [119], как, впрочем, и в Польше.

(Штолемей) (ср. [122, с. 45]) говорит о славизации, а не об автохтонности. Тем более сомнительны попытки трактовать северо-западное славянство как родину сначала восточных, а потом — южных славян [123—124]. Отсутствие пражской керамики, земляных жилищ и урновых погребений — сожжений между Одером и Вислой [125] довершает сомнительность изначально славянского характера именно этих территорий.

### Славянская ономастика Подунавья; сравнительный возраст этнонимии и антропонимии

Южные славяне — пришельцы на Балканах, но пришли они, по-видимому, из относительно ближайших мест, откуда они могли проникать путем ранней инфильтрации и на Восток и на Север. Еще Копитар думал о праславянах на Дунае и о Паннонии как центре их миграции [126]. Считается, что Нидерле положил конец этой старой теории, хотя, строго говоря, ни археология, ни историческое языкознание (ономастика) не могли тогда (да вряд ли смогли бы и позже) предоставить в распоряжение Нидерле систематическую и полную отрицательную аргументацию. Впрочем, и Нидерле готов был допустить существование островов славян среди иллирийцев и фракийцев с первых веков нашей эры и признавал славянское происхождение названий *Vulka, Vrbas, Tsierna, Pathissus* [127], как и опровергаемый им Шафарик [122, с. 118 и сл.]. Версия о приходе славян «откуда-то» родилась в свое время из неправильно истолкованного молчания греческих и римских авторов о славянах как таковых. Шафарик справедливо опроверг ложный вывод о том, что славян в ту эпоху не было вообще [128]. Мы сейчас в состоянии достаточно конкретно оценить эту ситуацию, считая, что этноним (аутоэтноним) *славяне* (который, кстати, уже у Шафарика правильно связан со словом при помощи аналогии др.-русск. *кличане* [129]) — категория историческая, он существовал не всегда, был естественный период в жизни праславян, когда такой макроэтноним еще не требовался, без него прекрасно обходились! Этнонимия моложе антропонимии и вообще представляет собой относительно самый молодой раздел ономастики, потому что предполагает развитое коллективное сознание. Здесь уместно напомнить, что у славян и антропонимии оказывается более новой, молодой по составу и образованию на индоевропейском фоне [130], что вполне уживается с архаической характеристикой языка славян. Эту историческую особенность антропонимии, пожалуй, упускают из виду даже сами ономасты, делая прямые заключения на основе, скажем, отсутствия славянских личных имен в античной северопонтийской эпиграфике об отсутствии в этих местах самих славян. Точнее было бы теперь сказать так: славянская антропонимия в нашем понимании тогда еще не сложилась, а сами славяне бывали и в этих местах, о чем, кажется, говорят славяно-иранские связи скифского времени, а также возможные славяно-индоарийские связи приблизительно той же эпохи. Молодость славянской антропонимии удобна для нас своей датирующей потенцией: наличие в ней иранских влияний говорит о том, что эти влияния (славяно-иранские контакты) не следует слишком рано датировать. Относительно неустоявшийся характер как этнонимии, так и антропонимии дунайских славян уже в довольно позднее время явствует из примера личного имени моравского князя *Pribina*, которое мы реконструируем и этимологизируем как кличку *\*priĭbina*, поскольку о Прибине доподлинно известно, что он — *filius ex alia coniuge* [131], ср. сюда же словен. *prijebiš* «внебрачный» (Pleteršnik).

Таким образом, в жизни славян (на Дунае и в прилегающих землях) был период, когда этноним *\*slovĕne* отсутствовал, и это зафиксировали античные писатели. Когда писатели византийского времени упоминают о славянах-склавенах, они связывают это имя опять-таки с населением околонунайских районов; особенно четко это представлено у Иордана, где говорится, что севернее склавлен живут венеты, а к востоку, за Данастром, — анты. Периферийные венеты, венеды и анты — тоже славяне, но они названы заимствованными именами, как часто бывает в пограничных

районах, а срединные склавены-славяне носят свой исконный аутэтноним.

Венгры, осваивая свою страну, застали там густое славянское население и славянскую топонимию. Разнообразие типов последней показывает ряд примеров из книги Я. Станислава (в венгерской, румынской графикае и реконструкции автора): *Tírna*, *Sztruga*, \**Bързъ*, \**Rěčina*, \**Bystrica*, \**Sopot*, \**Toplica*, \**Kaliga*, \**Bělggrad*, \**Prěvlak*, \**Konotora*, \**Dьbricinъ*, \**Požega*, \**Сръньградъ* [132]. Эти и подобные им названия распространены в Паннонии и Потисье, т. е. по обе стороны Дуная. Особенно обращает на себя внимание водная номенклатура, топонимия Потисья, ее преемственность с давнего времени. Основной гидроним района — название реки Тиса, левого притока Дуная, затем группа территориально и структурно близких гидронимов — *Marou*, левый приток Тисы, *Samou*, также приток Тисы, *Temesh*, река в Банате. Название *Tisa* (венг. *Tisza*, рум. *Tisa*, нем. *Theiß*) — очевидно, продолжает форму \**Tisā*, индоевропейского происхождения, скорее всего неславянского [133, с. 87 и сл.]. Весьма любопытно, что древняя запись *Pathissus*, -um у Плиния (I в. н. э.) отражает не столько название реки, сколько название местности на ней, типично славянское сложение с префиксом *pa-* = *po-*, ср. *Поморье*, *Полабье*, *Подунавье*, *Посулье* [122, с. 118 и сл.] (прочие записи, скорее дефектные, и иные объяснения здесь опускаем). *Marou* (венг. *Maros*, рум. *Mureş*) известен, начиная с геродотовской формы *Mίρι*; и в общем единогласно возводится к и.-е. \**mori* «море» [133, с. 92; 134, с. 408], а суффикс, также индоевропейского происхождения, имеет, по-видимому, славянскую огласовку (-*is-jo* > -*ish*), к тому же объединяющую несколько гидронимов только этого района, а именно упомянутые также *Temesh* (венг. *Temes*) с не вполне ясной историей, но, по-видимому, через промежуточное слав. \**tm-ish* «темная (река)», связанное с близким иноязычным индоевропейским названием, ср. англ. *Thames*, древнее, доанглосаксонское *Tamesis*; наконец, *Samou* (венг. *Szamos*, рум. *Someş*), без соответствий за пределами славянского; в последнем случае Георгиев допускает образование от слав. \**somъ* «сом, *Silurus glanis*» [133, с. 93].

Древний возраст этой гидронимической группы очевиден, а также вероятно конкретное участие славянских основ и формантов в ее образовании, как, впрочем, и тесное славянско-индоевропейское взаимодействие, затрудняющее даже различение разноязычных компонентов и их атрибуцию (балканско-индоевропейский? кельтский?). Необходимо отметить, что современный исход на -š (*Marou*, *Samou*, *Temesh*) унаследован венграми от прежде живших здесь славян [135; 132, с. 162], в языке которых он явился преобразованием более древнего -*sjo*-.

К славянскому топонимическому фонду относится, вероятно, название населенного пункта «на границе Венгрии и Валахии» *Tsierna* (римская надпись II в. н. э.), Διερνα (Птол.), *Tierna* (Tab. Peut.), на что обратил внимание уже Шафарик в связи с местонахождением *Tsierna* на реке Черна [122, с. 118 и сл.], хотя Георгиев видит здесь дакское *Tsierna*, *Tierna* < и.-е. \**k<sup>er</sup>(ð)sna* «черная» [136].

Совершенно особую проблему в этом ряду представляет венгерское название исторической области в верховьях Тисы — комитата *Máramaros*, *Мармарош*, рум. *Maramureş*, первоначально — название небольшой местной реки. Высказывалось мнение, что здесь представлено удвоение все того же и.-е. \**mori* «море» [134, с. 404]. Конечно, близость вышеназванного гидронима *Maros* бросается в глаза, но состав целого требует объяснения, которое может оказаться несколько иным. Невольно вспоминается тут загадочное название «северного океана», которое Плиний, с чужих слов, приписывает кимбрам — *Morimarusa*: *Philemon Morimarusam a Cimbris vocari, hoc est mortuum mare* «Филемон (сообщает), что он (северный океан) у кимбров называется *Morimarusa*, то есть мертвое море» (С. Plin. Sec. Nat. hist. IV, 13). Кимбры — германское племя, но выражение *Morimarusa* — явно негерманское. Описываемые Плинием здесь же «берега Скифии» и выбрасываемый волнами янтарь свидетельствует о том, что речь идет о Балтийском море, а сведения получены с Янтарного пути,

который пролегал через Среднее Подунавье. Отсюда, видимо, и происходит в результате неточно паспортизованной информации и плиниевское *Morimarusa*, о котором довольно уверенно сказать, что это выражение на индоевропейском (негерманском) языке и глоссируется оно у Плиния весьма правдоподобно: «*trouuum mare*, мертвое море». На основании глоссы членить его следует как *mori marusa*, выражение из двух слов, первое из них — и.-е. \**mori*, а второе, видимо, носитель значения «мертвое», без натяжек идентифицируется как прич. прош. на *-us-* («умершее»). Название моря в этой форме могло быть у кельтов, которые бывали на Среднем Дунае, но в кельтском не было причастий на *-yes, -nos, -us*, известных в индоиранских, греческом, балтийских, славянских [137]. Нам остается лишь высказать гипотезу, что *Máramaros* = *Morimarusa* и что здесь отражено праслав. \**mor'je mьrъše* (или раннепраслав. \**mari mьrja?*) «умершее море». Исследователи отмечают существование в Потисье значительного района затопления вплоть до недавнего времени [132, с. 164]<sup>21</sup>. Очень близкую к славянской форму названия моря имел, по-видимому, также фракийский, ср. сложный этноним *Μαριανδύνοι Mariandyni*, название обитателей приморского района Малой Азии — от \**marian* «море», но *Morimarusa* — не фракийское название. Морская семантика и.-е. \**mori* применена в нем к внутриконтинентальному разливу фигурально, ср. и (фигуральное) употребление здесь причастия «умершее».

Мнение о том, что праславянская территория была значительно ближе к балканско-анатолийским культурам, чем принято обычно думать, высказывал Будимир [138]. Вообще проблема дунайской прародины славян имеет сторонников в югославской исторической и археологической науке<sup>22</sup>. К этому следует добавить отмечавшееся и в нашей литературе большое совпадение ареала пражской (достоверно славянской) керамики и распространения склавен по Иордану в основном на Среднем Дунае [140; 118, с. 77].

#### Кельты и славяне

С середины I тыс. до н. э. для славян, как и для других племен, живших в Дунайской котловине, возникла кризисная ситуация в связи с экспансией кельтов. На территорию Чехии и Подунавья проникли бои и вольки-тектосаги (вольки — «любители странствий»). Последние, выйдя из Галлии и двигаясь на восток вдоль южных границ тогдашнего германского ареала, приобрели известность под германизированным именем (герм. \**Walhōz* < галльск. *Volcae* [82, с. 43]). Экспансии кельтов сопутствовал их культурный подъем в галльштатское и позднее — в латенское время IV—III вв. до н. э. В Чехии, Моравии и Паннонии возник симбиоз местного населения с кельтами. С этого момента начался контакт славян с волохами, как назвала кельтов начальная русская летопись, отразив германскую форму. Верную мысль Шафарика о том, что волохи — это кельты [122, с. 80, 99, 103; см. еще 117, с. 13, 37], не смогло расшатать позднейшее комментаторство. Помимо культурного влияния кельтов в условиях мирного симбиоза, дело не обошлось и без военного нажима, в результате чего значительная часть славян была потеснена на север. Этот важнейший фрагмент славянской и европейской истории запомнила славянская народная традиция и отразила спустя больше тысячи лет в русской летописи. Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет (ПСРЛ, 2-е изд. Т. I. Л., 1926), л. 2об — л. 3: Волхомъ бо нашедшемъ на Словѣни на Дунаискии. [и] сѣдшемъ в ни<sup>х</sup>. и насилдшемъ имъ<sup>б</sup>. Словѣни же ови пришедше сѣдоша на Вислѣ. и // прозвашаса Лахове. Ипатьев-

<sup>21</sup> Со ссылкой на Э. Моора.

<sup>22</sup> О находках в Северной Венгрии и на средней Тисе материальных следов культуры «скифского характера» см. [139, с. 260]; симбиоз *Urnfelderkultur* и элементов скифской культуры в Паннонии, откуда — народ, «называющий себя паннонцами» (Dio Cass. XLIX, 36), в котором автор видит славян, сопротивляющихся римской оккупации I в. н. э., частично остающихся или уходящих из этого района; отсюда — стремление ушедших вновь вернуться в старую отчизну, см. [139, с. 267].

ская летопись (ПСРЛ, 3-е изд. Т. II. Вып. 1, Пг., 1923), л. 4: Волохомъ бо нашедши<sup>м</sup> на Словены, на Дунайские, и съдшимъ в нихъ, и насилующимъ имъ. Словѣни же ови пришедше и съдоша, на Вислѣ, и прозвапаса Ляховѣ. — Ушли не все славяне, и летопись, далее, рассказывает, что угри (венгры), придя сюда долгое время спустя, — (Лавр. лет., л. 80б): ...почаша воевати на жиущаа ту, Волхи, и Словѣни съдаху бо ту преже Словѣни, и Волхве, приаша землю Словенскую посемь же Оугри прогнаша Во<sup>л</sup>ххи, и наслѣдиша землю [ту]; Ипат. лет., л. 10: ... и почаша

воевати на живущаа ту съдаху бо ту преже Словене, и Волохове, переша землю Во<sup>л</sup>ынскую (вар. словенскую).

Во времени венгерского пришествия содержание этнонима *волохи*, конечно, могло измениться, но сводить его только к обозначению романизованного населения [141—142] было бы не совсем верно, как о том свидетельствуют возможные кельтские остатки в языке самих венгров. Так, в венгерском сохранилось старое обозначение славян, живущих в Венгрии, словом, *tót* < \**tout*, первоначально «(простой) народ», ср. др.-ирл. *tūath* «народ, племя, страна», кимр. (уэльск.) *tūd* «страна» (\**teutā*); слово прослеживается и в иллирийской ономастике, но венграми вполне могло быть перенято у кельтов-волохов, обозначавших им местных славян. Другой возможный реликт — венг. *mén* «жеревец», стар. *Menu-*, считаемое неясным [143]; ср. *mannus*, галльское название низкорослой лошади (в латинском), также с возможными иллирийскими связями.

Славяне, отступившие к северу, на Вислу, увлекли за собой кельтов. В Южной Польше констатируются сильные кельтские влияния, в частности, в металлургии, следы сосуществования кельтов со славянами [144], топонимия кельтского происхождения, например, название гор *Pieniny*, которое происходит, конечно, не от славянского названия *пены*, а запесено кельтами и этимологически тождественно названию гор *Penine* в Англии от кельт. *penno* «голова». Археологи связывают прямо с кельтами наблюдаемый в погребениях пшеворской культуры обычай сгибания захороненных даров и прежде всего — оружия, мечей [145, 146]. Невольно при этом вспоминается лексическая группа слав. \**gybnŏti*, \**gyběl* «гибнуть», «гибель» из первоначального «сгибать», «сгибание». Не ограничиваясь этим районом, кельты и кельтские влияния шли также на восток, на территорию Правобережной Украины и Северного Причерноморья. Галатов, т. е. галлов, упоминает буквально у стен Ольвии эпиграфический декрет Протогена III в. до н. э. [147]. Спицын обнаружил много предметов гальштатской культуры на Немировском городище скифского типа в Подолье, уместно вспомнив при этом, что Эфор называл кельтов соседями скифов [148]. Не удивительно поэтому наличие на Украине древних следов кельтов в географических названиях, как, например, *Кърробоѡчѡч* (буквально «каменный город», кельт.), отождествляемое с *К а м е н е ц - Подольском* [149]. В этой связи название *Галич*, *Галичина*, *Галиция* вероятно сближать с именем галатов<sup>23</sup>. Присутствие определенного латенского компонента также в среднеднепровской зарубинецкой культуре [152] вызывает у исследователей предположение о ранней инфильтрации кельтов вместе со славянами и в пределы Правобережной Украины.

Кельтско-славянские языковые и этнические отношения — традиционная весьма дискуссионная проблема. Для их обсуждения явно недоставало реальной исторической базы, чем была вызвана неудача обширных построений Шахматова [153], отождествившего кельтов с венедами древних авторов и поместившего кельтско-славянские контакты у Балтийского моря. Висло-одерская теория Лер-Сплавинского тоже, скорее, противоречила его же допущению кельтско-славянских контактов, которые могли стать тесными только на более южных территориях. В результате можно сказать, что мы все еще плохо представляем себе эти отношения. Выше

<sup>23</sup> Об обнаружении в Галиции кельтского археологического комплекса, со ссылкой на работу Л. И. Крушельницкой, см. [150]; объяснение др.-русск. *Галичь* от *галица* (Фасмер, I, с. 388) все-таки не бесспорная этимология; еще более сомнительна этимология *Галиция* < балт. \**gal-* «предел», см. [151].

ужо) говорилось кратко, что «кентумными» элементами своего словаря славянский обязан в значительной степени кельтам, что было продемонстрировано на вероятном примере кельт. *carvos* «олень» — праслав. \**korva* «корова». Еще одним возможным случаем этого рода является праслав. \**konь* «конь, лошадь», до сих пор не имеющее удовлетворительной этимологии (каковой едва ли можно считать попытку объединить в одной парадигме \**kom(o)нь*, \**kobнь*, \**kobyла*). Кажется более перспективным привлечь кельт. (галльск.) \**kankos*/\**konkos* «лошадь», сохранившиеся в остаточных формах и в антропонимах и родственное др.-исл. *Há-* «лошадь», *hestr*, др.-в.-нем. *hengist*, нем. *Hengst* «жеребец»<sup>24</sup>, сюда же литов. *šankùs* «проворный, быстрый», все вместе — из и.-е. \**k̑a(n)k-* «скакать», с носовым инфиксом. Кельт. \**kanko-*/\**konko-* «скакун» было интерпретировано при заимствовании как славянский деминутив на *-k-* суффиксальное, почему первичными можно считать славянские формы \**konikъ*, \**konьkъ*, откуда лишь вторично, на славянской языковой почве — слав. \**konь*. Кельтский мир не однажды обогащал своих соседей лошадиной терминологией, ср. уже упоминавшееся галльско-латинское название пони — *mannus* из кельт. \**mandos* и, конечно, нем. *Pferd* из греческо-кельтского гибрида *paraverēdus*.

### Проблема невров

Без обращения к кельтскому, видимо, не решить важнейшую проблему древней истории и этногенеза славян — проблему невров. Кто были невры? — В ответах на этот вопрос царит удивительное разнообразие.

В древней этногеографии Северного Причерноморья, дошедшей до нас благодаря Геродоту, невры располагались на запад от скифов, на рубеже с агафирсами, т. е. балканским миром. Это определяло этническую идентификацию невров последующими учеными. Шафарик видел в них «виндов», т. е. славян [122, с. 125], как и в наше время — Лер-Сплавинский, Мошинский, ряд советских археологов [5, с. 13; 4, с. 98 и сл.; 155, с. 175; 156]. Кипарский и вначале Чекановский, сопоставив названия *Neuroi* и *ziemia Nurska* на границе Польши и Украины, сочли невров неразделившимися балтославянами эпохи до перехода дифтонга *eu* в балт. *ju* и слав. (*j*)*u*, причем Кипарский даже протимологизировал название этих балто-славян как «понурий, печальный», ср. литов. *niaurus* [157]<sup>25</sup>. В последнее время все больше видят в неврах балтов, даже — восточных балтов [159]. А между тем после изложенного выше о кельтах и их передвижениях всего естественнее допустить кельтскую принадлежность геродотовских невров, указав на связь их названия с названием племени *Nervii* в Галлии [160; 118, с. 30], тем более, что ни у балтов, ни у славян мы не знаем этнонима, близкого имени невров. Различие форм *Neuroi* и *Nervii* — скорее диахронического и диалектного характера. К тому же в литературе уже указывалось, что у Аммиана Марцеллина упоминаются нервии у истоков Борисфена (Припяти?), а у Плиния в тех же местах — невры [155, с. 172, примеч. 38].

Кроме того, из античной поэзии известно весьма любопытное и показательное описание невра: *te modo viderunt iteratos Bactra per ortus, / te modo munito Neuricus hostis equo. Sex. Propertii. Elegiarum IV, 3, 7—8* (recensuit M. Schuster. Lipsiae, MCMLIV, p. 142); в русск. переводе: Видели Бактры твое многократное в них появленье. Видел и невр-супостат, в броню одевший коня... — Согласимся, что невр, восседающий на бронированном коне (*munitus equus*), о котором пишет «нежная Аретуза»

<sup>24</sup> Отнесение к кельт. \**konko-*, вслед за А. Шерером, *laetum equino sanguine Concano* у Горация, *Satm. III, 4, 34* см. [154, с. 428]; к галльск. \**kankos* «лошадь» тот же автор отнесит собственные имена *Cancius*, *Canculus*, *Cancia*, см. [154, с. 429, примеч. 1150].

<sup>25</sup> Со ссылкой на [158, с. 124], где Чекановский у своей точке зрения 1927 г. отнесительно невров как недифференцированных балто-славян; с. 116: невры — предки восточных балтов, ср. также с. 123: невры — балты по языку, по мнению «большинства ученых».

в письме своему Ликоту на восточный фронт, — мало похож на раннего славянина, по данным, которыми располагает наука. Зато известно, что кельты латенского времени были искусными металлургами, железодельцами и кузнецами. И германцы, и затем — славяне переняли кельтское название нагрудного панциря [161, 162].

Как уже было сказано выше, из Галлии в Подунавье проникают бон и вольки-тектосаги. Дальше — на Висле и в Галиции, на Волыни — вольки прямо уже не прослеживаются, выступают негры, племя под другим названием. Однако вот что рассказывает о неврах Геродот: «Скифы и эллины, живущие в Скифии, говорят, что раз в год каждый из негров превращается в волка на несколько дней и снова обратно становится тем, чем был» (Herodoti historiae IV, 105. Recognovit C. Hude. Oxonii, 1976). Можно, конечно, как это нередко и делается, находить здесь корни славянских поверий о волколаках, вурдалаках. Но вполне вероятно, что дело здесь не столько в суевериях вокруг ликантропии, сколько в ритуально поддерживаемой и обновляемой памяти этноса о своих родственных связях. Периодическое «превращение» негров в волков обращает наше внимание на тот факт, что кельтский этноним *Volcae* этимологически значил «вольки» (иные объяснения, например, к ирл. *folg* «проворный, живой») [163], неубедительны), и это несмотря на то, что и.-с. \**wlk*<sup>u</sup>*os* «волк» почти повсеместно и очень рано вытеснено в кельтских языках, очевидно, по мотивам табуизации, за вычетом слабых реликтов в антропонимии и т. д., а также несмотря на то, что собственно кельтское (древнеирландское) продолжение индоевропейского слова для волка имело бы форму \**flich*-/\**flech*- [154, с. 380]. Табуизация и вообще маркированность этнонимии объясняют присутствие в таких случаях как бы «перекрестных изоглосс» (термин В. П. Абаева), объясняющих построение термина «волк» и этнонима «вольки» как бы не совсем по правилам своего языка (вспомним «неправильное» лат. *lupus*, вместо правильного \**volcus*, \**vulcus*). Вольки-тектосаги распространились в Подунавье неподалеку от племен даков (этимологически — тоже «вольки»). Удаков, как позднее и у румын, видимо, на эту почву легли представления о волках-оборотнях [164]. Не лишено интереса то, что слав. \**vlkь* «волк», полностью отсутствующее в антропонимии большинства славянских языков, выступает в личных именах части южных славян — у сербов, хорватов <sup>26</sup>.

#### Языковые связи и культура (славяне, кельты, иранцы, индоарийцы)

Кельты к северу и к востоку от Карпат совершенно растворились среди славян. В этом конечный смысл эпизода негров, в котором не участвовали балты. Очень многое сгладилось за тысячелетия, прошедшие с тех пор, хотя несколько слов, которые породило кельтское влияние, до сих пор занимают важное место в славянском словаре. Эта лексика и это влияние, как мы отчасти рассмотрели выше, касались почти исключительно материальной культуры, почти не затронув идеологии, и в этом — полное отличие от славяно-иранских контактов, которые, сохраняя также свою проблематичность в ряде вопросов, несомненно затронули в первую очередь идеологию, религиозную и социальную сферу жизни праславян, но не их материальную культуру. Не очень отличаясь по времени от кельтско-славянских отношений (особенно если учесть реальность даже непосредственных кельтско-скифских контактов, как бы перекрывающих славянское пространство, ср. выше свидетельство Эфора и данные археологии), славяно-иранские отношения не только фиксировались на восточной периферии славянства, где постепенно, как полагают, дело дошло до симбиоза славян и иранцев в черняховской культуре первых веков нашей эры [80, с. 100], но и проявлялись в результате глубоких проникновений иранских племен в славянский ареал, что ярким образом, хотя и

<sup>26</sup> Ср. серб.-хорв. *Vukobrat*, *Vukoman*, *Vukomil*, *Vukomir*, *Vukosav*, *Vukovoj*, *Bjelovuk*, *Dobrovuk*, *Milovuk* см. [130, с. 73].

косвенно продемонстрировало существование ранних праславянских диалектов задолго до того времени, для которого о них считала возможным говорить славистика 50—60-х годов (ср. [165]). Часть древних иранизмов не вышла за пределы (части) предзападнославянских диалектов. В этом смысл феномена, который был в свое время мной описан и приблизительно обозначен как \*«*polono-iranica*» [166], когда, например, лексический (социальный) иранизм \*(*gъ*)*panъ* «господин» охватил только часть западнославянского (без серболужицких). Иранских влияний ожидали только с востока и на востоке, поэтому понятия реакция Кипарского, который в беседе о моих *polono-iranica* сказал мне: «Вы поставили все с ног на голову». Однако археологии давно известны набеги скифов в область лужицкой культуры (заходившей и на территорию современной Чехословакии), которые были вызваны, как полагают, походом персидского царя Дария на скифов в 512 г. до н. э.<sup>27</sup>

Славяно-иранские отношения начались, по-видимому, в основном около середины I тыс. до н. э. Они заметно коснулись славянской антропологии, которая в это время только еще конституировалась, отделяясь от апелмативной лексики; во всяком случае, если в славянском и существовали унаследованные древние индоевропейские двухчленные антропонимические модели, их лексическое наполнение (и грамматическая модификация) испытали в эту эпоху иранское влияние [130, с. 63, 99, 206, 218]. Характер этого влияния отражал воздействие религиозно-социальной сферы, свойственной иранцам, скифам того времени. Но до глубокого воздействия на строй и звуковой состав праславянского языка дело, по-видимому, не дошло. Славянское *x*, которое нередко рассматривают как продукт славяно-иранских контактов [168], в значительной степени случайно совпало с иранским *h*, *x*. Достаточно сказать, что в иранском это результат *a b c o l y u t i o g o* перехода старого *s* (аспирация), в славянском — *п о з и ц и о н н о о б у с л о в л е н н ы й* процесс, объяснимый только условиями славянского языкового развития, которое привело к возникновению новых согласных, причем отчасти — в условиях сходных (стадия аффрикаты): *ks > x*; (и-е.  $\hat{k} >$ ) *ts > s*. Тенденция к постепенному повышению звучности, впоследствии так ярко выразившаяся в гласном облике славянской речи, задолго до того проявила себя в праславянских консонантных инновациях (здесь — дезаффрикация).

Правобережная Украина по крайней мере в I тыс. до н. э. уже была частью (периферией) праславянского лингвотнического пространства. Поскольку сейчас сложность древней этногеографии Скифии вырисовывается все более настойчиво и мы приходим к констатации реального сохранения на части (частях) ее территории, наряду с иранским (скифским), индоарийского (праиндийского) ее компонента или его реликтов, встает уместный вопрос о реальности также славяно-индоарийских контактов приблизительно в скифское время [169, 170]. Эта констатация, опирающаяся на систематизированные аргументы и факты, при всех спорах, которые она породила и еще может породить, способна продвинуть науку вперед в этом вопросе, проливая новый свет на известные факты и выявляя новые. Достаточно назвать славянский теоним \**Svarogъ* и его выразительно древнеиндийское соответствие (источник) *svargá-* «небо»<sup>28</sup>. Отмечается, таким образом, индоарийский вклад в праславянскую теонирию, что само по себе характеризует уровень этих контактов, отчасти напоминающих славянско-иранские; далее, отмечается такой индоарийский

<sup>27</sup> О кладе скифских вещей начала V в. до н. э. в Феттерсфельде (Нижняя Лужица), исследованном Фуртвенглером, см. [167]; о скифских находках в области лужицкой культуры, даже в Чехии и Моравии, см. [5, с. 112].

<sup>28</sup> М. Эприетти отводит обычно принимаемую версию об иранизме \**Svarogъ* (ожидалось бы начальное *h-*, *x-*) и говорит о возможности прямого заимствования в славянский из индоарийского в Северном Причерноморье, ср. др.-инд. *svargá-* «небо»; при этом он опирается на теорию О. Н. Трубачева об индоарийском лингвотническом компоненте Скифии, давая довольно полный и объективный обзор работ Трубачева на эту тему, см. [171, с. 75]. Сближение \**Svarogъ* — *svargá-* в духе заимствования из индоарийского в Северном Причерноморье уже дано у меня в статье для журнала «Pontobaltica», 1981, 1, p. 127.

компонент в составе ранней славянской этнонимии, как название народа \**sr̥bi*, *ser̥by* [172], его возможное вхождение (при сколько угодно крутой смене этнического состава самих носителей) в праславянский ареал со стороны Побужья (геродотовская Старая Скифия с ее индоарийскими, «староарийскими» связями). Иную крутую траекторию проделал славянский этноним \**x̥rvati*, *xorvaty* — от иранского (сарматского) Приазовья до Адриатики, от иранского антропонима — до славянского этнонима. Основной корпус остальных славянских этнонимов своими структурными особенностями (-n-, -t- суффиксация) тяготеет к иллирийской и фракийской этнонимии, возвращая нас, таким образом, в Подунавье [173].

В славяно-иранских (и славяно-индоарийских?) отношениях был возможен момент симбиоза. Иначе складывались пограничные контакты балтов, обосновавшихся в Верхнем Поднепровье, и иранцев. — контакты, лингвистически и археологически вполне реальные [64]<sup>29</sup> как фшнал относительно поздней экспансии балтов в юго-восточном направлении, но в чем-то отличные, скажем, от славяно-иранских (схождения в лексике материальной культуры, высокая сфера не затронута).

На этом можно закончить очерк древних и древнейших языковых и этнических отношений праславян, их лингвоэтногенеза по данным языкознания, главным образом — этимологии и ономастики, — очерк, вынужденно краткий и схематичный, но с установкой на максимальную конкретность и выяснение отдельных узловых моментов, например, балто-славянских отношений и некоторых других, от которых подчас зависело решение всего комплекса вопросов. О решении всех вопросов говорить, естественно, не приходится, но можно сказать, что проблему собственного индоевропейского прошлого славян мы ставим более уверенно.

Хотя праславянские индоевропейцы видятся нам прежде всего как носители языка, и мы, лингвисты, выявив древнюю языковую ситуацию, можем считать свою задачу выполненной, было бы крайне неутешительно остановиться только на этом, когда так велик соблазн пойти дальше. Конечно, идти в глубь веков целесообразно, но на каждом шагу отдавая себе отчет в достижимости реконструкции, возможности метода (или методов). Эти возможности велики, ответим мы охотникам их преуменьшать, но пока не беспредельны. В общем я согласен с мнением, что «... для палеолита и мезолита... нет оснований допускать образования языковых общностей, следы которых дожили до исторических времен [113, с. 16].

Спорность определенного (значительного) числа этимологий — не повод для скепсиса или иронического неверия, но лишь обычная ситуация для наук объясняющих (не описательных). А для нас это сигнал, что надо упорно искать дальше. Конечно, в случаях диаметрально противоположных выводов прав скорее всего кто-то один, например, и.-е. \**g<sup>u</sup>er-n* «жернов» — классический пример исконной лексики ввиду комплектности аблаута и полной мотивированности (Дресслер [176]) или и.-е. \**g<sup>u</sup>er-n* менее мотивировано, чем его предполагаемое соответствие в семитском и потому заимствовано оттуда (Гамкрелидзе — Иванов [103, с. 13])? Этимология апеллативной лексики и ономастики может очень многое и уже сделала многое, поэтому мы должны быть внимательнее и бережливей к традиции, чем это имеет место. Например, в современной индоевропейской литературе мы едва ли встретим указание, что славянский сохранил следы и.-е. \**ak<sup>u</sup>ā* «вода» или \**ek<sup>u</sup>os*, -ā «лошадь», а между тем еще Розвадовский довольно убедительно показал наличие слав. \**osva* «вода», а также вероятность связи \**ek<sup>u</sup>os* и \**ak<sup>u</sup>ā*, причем и то и другое — к и.-е. \**ōki*- «б ы с т р ы й»; эти следы были выявлены в гидронимах *Осва*, *Освица* на балтийской периферии от Припяти до Западной Двины, но ничто не мешает принять славянский характер \**osva* из и.-е. \**ak<sup>u</sup>ā*, поскольку древний балтийский рефлекс и.-е. *k* был шипящим [177]<sup>30</sup>. Не требует особых доказательств, что название реки *Ока* [178] сюда не относится.

<sup>29</sup> Против теории балто-иранских контактов — [175, с. 73 и сл.] (мнение автора о том, что археологи до сих пор не нашли в Посемье следов скифов, устарело, ср. работы В. В. Седова).

<sup>30</sup> Розвадовский вскрывает следы др.-инд. \**asvā*, иран. \**aspā* «вода».

В случае с некоторыми другими словами традиция, наоборот, упорно держится неверного пути или ищет неверный выход из тупиковой ситуации, как, например, с этимологией слав. \**korabъ* «(преимущественно морское) судно» — из греч. *καράβιον* [179], из семитских [180]. Единственно вероятное здесь — предположить развитие ложного полногласия \**kor-a-bъ* < \**korb-jo* «корзиночный», ср. лат. *corbita* «грузовое судно» < *corbis* «корзина». Относительно названного фонетического и словообразовательного явления могут быть приведены такие примеры, как серб.-хорв. *корак* «шаг»: *крак* «нога», польск. *kolatać*: *kłócić* и др., предполагающие еще праславянский возраст явления — до метатезы плавных. Это — из области отношений праславян к воде, морю. На суше жили праславяне в селениях нередко круглой формы, о чем наряду с археологией [181] свидетельствует этимология\* *obitъ* из первоначального «круглый» [182].

#### Начальные города славян (Киев)

Актуален вопрос о городах у славян. Точка зрения, согласно которой лишь с X в. у них стабилизируется оседлый образ жизни, а с ним и топонимы, обозначающие города [183], устарела. Сейчас наличие славянских городов, вернее — укрепленных городищ, предполагается уже в VI в. [184], в науке активно разрабатывается понятие зародышей городов («предгорода»), «протогородских» поселений, ранних городов у славян [185, 186]. Весьма перспективными представляются проблема «начальных городов» у славян, понятие «полицентрического типа» этих городов. Ситуация «полицентрического типа», конечно, возникала при образовании старых крупных центров — например, Киева. Это объясняет — на первый взгляд — странные показания древней ономастики, когда вначале до нас доходят (довольно смутные) сведения как будто о нескольких названиях древнего города, по крайней мере двух (\**Kujevъ* — \**sqvodъ*), потом второе рано исчезает и остается единое — *Киев*. Объяснение может быть одно: первоначально это были обозначения топографически разных мест, \**Kujevъ* — городища Кия, а \**sqvodъ* — *Σαμβατάς* Константина Багрянородного — местности близ слияния Десны с Днепром (ср. там гидроним *Суwid*). Слившись, они (а, вероятно, еще и другие с ними) образовали единый город, один из ранних городов славян.

#### ЛИТЕРАТУРА

95. *Krahe H.* Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964, S. 33.
96. *Udolph J.* Alteuropa an der Weichselmündung.— *Beiträge zur Namenforschung*, 1980, 15, S. 97.
97. *Udolph J.* Ex oriente lux. Zu einigen germanischen Flußnamen.— *Beiträge zur Namenforschung*, 1981, 16, S. 105.
98. Гідронімія України в іміжмовних і міждіалектних зв'язках. Видп. ред. Стрижак О. С. Київ, 1981, с. 32.
99. *Gimbutas M.* The first wave of Eurasian steppe pastoralists into Copper Age Europe.— *The Journal of Indo-European studies*, 1977, 5, p. 277 и сл.
100. *Мерперт Н. Я.* Древняямная культурно-историческая область и вопросы формирования культур шугуровой керамики.— В кн.: Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. М., 1976, с. 121—122.
101. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Проблема определения первоначальной территории обитания и путей миграции носителей диалектов общиндоевропейского языка.— В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972, с. 19 и сл.
102. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Древняя Передняя Азия и индоевропейские миграции.— *Народы Азии и Африки*, 1980, № 1, с. 64 и сл.
103. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общиндоевропейского языка по лингвистическим и культурноисторическим данным.— *ВДИ*, 1980, № 3, с. 3 и сл.
104. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Миграция племен — носителей индоевропейских диалектов — с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии.— *ВДИ*, 1981, № 2, с. 11 и сл.
105. *Rosenkranz V.* Fluß- und Gewässernamen in Anatolien.— *Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge*, 1966, Bd. I, S. 124 и сл., с библиографией.

106. *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
107. *Schmid W. P.* — IF, 1977, 82, S. 314 и сл. — Rec.: *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
108. *Udolph J.* — *Kratylos*, XXII, S. 123 и сл. — Rec.: *Tovar A.* Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen. Heidelberg, 1977.
109. *Kuhn H.* Das letzte Indogermanisch (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrg. 1978, Nr. 4). Mainz-Wiesbaden, 1978, S. 22, 26.
110. *Kóčka W.* Zagadnienie etnogenezy ludów Europy. Wrocław, 1958, s. 100.
111. *Кузьмина Е. Е.* О балканском или центральноазиатском пути миграции индоевропейских народов. — В кн.: Античная балканистика. Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Предварительные материалы: Тезисы докладов. М., 1980, с. 35.
112. *Bökönyi S.* The earliest waves of domestic horses in East Europe. — *The journal of Indo-European studies*, 1978, 6, p. 17 и сл.
113. *Горнунг Б. В.* К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности (Протоиндоевропейские компоненты или иноязычные субстраты?). М., 1964, с. 49 (с литературой).
114. *Scherer A.* Das Problem der indogermanischen Urheimat vom Standpunkt der Sprachwissenschaft. — In: *Die Urheimat der Indogermanen*. Darmstadt, 1968, S. 301.
115. *Neckel G.* Die Frage nach der Urheimat der Indogermanen. — In: *Die Urheimat der Indogermanen*. Darmstadt, 1968, S. 160—161.
116. *Slovenská archeológia*, ročn, XXIX, č. 1. Bratislava, 1981, s. 28, 33, 34; 105 и сл.; 177 и сл.
117. *Толстов С. П.* «Нарцы» и «волохи» на Дунае (Из историко-этнографических комментариев к *Нестору*). — Советская этнография, 1948, № 2, с. 8 и сл.
118. *Кобылев В. П.* В поисках прародины славян. М., 1973.
119. *Алексеева Т. И.* Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973.
120. *Rysiewicz Z.* O praojczyźnie Słowian. — In: *Rysiewicz Z.* *Studia językoznawcze*. Wrocław, 1956, s. 81.
121. *Eichler E.* Die slawische Landnahme im Elbe/Saale- und Oder-Raum und ihre Widerspiegelung in den Siedlungs- und Landschaftsnamen. — In: *Onomastica Slavogermanica*, 1976, X, S. 70.
122. *Шафарик П. И.* Славянские древности. Т. 1. Кн. II. М., 1837.
123. *Eichler E.* Beziehungen zwischen Südslawisch und Westslawisch im Lichte der Toponomastik. — *Македонски јазик*, 1974, XXV, S. 87 и сл.
124. *Eichler E.* Westslawisch-südslawische Beziehungen im Lichte der Toponomastik. — *Onomastica Jugoslavica*, 1976, 6, S. 71 и сл.
125. *Herrmann J.* Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6.—9. Jh. — In: *Rapports du III-e Congrès International d'archéologie slave*. Bratislava, 7—14.IX.1975. Bratislava, 1979, S. 53.
126. *Куркина Л. В.* Некоторые вопросы формирования южных славян в связи с паннонской теорией Е. Копитара. — ВЯ, 1981, № 3, с. 85 и сл.
127. *Нидерле Л.* Славянские древности. М., 1956, с. 56.
128. *Шафарик П. И.* Славянские древности. Т. I. Кн. 1. с. 77, 79.
129. *Шафарик П. И.* Славянские древности. Т. II. Кн. 1. М., 1848, с. 73.
130. *Milewski T.* *Indoeuropejskie imiona osobowe*. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1969, s. 216.
131. *Гавлик Л.* Моравская народность в эпоху раннего феодализма. — В кн.: *Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев*. М., 1976, с. 170.
132. *Stanislav J.* *Slovenský juh v stredoveku*. I. diel. Turčiansky sv. Martin, 1948, passim.
133. *Georgiev V.* *Theiss, Temes, Maros, Szamos (Herkunft und Bildung)*. — *Beiträge zur Namensforschung*, 1961, XII, № 1.
134. *Kiss L.* *Földrajzi nevek etimológiai szótára*. Budapest, 1978, 408 old.
135. *Moór F.* Die slawischen Ortsnamen der Theisseebene. — *Zeitschrift für Ortsnamenforschung*, 1930, VI, № 2, S. 131.
136. *Georgiev V.* Sur l'ethnogenèse des peuples balkaniques: le dace, l'albanais et le rouma n. — *Studie clasice*, 1961, III, p. 24.
137. *Brugmann K.* *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*. Strassburg, 1904, S. 316.
138. *Будимир М.* *Protoslavica*. — В кн.: *Славянская филология. II. IV Международный съезд славистов*. М., 1958, с. 134.
139. *Truhovič V.* Južne kulture i narodi prema lužičkoj kulturi, Praslovenima i Slovenima. — In: *I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej*. Warszawa, 14—18. IX.1965. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1968.
140. *Седов В. В.* Ранний период славянского этногенеза. — В кн.: *Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев*. М., 1976, с. 106—107.
141. *Королюк В. Д.* Волохи и славяне «Повести временных лет». — *Советское славяноведение*, 1971, № 4, с. 41 и сл.
142. *Королюк В. Д.* К вопросу о месте известий о волохах в «Повести временных лет». — *Советское славяноведение*, 1972, № 1, с. 76 и сл.
143. *A magyar nyelv történeti-etimológiai szótár*. II. k. Budapest, 1970, 887 old.
144. *Филип Я.* Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961, с. 115.
145. *Kostrzewski J.* *Celtyckie elementy w kulturze słowiańskiej*. — *Słownik starożytności słowiańskiej*, t. I, s. 228.

146. *Третьяков П. Н.* Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953, с. 132—134.
147. *Latyschev B.* Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. V. I. Petropoli, MDCCCLXXXV, p. 38 (№ 16), 39—40.
148. *Спицын А.* Скифы и Гальштатт.— В кн.: Сборник археологических статей, под-  
писанный А. А. Бобринскому. СПб., 1911, с. 160—161, 164, 166.
149. *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Hrsg. von  
Bräuer. H. Bd. II. Berlin, 1971, S. 565—566.
150. *Мачинский А. Д.* Кельты на землях к востоку от Карпат.— В кн.: Кельты и кельт-  
ские языки. М., 1974, с. 35, 36.
151. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О древних славянских этнонимах.— В кн.: Славян-  
ские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980, с.  
43—44.
152. *Максимов Е. В.* Зарубищенская культура.— В кн.: Проблемы этногенеза славян.  
Киев, 1978, с. 55 (с литературой).
153. *Schachmatov A.* Zu den ältesten slavisch-keltischen Beziehungen.— AfslPh, 1911,  
XXXIII, S. 51 и сл.
154. *Birkhan H.* Germanen und Kelten bis zum Ausgang der Römerzeit. Wien, 1970.
155. *Мельниковская О. Н.* Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М.,  
1967.
156. *Рыбаков Б. А.* Геродотова Скифия. М., 1979, с. 146, 189.
157. *Кипарский В.*— В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискус-  
сии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962, с. 488.
158. *Szekanowski J.* Wstęp do historii Słowian. Wyd. 2. Poznań, 1957.
159. *Седов В. В.* Славяне верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970, с. 36.
160. *Менгес К. Г.* Восточные элементы в Слове о полку Игореве. Гл. 1. Очерк ранней  
истории славян. Л., 1979, с. 30.
161. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Bearb. von  
Mitzka W. Berlin, 1975.
162. ЭССЯ, вып. 3, с. 55.
163. *Holder A.* Alt-celtischer Sprachschatz. Bd. III. Graz, 1962, Sp. 436.
164. *Севешикова Т. Н.* Волки-оборотни у румын.— В кн.: Balcanica. Лингвистические  
исследования. М., 1979, с. 208 и сл.
165. *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М.,  
1961, с. 68.
166. *Трубачев О. Н.* Из славяно-иранских лексических отношений.— Этимология.  
1965. М., 1967, с. 78 и сл.
167. *Minns E. H.* Scythians and Greeks. Cambridge, 1913, p. 150, 236, 237.
168. *Gołąb Z.* The initial x- in Common Slavic: a contribution to prehistorical Slavic-  
Iranian contacts.— In: American contributions to the Seventh International congress  
of slavists. Warsaw, Aug. 21—27, 1973. V. 1, p. 129 и сл.
169. *Трубачев О. Н.* Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы  
в Северном Причерноморье.— ВЯ, 1977, № 6, с. 24 и сл.
170. *Трубачев О. Н.* «Старая Скифия» (*Ἀρχαία Σκυθία*) Геродота (IV, 99) и славяне.  
Лингвистический аспект.— ВЯ, 1979, № 4, с. 41—42.
171. *Enrietti M.* Slavo Svarogü.— In: Studi in onore di Ettore Lo Gatto (отд. отд.).
172. *Трубачев О. Н.* Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Север-  
ного Кавказа в античное время.— ВДИ, 1978, № 4, с. 41—42.
173. *Трубачев О. Н.* Равные славянские этнонимы — свидетели миграции славян.—  
ВЯ, 1974, № 6, с. 59.
174. *Абаев В. И.* Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965,  
с. 134.
175. *Arntaa P.* Baltas et Iranicus.— In: Studi linguistici in onore di V. Pisani. Bres-  
cia, s. a.
176. *Dressler W.* Methodische Vorfragen bei der Bestimmung der «Urheimat».— Die  
Sprache, 1965, Bd. XI, S. 43—44.
177. *Rożniadowski J.* Studia nad nazwami wódsłowian. Kraków, 1948, s. 176 и сл.
178. Фасмер, III, с. 127.
179. Фасмер, II, с. 321.
180. *Нурккянен J. и Salonen E.* Über die Herkunft des slawischen \*korabъ, grie-  
chischen karabos/karabion (в печати).
181. *Рыбаков Б. А.* Новая концепция предистории Киевской Руси (тезисы).— Исто-  
рия СССР, 1981, № 1, с. 60.
182. *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства. М., 1959, с. 168.
183. *Шмилауэр В.*— В кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискус-  
сии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962, с. 483.
184. *Королюк В. Д.* «Вместо городов у них болота и леса...» (К вопросу об уровне  
славянской культуры в V—VI вв.).— Вопросы истории, 1973, № 12, с. 198.
185. *Котляр Н. Ф.* К вопросу о генезисе восточнославянских городов (на материалах  
Галличины и Волини).— В кн.: Славянские древности. Этногенез. Материальная  
культура Древней Руси. Киев, 1980, с. 132.
186. *Седов В. В.* Конгресс по славянской археологии.— Вестник АН СССР, 1981,  
№ 5, с. 98, 101.

Филин Ф. П.

## О СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ ЯЗЫКА ВЕЛИКОРУССКОГО НАРОДА

XIV век — время, с которого обычно начинают отсчет завершения распада древнерусской народности и ее языка и начала возникновения современных восточнославянских народов и их близкородственных, но самостоятельных языков. По-видимому, в основном это правильно. Древнекиевская Русь кончилась, раздробленная и поработенная иноземными захватчиками, хотя память о былом единстве сохранилась навсегда. На северо-востоке, юго-западе и западе восточного славянства началось объединение на новых началах (военно-политическое, культурное, хозяйственное), прошедшее ряд тяжелых испытаний, развернулась борьба за свое этническое существование, что и привело к возникновению новых восточнославянских народов. Нужно только иметь в виду, что начала этноязыковых различий, постоянно видоизменяющихся, уходят в более ранние времена, а завершение их относится к XIV в., когда возникла предпосылка окончательного возникновения русских, украинцев и белорусов. Процесс их развития был длительным. Это относится и к их языкам. Различия между ними нарастали постепенно.

Выяснить сохранение в них генетически общего словарного состава и нарастание различий — задача весьма сложная и в полном объеме вряд ли выполнимая. Эта задача осложняется тем, что каждый из языков был представлен различными разновидностями: общенародной разговорной основой, имевшей местную диалектную окраску и неодинаковую письменную речь, в зависимости от ее жанров и назначений, осложненную наличием церковнославянского языка, в котором тоже происходили сложные перемены. В связи с этим возникает неисчислимо множество проблем, которые неизвестно когда будут решены. И все же общий очерк исторической лексикологии, пусть предварительный, создать возможно.

Прежде всего нужно отметить значительный рост общего состава лексики: к сохранившейся части словарного состава древнерусской эпохи заметно прибавляются семантические и лексические новообразования, новые заимствования из разных языков (кроме византизмов из ученой и церковной письменности, особенно заметны тюркизмы в русском языке и слова иных языков, попавшие в него через тюркскую языковую среду, полонизмы в украинском и белорусском, западноевропейизмы), многочисленные диалектизмы, из которых далеко не все попадают в письменность. Каков был общий объем словарного состава русского языка XIV—XVII вв., мы в точности никогда установить не сможем. Даже лексика письменных памятников далеко не вся попала в словарные картотеки, тем более, что не все произведения письменности до нас дошли. Что касается реконструкции словарного состава устной речи в ее диалектных разновидностях (иной устной речи не было), не нашедшей своего отражения в письменности, то о такой реконструкции можно только мечтать. И все же положение дел не совсем безнадежно, учитывая хотя бы частотность употребления слов. Относительно часто употреблявшиеся слова безусловно нашли свое отражение в дошедших до нас письменных памятниках. А это уже многое. Известна нам и часть редкоупотребительных слов, включая диалектизмы и даже гапаксы.

Важные, даже основные, материалы дают нам исторические словари. К сожалению, мы не можем пока пользоваться данными Словаря древнерусского языка XI—XIV вв., так как он еще находится в стадии подготовки к публикации своих первых томов. В «Материалах» И. И. Срез-

невского описано около 40 000 слов, включая и те слова, которые были извлечены из памятников XIV (переходного) — XVI вв. Следовательно, в «Материалах» слов собственно древнерусского языка представлено меньше, хотя нужно учитывать, что древнерусская письменность пострадала от времени значительно больше, чем более поздняя письменность XIV—XVII вв. (XVII в. представлен наиболее богато). Во вкладке «К читателю» 1-го выпуска Словаря русского языка XI—XVII вв. (М., 1975) сказано, что в этом словаре будет описано «около 60 тыс. слов, н а и б о л е е у п о т р е б и т е л ь н ы х (разрядка наша.— Ф. Ф.) в русском языке того времени». Выражение «наиболее употребительных» идет из первоначальных установок, теперь решительно отброшенных, когда словарь предполагалось издать как научно-популярное пособие для студентов-филологов (наподобие «Хрестоматии по истории русского языка» С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова, составленной при самом активном участии А. С. Мадуева, что в Хрестоматии почему-то не было оговорено) чуть ли не в двух томах. Однако что такое «наиболее употребительные слова» и нужен ли подобный популярный словарь, осталось неизвестным, поэтому СлРЯ XI—XVII вв. стал нормальным академическим словарем, в котором представлены материалы всей обширной картотеки, начатой в Ленинграде в начале 20-х годов текущего столетия А. И. Соболевским и в основном сформированной под руководством Б. А. Ларина (картотека продолжает пополняться и теперь, правда, в скромном объеме). Сколько на самом деле будет представлено слов в указанном словаре, на который мы будем здесь опираться, пока неизвестно. В 4-м выпуске (М., 1977), по подсчетам В. Я. Дерягина, любезно предоставленным в мое распоряжение, зарегистрировано 3987 слов, из которых на XI—XIII вв. приходится 1139 лексем, а на XIV в. 159 слов (считая слова памятников XI—XIII вв., дошедших в поздних списках), что составляет около трети словника СлРЯ XI—XVII вв. Тут нужно учитывать также передкие случаи, когда производные слова появляются в письменности раньше, чем исходные: *геенский* с XI в., а *геена* только с XV в., *глазатый* с XIII—XIV вв., а *глазь* с XVI в. (*глазѣкъ* «отшлифованный водой камешек» отмечен в новгородской летописной записи под 1114 г.), *движитися* с XIV в., а *движити* с XVI в., *дуплина* с XIII в., а *душло* с XVII в., *дутися* с XVI в., а *дуть* с XIV в., *допѣлькъ* с XII в., а *дополнити* только с XVI в. и т. д. и т. п. Сопоставление поздних и ранних памятников письменности указывает на то, что на самом деле в древнерусском языке слов было больше, чем это засвидетельствовано в ранней письменности. В то же время несомненно также и то, что в XIV—XVII вв. возникло или было заимствовано множество слов, которые по разным причинам не попали в письменность великорусского народа (особенно это относится к диалектизмам).

Тут нужно учитывать также факт массовых семантических приращений, т. е. возникновения новых значений разных слов и их пересослаганий. Жизнь не стояла на месте — возникло великое число новых предметов материальной и духовной культуры, требовавших себе наименований, для чего использовались и старые слова. Примеров тому можно привести очень много, причем в самых различных лексико-тематических разрядах. Ср. *гладкий* «толстый, дородный (о человеке)» (впервые встретилось в пословицах XVII в., собранных П. К. Симоном), *гнати* — кроме исходных значений др.-русск. *гънати* в XVI—XVII вв. появляются «сплавлять (лес, суда и т. п.)», «гнать, перегонять, добывать возгонкой (спиртные напитки)», «плавить, выплавлять (из руды металл)», «переплавлять», *голова* «должностное лицо, начальник» (с многочисленными словосочетаниями *голова застѣный, заставный, кабацкий, письменный, стрелецкий* и т. п.) с XVI в., *горти* «блистать», «светиться», «сиять» (в Житии Аввакума: *очи твои горятъ, яко пламень огня*), *государь* «верховный владетель, государь» с XVI в. (в ранней письменности «владелец, собственник хозяин»), *грамота* «деловой документ, акт, грамота» (встречается в ранней письменности, но в XIV—XVII вв. происходит огромный рост новых словосочетаний с этим словом: *грамота бѣглая, бѣломѣстная, бережьель-*

ная и т. п.; в СЛРЯ XI—XVII вв. приведено 156 таких словосочетаний с указанием «и др.», т. е. этих сочетаний было гораздо больше), *дача* — еще в Октябрьской минее 1096 г. «дар, подарок, пожалование», а в XVI—XVII вв. появляются значения «земельный или лесной участок, полученный от государства», «документ на владение таким участком» и т. д. и т. п.

Установить количественный рост всех семантических приращений и переосмыслений невозможно. Ясно одно: рост этот был огромным. Развитие лексической семантики значительно обогатило язык великорусского народа. Дело не только в приросте слов как таковых (о чем см. ниже), но и в новых значениях старых слов. Познание мира и самих себя у великорусов значительно расширяется. Способы семантического словообразования были очень различными. Вероятно, следует попытаться установить здесь хотя бы некоторые закономерности, хотя сделать это очень трудно, поскольку мы в данном случае имеем дело с активным отражением бесконечных явлений окружающей действительности. Вместе с тем с прогрессом общества происходит прогресс лексической семантики. Во всяком случае, историки лексики великорусского языка должны начать накопление наблюдений в этой области, как, впрочем, и на материалах других эпох и других языков. Учитывая эту сторону, мы не ошибемся, если скажем, что лексика языка великорусского народа увеличилась по сравнению с лексикой древнерусского языка не в два-три, а в значительно большее количество раз. Конечно, были и потери: что-то забывалось, отмирало, в том числе и в значениях слов, но отмираний было гораздо меньше, чем приращений. Если нелегко проследить процесс семантических приращений, то установить утрату первичных значений сделать еще труднее. Не случайно, что у разных этимологов поиски первичного признака наименования слова и промежуточных цепочек значений, с которыми связаны известные уже нам лексемы, очень часто бывают противоречивыми. А многое из утраченной лексической семантики погибло для науки безвозвратно. Все же, когда мы имеем дело не с праязыковыми реконструкциями, а с фактами поздних исторических времен, можно добиться больших результатов. Судя по данным (истории) древнерусской письменности, *гребля* (*гробля*) (<\**grebti*) со значением «вал, ров, окоп» было широко известно у восточных славян (в в.-луж. *hrebja* тоже «ров с валом», «борозда», «рытвина», укр. и белор. *гребля* «плотина», «запруда (временная)», русск. диал. (в основном юго-западное) «плотина», «запруда», «вода в пруде»). В языке великорусского народа значение географически сужается, становясь диалектным и трансформируясь в «насыпь», «мельничная плотина». Вероятно, на судьбу значения «ров», «вал» оказали воздействие синонимы *ров*, *вал* и др., вытеснившие его из большинства русских говоров и великорусской письменности. Тут нужно иметь в виду и отталкивающую омонимию однокоренного слова *гребля* «действие по глаголу грести». От многозначного глагола *грѣшити* «допускать ошибку, промах», «лишаться чего-либо» твердо сохраняется только «грешить» в морально-религиозном смысле (но в производных *огрех*, *погрешность* и др. сохраняются старые значения). *Гривна* — значение «металлическое украшение (или знак отличия), которое носилось на шею» утрачивается, но сохраняется и получает дальнейшее свое развитие *гривна* «денежная единица» [появляются разные сочетания *гривна русская*, *московская*, *новгородская*, *мировая*, *оброчная*, *переемная* и др. (виды поборов, податей, пошлин)]. Начиная с XV в., особенно в XVII в., слово *гривна* начинает вытеснять *деньга*, *деньги* (тюркизм) с его производными *денежка*, *денежник* (мастер по чеканке монеты, а также название травы), *денежный*. В говорах еще сохранились отзвуки древнерусского состояния: урал. *гривна* «вставка на плече рубашки», «шейное украшение (? без указ. места), беломор. фолькл. *гривна кун* «шейное украшение, состоящее из ожерелья монет, особенно серебряных и золотых». В западных областях появляются конкурирующие с *деньга*, *деньги* — *грош* «монета», *гроши* «деньги вообще» (<польск. *grosz* < ст.-нем. *Grosch*, *Grosden*). Эти и многие подобные примеры поучительны. Особенно много реликтовых значений сохраняется

в ономастике, в которой представлены реликты старых эпох, интересные для исторической лексикологии. Ср. собственные названия в различных местностях *Бездежь* (из древнего сев.-слав. имени \**Bezdedъ* «без деда»), *Буряги*, *Буреги*, *Бурези* — названия населенных мест на русском северо-западе и в Белоруссии (скорее всего скандинавизм \**Buring* < др.-исл. *byr* «домик, комната»). *Волма* — приток р. Мсты (из сев.-русск. \**vьlma* «мелкая ива», «кустарник») и т. п. Предмет этот нуждается в интенсивной разработке.

Основная масса новообразований, за счет которых прежде всего пополнялся великорусский язык, создавалась на основе существовавших систем словообразования (прежде всего, суффиксально-префиксальных и словосложения). Необходимо произвести полный учет способов словообразования, их продуктивность и изменчивость, границ лексической наполняемости. Частных исследований и наблюдений на эту тему написано немало, а обобщающих трудов (истории русского словообразования) нет. Обширный список именных суффиксов В. Кипарского (их общее количество исчисляется 242 единицами) и префиксов (70 единиц) полезен для справок, но истории русского словообразования не представляет [1]. Предстоит огромная работа по выявлению всех сторон великорусского словообразования, но уже и теперь можно наметить некоторые его тенденции. В подавляющем своем большинстве суффиксально-префиксальные образования исконного происхождения, причем многие из них восходят к праславянской старине, но использовались они в разных славянских языках неодинаково. Ср. *-ушка*, *-юшка*, *-ушко*, *-юшко* из праслав. *-\*uxьkъ* (*-a*, *-o*), которое стало весьма активным в великорусском языке (особенно в XVII в., пополняясь все новым лексическим материалом, в отличие от других славянских языков). Вопрос о суффиксах отвлеченности (*-ие*, *-ость* и пр.), о которых много писалось как о церковнославянизмах, должен также решаться конкретно-исторически, с учетом истории каждого слова, где и когда оно возникло.

В великорусском языке происходит мощный приток новых производных слов из народной речевой лаборатории. Значительная часть этих слов сохраняется в современном языке, некоторая часть остается специфичной своего времени или переходит в разряд диалектизмов. В комплексе создается неповторимая лексико-семантическая система языка. Словопроизводство охватывает все тематические группы лексики.

Ср.: *гадко* «скверно, отвратительно» (XVII в., но в письменности не отмечено еще *гадкий!*), *гаечка* — уменьш. к *гайка* (XVII в.), *гатина* «гать» (XVII в.), *гвоздарь* «кузнец, кующий гвозди» (XVI в.), *гвоздик* «гвоздик» (XVI в.), *гвоздильня*, *гвоздильница* «наковальня с отверстием дляковки гвоздей» (XVI—XVII вв.), *гвоздило* «кузнечный инструмент» (XVII в.), *гвоздичек* «гвоздик» (XVI—XVII вв.), *гвоздок*, *гвоздочек* «гвоздик» (XVII в.), *гвоздочник* «тот, кто изготовляет гвозди или торгует ими» (XVI в.), *гвоздяница* «коробка или ящик для гвоздей» (XIV в.), *гвоздяной* «предназначенный дляковки гвоздей» (XVII в.), *гибельник*, *гибельщик* «потерпевший убыток» (XV в.), *гиблый* (XVII в.; у Симони: ловцы рыбные людцы *гиблые*), *гиря*, *гирька* (XV—XVI вв.), *гладильник*, *гладильщик* «гладильный мастер», *гладильный* «употребляемый при глажении» (XVI—XVII вв.), *глинастый*, *глинястый* «глинистый, цвета глины» (XVI в.), *глиноватый* «с примесью глины» (XVI в.), *глинчатый* «цвета глины» (XVII в.), *глупьем* «по-глупому», *гнѣздо* «углубление, в которое что-либо вставляется», *гнѣдье* «то же» (XVI—XVII вв.), *гнилушка* (XVII в.), *гнутый* (XVII в.), *говорливый* «разговорчивый» (XV в.), *годище* «целый год, весь год» (XIV—XVII вв.), *голавль*, *головель* «голавль» (XVII в.), *голавлик*, *головеlevый* (XVII в.), *голенький* (XVII в.), *голец* «рыба» и *голец* «голый камень» (XVI—XVII вв.), *головец* «передняя часть потника» (XVI в.), *головецка* (XVII в.), *горемыка*, *горемычный* (XVII в.) и тысячи (!) других подобных примеров. Конечно, мы не всегда можем быть уверены в датировке новообразований и в том, что встречающиеся иногда параллели в других славянских языках образовались по соответствующим типам словообразования (ср. *голье* «беднота, гольт» и словен. *golje* «сучья без листвы»; эти-

мология слов очень прозрачна, но значения разные, что свидетельствует о независимости их образования в более позднее время), но в основной своей массе подобные производные явно позднего происхождения.

Как было сказано выше, некоторые образования великорусской эпохи не сохранились в современном общенародном языке, что легко объяснимо, так как в языке всегда что-то отмирает в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств. Ср. *галанка* (нет *голландка!*) «тип пушки» (XVII в.), *галка* «небольшой шар, шарик» (самар. и орл. *галка* «детская игрушка — стеклянный дутый шар, шарик, особенно цветной») (XVII в., причем и в московских памятниках), *гапля*, *гапелька*, *гаплик* «застежка», петля (слово неясного происхождения, сомнительно, что оно происходит из нем. *Haftel*, *Heftel* через польск. *heftlik*, встречается и в центральных говорах), *гатище* «место бывшей гати» (тюмен. «гать») (XVI—XVII вв.), *гилевство* «смута, мятеж, буйство, самоуправство», *гилевати* «буйнать, бесчинствовать», *гилевчик* «буйн, смутьян» (XVII в.; отзвуки этих слов сохраняются в современных говорах), *гладкость* «тучность» (XVI в.), *гладость* «спокойствие, тишина, плавность, приятность (речи)» (XV—XVII вв.; калуж. «полнота, хорошая упитанность»); *глазки* «очки» (XVII в.), *глазун* «тот, у кого вышучены глаза» (XVII в.; в говорах с разными значениями), *говорка* «переговоры», *говоря*, *говора* «речь, разговор, переговоры» (XV—XVII вв.) и т. д. и т. п.

Такого рода новообразований, которые не стали общерусским достоянием в более позднее время, много, но они по своей численности явно уступают новообразованиям, вошедшим в состав современного языка. Сказанное относится и к префиксальным образованиям. Например, в СЛРЯ XI—XVII вв. я насчитал около 570 слов с *до-*, из которых значительная часть явно позднего происхождения. Ср. *добавка* (XVII в.), *добьжати*, *добъчи* (XV—XVII вв.), *добросити* (XVII в.), *добудитися* (XVII в.), *добывати* (XIV—XVII вв.; кстати, следует отметить значительный рост глаголов и их производных на *-ыва*, *-ива-*, что представляет характерную особенность великорусского языка), *довезти* (XVII в.), *доверивати* «доверять» (XVII в.), *добъпие* (XVII в.), *достцуми*, *достць* (XVII в.) и т. п. Конечно, далеко не все учтено в картотеке ДРС. На самом деле слов с приставкой *до-*, в том числе новообразований, было значительно больше. Великорусская языковая стихия, бурно развиваясь, оказывала сильнейшее воздействие на язык письменности, в особенности на русский литературный язык всех его жанров. Воздействовала она и на церковнославянский язык эпохи Московской Руси.

Особого внимания заслуживает проблема диалектной (региональной) лексики. Великорусский язык воспринял немало диалектизмов от древнерусского языка, которые так и не вышли за региональные рамки. Сколько их было, мы не знаем. В современных говорах, если взять их в совокупности, насчитывается огромное количество лексико-семантических диалектизмов. В Словаре русских народных говоров (СРНГ) только диалектных слов будет примерно сто пятьдесят тысяч и сотни тысяч диалектных значений. На самом деле их больше, так как ни один словарь не может полностью описать всю лексику, особенно не общерусскую, не нормативную. Некоторые языковеды склонны полагать, что громадное большинство диалектизмов образовалось в великорусскую эпоху, до сложения национального русского языка, во время которого центростремительные тенденции решительно взяли верх над центробежными. С моей точки зрения, не стоит высказываться столь категорически. Заметный рост диалектизмов происходил и в XVIII—XX вв., когда основная масса населения говорила на местных говорах и воздействие на ее речевую практику литературного языка было относительно слабым. Положение дел резко изменилось с коллективизацией сельского хозяйства и введением всеобщего обучения. Местное словотворчество не прекратилось, но, в основном, приняло иной характер: новообразования в своей массе перестали продолжать старые диалектные традиции, в географическом отношении перестали быть определенными (одно и то же слово могло возникнуть в разных местностях независимо друг от друга, например, слово *пятипалочник* — «сель-

скохозяйственное орудие, маркер, которым намечались на земле грядки для посадки овощей», одновременно было образовано на юге и на севере, теперь оно вышло из употребления)<sup>1</sup>. Диалектные новообразования стали совпадать с окказионализмами или внелитературным просторечием (ср. *Рык* вместо *Рык* — аббревиатура — районный исполнительный комитет и т. п.), т. е. перестали быть диалектизмами.

Под диалектизмом мы понимаем более или менее устойчивый регионализм, имеющий свою особую территорию разных конфигураций. Конечно, территория эта с течением веков часто изменялась. Более того, многие из диалектизмов становились общенародным достоянием или, наоборот, общенародные слова по разным причинам сужались в своем распространении и становились диалектными.

Как обнаружить диалектизмы в великорусском языке? Мне не раз приходилось писать, что определение диалектизма может быть более или менее точным, когда регион его распространения в старой письменности более или менее совпадает с его изоглоссой в современных говорах. Эту категорию диалектизмов можно считать исторически устойчивой. Однако это не единственный критерий. В великорусском языке были и диалектизмы изменчивые, ареалы которых позже сильно изменились, а то и вовсе не дошли до современности. По русской письменности XVI и особенно XVII вв., дошедшей до нас из всех областей Руси, пожалуй, можно было бы при достаточно продуманной анкете составить диалектологический атлас, но это дело не близкого будущего. Важны вопросы и хронологии — ведь среди современных диалектизмов в большом числе сохраняются образования древних времен (начиная с праславянской эпохи), унаследованные великорусским языком от своего древнерусского предка. По-видимому, нужно считаться со структурой слова (архаической и явно позднего происхождения), с показаниями всех славянских языков, а в случаях заимствований со временем межъязыковых контактов. Уже и теперь можно говорить о богатстве лексико-семантических диалектизмов в великорусском языке. В исследованиях современных языковедов накоплено много сведений (правда, разрозненных), нуждающихся в обобщении.

Некоторые диалектизмы лежат, так сказать, на поверхности. Ср. *гирло* «устье, горловина, дельта (реки)» — относится к рекам, впадающим в Черное море и черноморским проливам. Слово проникло через украинскую территорию на юг Руси из румын. *hirlă* в тех же значениях (румыны в свою очередь заимствовали это слово у славян; \**gъrlo* «горло»). В письменности слово нашло свое отражение в XVII в., причем употреблялось и в московских документах, когда речь шла о черноморских делах, являясь не только диалектизмом, но и своего рода варваризмом. Слово и теперь известно в донских и некоторых других южновеликорусских говорах. Любопытно, что оно попало и на крайний русский север, где обозначает небольшой морской пролив, а также пролив, соединяющий Белое море с океаном.

*Голица* «кожаная рукавица без подкладки», «выделанная шкура без меха» (XVI—XVII вв., широко известно в современных говорах с новыми производными), *голодня* «голод» (XVII в.; орл., курск. «то же»), *голодовати* «голодать» (XVII в.; сохраняется в разных говорах), *голоменный* «относящийся к открытому морю» (XVI—XVII вв. в северной письменности; современные поморск. и беломорск.; исходное слово *голомя* «открытое водное пространство» встречается также только в северной письменности XVI—XVII вв., но по своему образованию оно является древним и восходит к праслав. \**golmę* в разных значениях, следовательно, это реликтовый диалектизм). *Греблица* «скребница для чистки лошадей» (Астрах. акты XVII в.; в СРНГ слово не зафиксировано). *Гребло* «весло, скребок, совок, лопатка» (XVI—XVII вв., распространение не повсеместное; в современных говорах слово это в указанных значениях известно

<sup>1</sup> Подробно об этом см. [2]. Особенно много примеров такого ряда содержится в «Донском словаре» А. В. Миртова [3] и в его же неопубликованном «Уральском словаре» начала 30-х гг.

в северновеликорусских говорах). *Гречуха* «гречиха», *гречушник* «торговец изделиями из гречневой муки» (XVI в., северо-западное, в современных говорах преимущественно северновеликорусское, а *гречушник* в указанном значении в СРНГ нет). *Грудка* «мера льна» (XVII в. северное, в этом значении в СРНГ нет). *Грудовато* «неровно (о плохом пути по замерзшей грязи)» (Пск. I лет., 1558 г.; в СРНГ новг., калуж.). *Дверское* «плата привратнику, следившему за порядком в помещении суда» (Пск. судн. гр. XV в.; в СРНГ нет.). *Двина* «название разновидности семги» (XVI в., северное; в СРНГ арх.). *Движняк* «род лодки» (XVI—XVII вв., северное; в СРНГ в этом значении нет). Диалектных слов в великорусском языке было тысячи и их постоянный рост — факт несомненный. Значения их отражали все стороны жизни населения, начиная с отвлеченных понятий и кончая локальными явлениями жизни и природы. Часть из них проникает в письменность, оставаясь в ней регионализмами (поскольку общерусского литературного языка с обязательными для всех нормами в донациональную эпоху еще не существовало), другая (большая) часть не выходила за рамки устной диалектной речи, третья стала общерусским достоянием [ср., например, *бросати(ся)*, *бросити(ся)*, появившееся в письменности только в XVII в., *очунь* > *очень*, *пахати* землю, *боронити*, *боронсвати*, *боронивати* пашню, *боронение* пашни — из прасл. \**borŋa*, в письменности только с XVI в., и т. п.], наконец, некоторые из них вовсе исчезли из языка.

Мощные пласты диалектной лексики, обслуживая речь населения отдельных регионов, обогащали и укрепляли позиции великорусского языка, являясь своего рода резервом, словарным запасником для будущего национального языка, для укрепления его во всех сферах письменности. Диалектная речь еще на столетия оставалась главным средством общения основной массы русского населения.

Кроме собственных ресурсов великорусский язык впитывал в себя иноязычные элементы. Московская Русь, в особенности после освобождения от монголо-татарского ига, становится заметной международной силой, связи ее с различными государствами Запада и Востока значительно расширяются, что, естественно приводит к значительным словарным заимствованиям. Межъязыковая ситуация того времени была достаточно сложной. Прежде всего следует помнить, что в Московской Руси литературное двуязычие усилилось по сравнению с древнерусским временем. Церковнославянский язык занимал еще прочные позиции и хотя и вбирал в себя русские языковые элементы, еще более отдалился от народной речи. Между двумя литературными языками шла борьба: реакционное духовенство пыталось расширить и утвердить позиции церковнославянского языка, и в то же время крепили позиции русского литературного языка вместе с развитием демократической литературы, усилением письменности, отвечающим государственным нуждам и потребности частного общения на родном и понятном всем языке. Назревал кризис, который завершился полной победой в XVIII — начале XIX в. русского литературного языка с народной речевой основой.

Мы пока в точности не знаем, что и в каком объеме великорусский язык воспринял из церковнославянской лексики (для этого следовало бы иметь обстоятельный словарь церковнославянского языка древней и поздней русской редакции), но что воздействие его на русский литературный язык и на народные говоры было заметным, это несомненно. В самом церковнославянском языке и в русской письменности, язык которой непосредственно соприкасался с ним, наметились три тенденции: 1) оживление архаических элементов древнерусской эпохи (не только старославянских, но и собственно древнерусских)<sup>2</sup>, 2) усиление внедрения византизмов (включая широко распространенное калькирование), что представляет важный предмет будущих исследований, 3) словотворчество на базе церковнославянских типов словообразования (особенно словосложение). Ср. *грѣхолобный* «склонный грешить», *дѣлотворение* «поступок» (все укло-

<sup>2</sup> Подробно об этом см. [4].

вписаны в растлѣнность грѣхолобнаго дѣлоторенія по псаломскому словеси — Аввакум, Кн. бесед, 1675 г.), демонство «власть демона», *демонствующий* «находящийся под властью демона» (Скрижалъ, 1656 г.), *державный, державственный, державство, державствовати* (XVI—XVII вв. от *държава*, известного еще в древних памятниках) и т. д. и т. п. Таких слов в книжной письменности Московской Руси возникли тысячи. Особенно много их было в письменности, отличающейся «извитием словес». Большинство из них так и не вышло за пределы своего времени (часто и за пределы одного произведения), но какая-то часть была усвоена великорусским языком и даже сохранилась в современном русском литературном языке, отчасти и в говорах.

Особым предметом рассмотрения является так называемое второе южнославянское влияние, о котором писалось уже много. Оно несомненно имело место в литературном и культурном планах, оказало заметное влияние на графику и орфографию русской письменности, но привнесло ли оно что-нибудь специфически южнославянское в лексику, остается неизвестным. Пока никто не засвидетельствовал наплыва в великорусский язык и его письменные разновидности слов, специфичных только для южнославянских языков конца XIV—XVI вв. Будущие исследователи, может быть, и откроют что-нибудь в этой области, но уже и сейчас можно сказать, что открытия эти вряд ли будут значительными. Так или иначе, но вопрос взаимодействия великорусского языка с церковнославянским языком для историка остается проблемой первостепенной важности.

Серьезным фактором обогащения языка великорусов становится наплыв в него западноевропейских лексем, особенно в XVII в. Если в древнерусском языке германизмов и иных западных заимствований (типа *матьль* «плащ», *мастеръ*) было сравнительно немного, то в эпоху Московской Руси их количество резко возрастает. Ср. *гайдук* (XVII в., через польско-Украинское посредство из венг. *hajdú*, мн. ч. *hajdúk* «наемный солдат, слуга, лакей»), *гак* «крюк, шип» (Вел. зерц. 1677 г. из голл. *haak*), *галера* «галера» (Вести-куранты, 1620 г., из нем. *Galeere* или итал. *galera*), *газель* «газель» (Травник 1534 г. Н. Любчанина из франц. *gazelle*), *гарус* (*гаруст*) «сученая шерстяная пряжа, шерсть для вязания и вышивания» (XVI в. — восходит к названию города Арраса, в северной Франции; проникло в русский через польское посредство), *гвардия* (XVII в., из итал. *guardia* через польское посредство), *генерал* (Рим. имп. дела 1546 г., а не в XVII в., как указано в словарях Фасмера и под ред. Н. М. Шанского, из нем. *General*) с производными *генералов, генеральский, генеральство* (XVII в.), *гетман, гетманский, гетманство* (Львов, лет. под 1513 г. и в XVII в. из польск. *hetman*, восходящее к немецкому источнику); *голд* «сюзеренитет» (Польск. д., 1567 г.), *голдovati* «быть в вассальной зависимости» (Польск. д., 1537 г.), *голдovníк* «вассал» (XVI в., из польск. *hold* «поклонение, присяга» и др., имеющие немецкое происхождение), *гонт* «вид кровельной дранки, отдельная штука дранки» (с 1600 г., а не с эпохи Петра, как полагает Фасмер, следуя за Смирновым, через польское посредство из нем. *gant* «перекладины») и мн. др. (таких слов, вышедших из употребления и сохранившихся до нашего времени, было тысячи).

Если понятийная система церковнославянского языка была ориентирована на православное религиозное мировоззрение, а сам церковнославянский язык постоянно тяготел к соответствующим жанрам византийской и южнославянской литературы, то западноевропейские слова обычно употреблялись в иных контекстах, не связанных с православием. Эти контексты, как правило, были чужды церковнославянскому языку, объективно они укрепляли позиции великорусского литературного языка.

Возьмем для примера такой замечательный литературный источник, как Вести-куранты, которые составлялись в Посольском приказе (и не в одном экземпляре) на основании различных переводов западноевропейских текстов (переводчиков было много) для осведомления руководящих кругов о западноевропейской политике [5—7]. Это был своего рода рукописный журнал-газета, при Петре I начавший печататься под разными названиями. В первом же «Переводе немецкой тетради» с вестями из Венг-

рии, Австрии, Германии, Чехии и других мест от июня 1600 г. мы находим великорусский литературный язык с западноевропейскими вкраплениями без каких-либо признаков церковнославянизмов. Этот текст, как и другие, настолько русский, что не требует перевода и в наше время. В нем мы не нашли ни одного церковнославянизма. Например, слово *город* с его производными употреблено 48 раз исключительно в полногласной форме. В той же форме употреблены такие слова, как *сторона*, *король*, *волошские* (*волоские*) люди и т. п. Неполногласие встретилось только в двух случаях: *время* и *страна* — слова, давно освоенные русским языком, и *пресветлейший* (князь) — принятый в то время титул. То же можно сказать и о всех других признаках церковнославянизмов — они полностью отсутствуют (*помочь*, *меж* и пр., что касается формы *азъ*, то это рудимент древнерусских архаизмов). Что касается западноевропейских вкраплений, кроме, конечно, имен собственных, которых много, то они не затемняют, а дополняют рассказ о западноевропейских событиях 1600 г.: *граф* даже *граф* «граф» (титул в России был введен только при Петре I), *гусарь* «гусар» (из венг. *huszár* через польское посредничество; датировка Фасмера «начиная с Петра I» неверна; производное *гусарский*, по словарию Н. М. Шанского, засвидетельствовано еще в 1549 г.), *францозские* люди «французы», *мушкат* «вино мускат» (через польский язык из ср.-в.-нем. *muskat*), *принц* (по Фасмеру, только «начиная с Петра I», что неверно; из нем. *Prinz* < ст.-франц. *prince* «князь»), *арцук*, *арцуге* «герцог» (нем. *Herzog*), *коруна*, «корона, королевство» (польск. *korona* от лат. *corōna* «венюк»), *камисар* «комиссар» (нем. *Komissar* < лат. *commisarius* «уполномоченный»), *гетман* (об этом слове см. выше), *рота* «отряд солдат, рота» (через польск. из ср.-в.-нем. *rotte*, *rot* «толпа, рота»; по О. Н. Трубачеву, со ссылкой на Фогараши, в русском языке засвидетельствовано уже в 1581 г.), *канслер* «канцлер» (нем. *Kanzler*) и некот. др. Тем же языком написаны все статьи этого памятника большого объема. Западноевропейских слов в нем значительно больше, чем редких церковнославянизмов. В то же время переводчики и сотрудники Посольского приказа оказались на большой высоте, сохраняя великорусский язык во всей его основе, с приближением к разговорной речи. В текстах Вестей-курантов почти нет темных малопонятных мест, западноевропейские элементы лишь вкрапляются в русскую речь, не нарушая ее строя. Язык их близок к языку высокоразвитой великорусской деловой письменности, частной переписки. Вести-куранты, как и многие другие произведения делового содержания, показывают, как завоевывал свои позиции в сфере письменности великорусский язык, как подготавливалась почва для национального русского языка. Исследования памятников такого рода открывают широкие перспективы, таят в себе возможности новых открытий. Совершенно справедливы высказывания тех ученых, которые считают, что мнение Лудольфа, будто в конце XVII в. на Руси говорили по-русски, а писали по-славянски, ошибочно. Лудольф не мог учесть и не знал сложную языковую ситуацию того времени. Писали не только по-славянски, но и по-русски, и очень много.

Заметно было воздействие на великорусский язык лексики из языков Востока (прежде всего тюркских или иных, главным образом, через тюркское посредничество), что вполне понятно, если учитывать интенсивные связи Московской Руси с восточными странами. Оно значительно возрастает по сравнению с древнерусской эпохой. Часть слов восточного происхождения попадает в письменность и доходит до наших дней, а большая часть их сохраняется в великорусских говорах<sup>3</sup>. Полное выявление их — дело будущего. В 60-е годы в Институте языкознания АН СССР в беседах известного польского тюрколога А. Зайончковского, Н. А. Баскакова и автора этих строк возникла идея создания капитального словаря тюркизмов в восточнославянских и западнославянских языках, которая, к сожалению, не была реализована. Все же и теперь, когда материалы далеко не собраны, можно говорить, что тюркизмы и другие восточные элементы играли вторую, после западноевропейских, роль в обогащении словаря

<sup>3</sup> Ср. об этом [8—9].

ного состава великорусского языка, причем разных его тематических рядов. Как и западноевропейские, восточные элементы укрепляли позиции русской народной речи в письменности, поскольку их значения не были связаны с понятийной системой православной религии.

Ср.: *абаб* (*обаб*) «грубое сукно, штука этого сукна, одежда из него» [начало XVII в.; тур. (араб.) *aba* в тех же значениях современное русское (устар.) *аба*]; *абаса* (*обаса*) «персидская серебряная монета» (Посольство Толочанова, 1652 г.; из перс. *abbasi*); *абыз* (*обыз*) «священнослужитель у мусульман, имам; мулла», производное *абызов* «принадлежащий абызу» (XV—XVII вв., тюрк. *abyz* «мулла»), *ага* (*ога*) «военачальник у турок, крымских татар, ногайцев, почетный титул» (XVI—XVII вв.; тур. *aga* «начальник, командир, старший»); *азям* (*озям*) «мужская верхняя одежда типа длинного кафтана», *азяминый* (*озяминый*), *азямый* (*озямый*), *азямский* (*озямский*) [XV—XVII вв., тюрк. (араб.) *Adžam* «Персия», тур. *adžam* «перс»; ср. великорусск. *азамский* «персидский» — XV в.]; *айва* («айва») (XVII в.; тур. *ajva*); *алафа* (*олафа*) «награда, дар, угощение» (соврем. простореч. *лафа*) [XVI вв.; тур. (араб.) *ulufe* «жалованье, паек солдата»]; *алмаз* (*олмаз*), производные *алмазец*, *алмазик*, *алмазити*, *алмазник* «шлифовальщик драгоценных камней», *алмазный* и др. (XV—XVII вв.; тюрк. *almas*, *elmas* — восходит к греч. *ἀδάμας*: «несокрушимый»); *алтын* (и производное *алтынец*, *алтынник*, *алтынный*, *алтыновщина* «пошлина») (XV—XVII вв.; тюрк. *altyn* «золотой»); *алый*, *ал* (XVI—XVII вв. и современное; из тюрк. *al* «светлорозовый»); *амбар*, *аран*, *арба*, *аркан*, *армяк*, *аршин*, *бадья*, *базар* т. д. и т. п. Нужно сказать, в этимологических словарях русского языка пропущено множество ориентализмов (тюркизмов, арабизмов, иранизмов и пр.), которые засвидетельствованы в великорусской письменности и особенно в современных говорах. Среди них проскальзывают и монголизмы, вплоть до центральных областей (ср. калуж. Гулял молодец по *ою* — «по роще», монг. *ой* «лес»).

Много тюркизмов сохранилось в русской ономастике.

Значительно меньшим было воздействие на великорусский письменный язык со стороны других народностей, которые являлись непосредственными соседями великорусов. Восточные славяне вошли в тесное соприкосновение с многочисленными финно-угорскими племенами, заселявшими весь север и отчасти центр России, не позже VII—VIII вв. н. э. В течение многих столетий происходила русификация финно-угорского населения, но лексические финноугризмсы проникали в древнерусский литературный язык очень скупо (это некоторые этнонимы типа *весь*, *сумь* и др. и отдельные лексемы: *соломя* «пролив», *кърста* «гроб, гробница» и некот. др.). То же продолжается и в эпоху Московской Руси. Как правило, лексические заимствования имели локальный характер и только позже некоторые из них оказываются общерусскими. Ср. новг. *арбуи* «жрец, знахарь, колдун» (*арбуи* чюдские — 1534 г., *арбуи* в чюди — 1554 г.; в псковских говорах как архаизм: по записи 1840 г. — *арбуи* «колдун, языческий жрец» < финск. *arpoja* «прорицатель, предсказатель»), *арбовати* «отправлять языческое богослужение, колдовать» (новг., 1534 г.; в СРНГ нет); *аргиши* «вараван, обоз, ряд саней в оленьей упряжке» [(грамота Ивана Грозного 1536 г.) < коми *аргыш* «олений обоз; не исключен тюркский источник этого слова; совр. *аргиш* «олений обоз» в арханг. и говорах верхней Печоры], *вируяне* «эстонцы» (новг., XVI в. < финск. *Vira* «Эстония»), *мыза* «мыза» (XVI в. < эст. *mõiz*, род. пад. *mõiza* «двор, имение»), *сиг* (с 1563 г.; вепс. *sig*, эст. *siig*, финск. *siika* «сиг», причем финско-прибалт. вероятно заимствовано из скандинавских языков) и некоторые другие слова. Лишь немногие из этих слов позже вошли в состав общерусской лексики (*мыза*, *сиг*, *пельмени* и некот. др.). В противоположность литературному языку в лексике северновеликорусских говоров сохранилось множество финноугризмсов (ср. беломор. *вараг*, *варака*, даже *варакка* «большой холм, покрытый лесом, напр., в частушке, записанной мною в 1939 г.: Наша Унежма деревня дикая, предикая. Ее только украшает *варакка* великая» < финск. *vaaga* «лесистый холм, гора», карельск. *voaga* — «то же»; как локальное слово в великорусской письменности известно с 1584 г.; там же *куйвата*, *куй-*

сатта «морская отмель, которая осушается во время отлива», ср. финск. *kuiva pohja* «сухое дно» и т. д. и т. п.). Они, несомненно, представляют большой интерес (как и обильная топонимика финно-угорского происхождения) для финноугроведов, поскольку среди этих русских диалектизмов немало и таких, которые являются пережитками исчезнувших финно-угорских языков и диалектов. Важным источником для исследований представляется и обильная топонимика финно-угорского происхождения, широко представленная на территории северной и отчасти центральной России.

Незначительное воздействие (исключая топонимику) оказали на древнерусский и великорусский языки балтов, часть которых тоже была ассимилирована восточными славянами, а также и языки других народностей, с которыми русские в разное время вступали в прямые контакты. Все же какая-то часть балтизмов проникает в русский литературный язык и его говоры (ср. *пуня, пунька, пакля, скирд* и др.).

Конечно, лексико-семантическое богатство, накопившееся в великорусском языке, в устной речи и в письменных текстах реализовалось по-разному. В речи широких народных масс господствовала общенародная основа, без которой не было бы великорусского языка, расцветившая возраставшими локализмами, отчасти проникавшими и в письменность. Возрастанию локализмов способствовало отсутствие общерусского литературного языка с обязательными для всех едиными нормами. В то же время возникает (с XVIII в. в особенности) противоположная тенденция: усиливается роль диалекта населения Москвы как центра русского государства. Московский диалект становится образцовым, из территориальной речевой единицы в предпетровскую эпоху он начинает вырастать (прежде всего для грамотных людей) в общерусское средство общения, терять свой локальный характер<sup>4</sup>. Готовилась почва для создания русского национального языка. В письменной сфере ситуация была сложной. Шла острая борьба между русским и церковнославянским литературными языками и было пока неизвестно, какой из этих языков одержит победу<sup>5</sup>.

Начиная примерно с XIV в., после распада древнерусского языка, наряду с великорусским языком оформляются и развиваются близкородственные украинский и белорусский языки. Как складывались их оригинальные лексико-семантические системы? Это можно выяснить, установив становление отличий между ними, что мы попытаемся показать хотя бы в самом приблизительном виде в следующей статье.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Kiparsky V. Russische historische Grammatik. Bd. III. Heidelberg, 1975.*
2. *Филин Ф. П. Новое в лексике колхозной деревни.— Лит. критик., 1936, № 3, с. 135—159.*
3. *Миртов А. В. Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков. Ростов-на-Дону, 1929.*
4. *Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнекняжеской эпохи (По материалам летописей). Л., 1949, с. 28—37.*
5. *Вести-куранты. 1600—1639 гг. Изд. подготовили Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1972.*
6. *Вести-куранты. 1642—1644 гг. Изд. подготовили Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г., Сумкина А. И. Под ред. Коткова С. И. М., 1976.*
7. *Вести-куранты. 1645—1646, 1648 гг. Изд. подготовили Тарабасова Н. И., Демьянов В. Г. Под ред. Коткова С. И. М., 1980.*
8. *Кононов А. Н. Заметки тюрколога на полях «Словаря русских народных говоров». — ИАН ОЛЯ, 1966, № 3.*
9. *Кононов А. Н. Заметки тюрколога на полях «Словаря русских народных говоров». — ИАН ОЛЯ, 1969, № 6.*
10. *Филин Ф. П. К вопросу о так называемой диалектной основе русского национального языка.— В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962.*
11. *Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981, с. 191—292.*

<sup>4</sup> Подробнее об этом см. в статье [10].

<sup>5</sup> См. об этом в [11].

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БОРОДИНА М. А.

**ДИАЛЕКТЫ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ?**  
 (К проблеме языковой ситуации в современной Франции)

Поставленная проблема относится к вопросам языковой стратификации, которые составляют предмет неоднократных обсуждений и острых дебатов в современной французской лингвистике.

Это обсуждение ведется в следующих направлениях: а) стратификация языков во Франции, где все население говорит на французском языке как официальном, национальном и общегосударственном языке и для подавляющего большинства населения это родной язык. Наряду с этим в ряде микрзон распространены и являются родными следующие семь языков и диалектов: баскский, бретонский, фламандский, эльзасский (немецкий), каталанский, корсиканский (итальянский), окситанский. Во всех этих зонах школьное обучение ведется прежде всего на французском языке, но с течением времени население все больше требует восстановления знания своего родного языка, введения его в школьные, подчас и вузовские программы. Одновременно возрастает и интенсивность культивации местных фольклорных, этнографических, литературных и исторических традиций; б) стратификация французского литературного языка, диалектов и промежуточных языковых состояний во Франции; в) стратификация языка в других зонах распространения французского языка — Швейцарии и Бельгии, а также в Канаде («островной» маргинал).

Разница между упомянутыми стратификациями французского языка вполне очевидна. В первом случае, когда речь идет о национальных меньшинствах Франции, мы имеем дело с ситуацией б и л и н г в и з м а. Так, в Басконии говорят на баскском и французском языках, в Бретани — на бретонском и французском и т. д. Во втором случае стратификация французского языка в пределах французского государства связана с наличием разных его «уровней» или «статусов». Переход от одного уровня к другому представляет качественно иную ситуацию, именуемую, в отличие от билингвизма, диглоссией. В третьем случае, когда речь идет о французском языке за пределами Франции, по-видимому, образуется особый вариант языка, внутри которого возникают свойственные данному варианту языковые состояния.

Наиболее специфическим вариантом является французский язык в Канаде, в силу его наиболее удаленного положения от Франции и в силу контаминаций с англоязычным населением [1].

При существенном различии между тремя языковыми ситуациями в современной Франции и в наиболее крупных франкофонных государствах (Бельгии, Швейцарии и Канаде) во французском языкознании нет, как нам кажется, четкого представления о происходящих языковых процессах, о чем свидетельствует неустановившаяся терминология. Для всех трех ситуаций одинаково употребителен термин «региональный язык». Так, фламандский язык, наряду с пикардским диалектом, считаются региональными языками Франции; региональным языком считается и французский язык Бельгии [2]. Соответственно нет более или менее четкого разграничения терминов «региональные говоры», «региональная речь» или просто «французский региональный».

В данной статье нас будут интересовать прежде всего вопросы, связанные со стратификацией языковых статусов внутри французского язы-

ка Франции: проблема литературного языка, диалектов и промежуточных состояний. Наиболее подробно мы остановимся на звене «диалект и региональный язык».

В теоретическом плане проблема соотношения диалектов и региональных языков во французском языкознании, как зарубежном, так и советском, все еще не была поставлена, в отличие от германской филологии, в которой, следуя традициям западной филологии, на эту тему в свое время писал В. М. Жирмунский, а в наши дни — А. И. Домашнев [15] и М. М. Маковский [16]. Тем не менее в течение семи лет (1971—1977) французы обсуждали эти вопросы на четырех коллоквиумах, труды которых опубликованы в 1971 г. [3], 1972 г. [4], 1973 г. [5], 1977 г. [6] и в двух выпусках периодического издания «Langue française» (1973, 1975).

Наиболее последовательно проблема существования региональных вариантов французского языка была обсуждена в 1971 г. на «Коллоквиуме по франко-провансальской диалектологии» и на коллоквиуме 1977 г., где речь шла о региональной речи французского языка во Франции. На первом коллоквиуме развернулись острые дебаты. Были высказаны самые противоположные мнения. Ф. Вуайя, например, полагает, что «наш французский региональный (имеется в виду франко-швейцарский. — Б. М.) постепенно уравнивается с французским разговорным языком Франции» [3, с. 217]. Иную позицию занимает Ж. Редар, который отмечает: «Мы (имеются в виду французы в Швейцарии. — Б. М.) в конечном счете в известной мере являемся билингвами, но не всегда это осознаем, и это создает у нас те же трудности общения, что и у алеманских швейцарцев, говорящих по-немецки [3, с. 241]. На втором коллоквиуме вопрос, имеем ли мы дело с французскими региональными языками или с диалектами, остался открытым.

Насколько интуитивно ясен термин «диалект», настолько же неопределенно ставшее терминологичным словосочетание «региональный язык». Диалект обычно воспринимается как уровень языка, противопоставленный литературному языку. Для многих европейских стран диалект обычно соотносится с эпохой феодализма. Так, например, обычно считают, что во французском языке расцвет диалектов отмечен периодом конца XII — начала XIV вв. В последующие периоды наблюдается деградация диалектов, их перерождение до уровня патуа — термин, которым обозначаются разрозненные реликты диалектов, наблюдающиеся повсеместно на территории современной Франции. При этом степень их сохранности и функционирования различна.

Само собой разумеется, что в последней четверти XX в. речь не может идти о «диалектах», явлении в целом свойственном другой исторической формации, от которой в силу различных условий непосредственных свидетельств (записей) диалектной речи не осталось вовсе или остались единичные свидетельства. Мы присутствуем сейчас при трансформации былых диалектов в местную региональную речь как одну из характеристик «региона». Это — проблема номер один языковой ситуации современной Франции.

В литературе вопроса все чаще термин «региональный язык» дублируется терминами «региолект», «региональные говоры», «регионализмы», «региональные черты» (последние иногда называются провинциализмами). Однако мы усматриваем существенные различия между явлениями, обозначенными этими терминами: региональные черты (регионализмы, провинциализмы) — это отдельные особенности местной разговорной речи, которые отнюдь не обязательно входят в систему региональных говоров или регионального языка. Термин «региональный говор», или «региолект» предусматривает определенную функционирующую лингвистическую структуру. Синонимично региональному говору употребляется термин «региональный язык». По-видимому, можно говорить о региональных говорах (региолектах) как о самостоятельных лингвистических единствах. Что же касается системы французского регионального языка в целом, то по-видимому, нет таких региональных языковых черт, которые были бы однородны на всей территории распространения французского языка.

Наряду с этим можно говорить о единых тенденциях. Тем не менее все региональные говоры объединяются в понятие регионального языка, структура которого могла бы быть реконструирована «под звездочкой».

Чтобы показать всю сложность ситуации, которая характеризует французское языкознание, приведу несколько примеров определения или характеристики французского регионального языка различными исследователями.

1. Ж.-Б. Марчеллези: (Под региональным языком) «мы понимаем язык, употребляющийся на определенном географическом пространстве Франции, в то время как французский язык является общим связующим языком на всем национальном пространстве» [7].

2. Ф. Вуайя: а) «Системность французского регионального, по-видимому, заключается в генетической связи с патуа и в известном влиянии „французского центрального“»; б) «французский региональный язык сделал выбор между своими собственными архаизмами и нормой французского узуса»; в) «Наиболее сложным вопросом является определение размеров территории, которые связаны с понятием „региональный“»; г) «Французский региональный тоже пытается утвердиться, он имеет свою норму, не менее императивную, чем норма французского центрального, только намного менее устойчивую» [3, р. 217—218].

3) О. Блок: (Региональный французский не является) «ни говором с определенной внутренней структурой, ни однородной языковой системой, т. к. известно, что в ней преобладает общенациональная форма языка, измененная под действием местных говоров. Он является более варьированным и индивидуализированным, чем эти последние, т. к. говорящий на региональной форме языка отражает нестабильность языковой структуры» [8].

4) Ж. Таверде: а) «Французский региональный не является уровнем *sc.* состоянием языка»; б) «Для нас „*français régional*“ является собранием всех устных и письменных языковых особенностей, положительных и отрицательных, порождаемых говорящим и ограниченных в плане географическом рамками одного или нескольких населенных пунктов» [6, р. 41—42].

5) Б. Потье: «Региональный французский — это региональная привычка языковой реализации, которая по своему ареалу редко совпадает для отдельных языковых явлений; поэтому надо говорить не о региональных французских языках, но о бесчисленном множестве вариаций французского литературного языка» [9].

6) П. Брассэр: «Региональный французский является местной реализацией французского языка. Как говорил один нормандский крестьянин, „*On a r't-être bien des mots à nous, mais on cause comme il faut*“ („У нас, возможно, есть словечки, нам принадлежащие, но все же мы говорим как полагается“)» [10].

7) Л. Вольф: «Региональный французский — это географический вариант общенационального койне или языка» [11].

8) М. А. Бородина: «В понятие французской региональной речи, наряду с другими компонентами, входят и некоторые особенности отмирающих диалектов, органически сливающихся в какой-то своей части с общенациональным языком» [12].

9) Т. Е. Зубова: «Региональные говоры... представляют собой особые диалектологические объекты — разновидности сельского просторечья современной Франции, выявляемые в границах региональных лингвистических атласов на уровне количественно ведущих вариантов языковых единиц» [13, с. 59].

В этих определениях проходят весьма различные понятия (характерные черты): частное — общее, литературный язык — диалект, патуа — французский центральный, архаизмы — норма, узус, отсутствие — наличие системности и стабильности, региональный язык как местная реализация французского языка и др.; ряд определений связан с географическим пространством.

Для более объективной характеристики французских региолектов и диалектов сопоставим эти два понятия по ряду параметров:

1. Характеристика языковых состояний. В литературе вопроса употребительны синонимические термины: «статусы», «срезы» (или «горизонтальные срезы»), «страты», «уровни», «состояния». В основном мы будем придерживаться термина «состояния» в том его значении, которое в него вкладывает Г. В. Степанов — проявление языковой системы в данной языковой ситуации [14, с. 31].

Вопрос о региональных языках (региолектах) в их сопоставлении с диалектами — это одна из проблем разрабатываемой в наши дни теории о расхождении языка на определенные состояния. Исходя из ставшей аксиоматичной оппозиции «диалект — литературный язык», которая, по А. П. Домашневу, составляет как бы нижнюю и верхнюю «опору» членений языка [15], можно построить парадигму разных форм языка, основные ступени (группы) которых следующие: диалект — переходная зона — литературный язык. Эти ступени манифестируются в более или менее сложной парадигме (иерархии) языковых состояний. Они складываются из многочисленных звеньев, которые условно объединяются в группы: 1) идиолект, язык одной семьи, язык одного села (коммуны), говор, патуа, бесписьменный диалект (территориальный и социальный); 2) группа диалектов, литературный территориальный диалект, который, как правило, существует более длительно, чем «просто диалект», т. е. обычный бесписьменный диалект (например, валлонский литературный диалект французского языка), региональные особенности речи, совокупность которых приводит к образованию региональных говоров, региональный язык, региональный литературный язык, распадающиеся на подварианты; 3) литературный язык как национальный язык, т. е. нормированный или стандартный литературный язык, национальный, надрегиональный; 4) наднациональный язык.

Языковые состояния отнюдь не статичны, в языке происходят постоянные взаимопереходы. Попадая в ту или иную языковую, историческую, социокультурную ситуацию, языковые состояния трансформируются вплоть до исчезновения, перерождаются одно в другое, образуют новые языковые состояния и ситуации. Г. В. Степанов пишет: «Элемент языкового состояния получает свою конкретность только в ситуации (разрядка наша. — Б. М.), т. е. когда он вступает в определенные отношения к другим элементам целостного образования» [14, с. 31]. Соответственно эти отношения можно рассматривать как синтагматические (в «горизонтальном» разрезе).

Разные исследователи по-разному определяют языковые состояния — исходя не только из своих воззрений, но и из реальной ситуации в той или иной исследуемой области. Так, в итальянской Швейцарии (Тессин), по мнению А. Лурати, наблюдается по меньшей мере семь языковых состояний: «импортированный» итальянский литературный язык, местное литературное койне, региональные (междиалектные) единства, региональная речь, диалекты, говоры, патуа [17].

Представление о языке как о сложной многослойной структуре возникло в лингвистике сравнительно недавно. Еще лет 10—15 тому назад лингвисты довольствовались противопоставлением литературного языка диалекту. Исследования разных состояний языка, связанные с социолингвистической проблематикой, производились несистемно и без попытки установления соответствующей иерархии.

В «цепочке» языковых состояний как особое звено, существенное в наши дни, выделяется понятие «региональные говоры»/«региональный язык», обозначающее группу переходных неустойчивых языковых состояний. Региональный язык/говор (или просто региолект) является не только языковым состоянием, но и проявлением определенных языковых ситуаций. Именно поэтому региолекты нарушают последовательную диасистему языковых структур, дают неустойчивый срез. Региолект — это звено в системе языковых состояний, находящееся в постоянном движении в отличие от диалекта, который в течение определенного исторического периода

(например, феодального) настолько устойчив, что приравнивается к понятию «язык».

II. **Территориальный фактор.** В соответствии с этим критерием необходимо изучить, составляет ли французский региональный язык столь же определенно очерченное территориальное единство, как в прошлом французский диалектный язык; если да, то каковы особенности этого единства.

По сравнению с диалектами система региональных говоров как менее устойчивая территориально очерчена тоже менее определенно, точнее ее очерченность более случайна. Как правило, более открытые системы региональных говоров/языков занимают большее пространство, чем более замкнутые системы территориальных диалектов<sup>1</sup>. Наряду с этим существуют регионализмы, территориально не выраженные или неустойчивые. Территориальное распространение, развитие из пауга региональных черт прослеживается при работе над «Лингвистическими атласами Франции по регионам»<sup>2</sup>.

III. **Исторический фактор**, т. е. длительность существования регионального языка. Предположительно можно сказать, что, если французские территориальные диалекты сформировались в конце XI — начале XII вв., то региональные формы речи как потенциальные системы появляются в начале XIX в. в результате французской буржуазной революции, прекратившей феодальную замкнутость. В XX в. эти потенциальные системы превращаются в реальные региональные системы. При этом, конечно, нельзя отрицать существования отдельных регионализмов в виде локальных особенностей речи во все периоды существования французского языка.

В литературе вопроса часто отмечают, что регионализмы существовали еще в старо- и среднефранцузском периодах развития французского языка [20], т. е. в период средневековья. Однако следует учитывать разные типы региональности: в период средневековья «региональность» предшествовала созданию литературного языка, впитывая в себя диалектные элементы, в современных языках «региональность» — результат перерождения и отмирания территориальных диалектов и создания вариантов региональных койне, занимающих промежуточное положение между литературной нормой и местным пауга.

IV. **Характеристика уровней языка.** По-видимому, все уровни языка имеют свою специфику в диалектной и региональной речи, но в разной степени; так, стилистические и синтаксические особенности (включая фразеологические) в большей мере характеризуют региональную речь, чем диалектную<sup>3</sup>, в то время как в диалектах фонетические (фонологические) отличия имеют более принципиально структурное значение, чем в региональной речи; различна и лексическая специфика диалектов и региолектов. Этот вопрос требует дальнейших исследований, поскольку региональный язык мало изучен.

V. **Критерий соотношения с литературным языком.** Диалекты и региолекты по-разному соотносятся с литературным языком: диалект четко противопоставлен литературному языку, в то время как у региолекта, по сравнению с диалектом, значительно больше точек соприкосновения с литературным языком. Возможно, следует говорить, что региональная речь (региональные языки) не столько противопоставлена литературному языку, сколько зависима от него.

VI. **Соотношение устного и письменного языка.** Строго говоря, оба состояния — диалект и региональный язык — следует считать бесписьменными. Региолекты произносятся прежде

<sup>1</sup> См. высказанные нами некоторые мысли о территориальном факторе в [18].

<sup>2</sup> В этом плане особенный интерес представляет диссертационное исследование Т. Г. Рахматулаевой [19]. Многочисленные сводные карты четко указывают на «движущиеся» ареалы региональных форм, направление движения которых идет как бы навстречу литературной волне.

<sup>3</sup> Так, Ф. П. Сороколетов пишет: «Видимо... нет достаточно серьезных оснований для признания такой широкой функционально-стилистической дифференциации диалектной речи» [21, с. 17].

всего разговорной формы языка. Тем не менее, известно, что на диалектах существует литература, и в этих случаях правомерно говорить о «литературных диалектах». Тем более возможна письменность на региональных языках, которые иногда выступают в виде литературных региональных языков. В настоящее время региональные языки получают все большую возможность их письменной фиксации<sup>4</sup>.

**VII. Фактор изученности.** Региональный язык изучен значительно меньше, чем диалектный, что не удивительно, поскольку это самая поздняя языковая формация. В течение длительного времени литературный язык противопоставлялся только диалектному; соотношение «литературный язык — региональный язык» возникло недавно. О французском региональном писали преимущественно историки языка и диалектологи. К первым более или менее существенным высказываниям относятся наблюдения А. Фрея, изложенные в его «Грамматике ошибок» [22]. Автор отмечал многочисленные регионализмы, характеризуя их как свидетельства «продвинутого французского» («de français avancé»). А. Доза в своей книге «Патуа. Эволюция. Классификация. Исследование» тоже уделяет значительное внимание проявлениям регионального языка [23].

Серия «Лингвистические атласы Франции по регионам», издающаяся с 1950 г., возникла с целью исследования исчезающих диалектов (в настоящее время вышло около 40 томов этой серии). В процессе лингвогеографического обследования составители (авторы) этих атласов неожиданно столкнулись с тем фактом, что они картографируют не только и столько диалекты, сколько нечто иное, требующее к себе особого внимания. Это «нечто иное» и было названо «французским региональным» или «французскими региональными» (*le français régional — les français régionaux*). Таким образом, обнаружилось, что в течение длительного времени полевые диалектологи, не осознавая этого, включали в объект своего исследования не только диалекты, но и элементы региональных языков. Лишь недавно для них со всей очевидностью возник вопрос о том, чтобы расчленив (определить) объект исследования, что связано, с одной стороны, с отрицанием диалекта, с другой — со все большим развитием региолектов.

В связи с возникшей проблемой по инициативе одного из составителей атласов — Ж. Таверде (Бургундия) под руководством Ж. Страка и был организован упоминавшийся коллоквиум «Французские региональные» («*Les français régionaux*»). Идет ли здесь речь о языках, диалектах или особенностях — вопрос на этом коллоквиуме, как отмечалось выше, остался открытым. Участники указанных коллоквиумов не пришли к определенному выводу о соотношении понятий «региональный язык — диалект», возможно, именно потому, что они не ставили перед собой задачи рассмотреть эти понятия как проявления структуры языка, его лингвистической стратификации. Существенно то, что в процессе работы над атласами, как неоднократно отмечали участники коллоквиума, обнаружилось, что диалекты французского языка, точнее их реликты, крайне интересны не только для истории языка, но и для изучения современной языковой ситуации, в которой нет более противопоставления литературного языка диалекту.

**VIII. Картографирование диалектов и региолектов.** Возможность картографирования диалектов очевидна. Сложное обстоит дело с картографированием региолектов. Увлеченные еще со времени Ж. Жильерона картографированием, французские лингвисты в конечном счете поставили вопрос о том, насколько целесообразно картографировать региональные языки. Карты новых региональных атласов показали, как уже отмечалось, что для французского регионального языка территориальный критерий имеет известное значение. И все же до сих пор из-за недостаточной ясности общей характеристики и критериев региолектов вопрос об их картографировании остается открытым. Тем не

<sup>4</sup> Так, например, письменность получила значительное развитие в Пикардии.

менее Г. Тюайон, возглавивший современную лингвогеографическую школу после П. Гардетта, полагает, что при известных условиях все же метод картографирования должен быть применен и к изучению региональной речи. Эти условия следующие: а) за основу следует взять обследование языка коммуны, а не региона (понятия, как пишет автор, «слишком сложного»); б) для каждого пункта необходимо использовать по несколько очень разных (по возрасту, профессии, полу и т. д.) информаторов; в) каждый факт должен быть изучен с точки зрения его частотности, что даст возможность исчислить его устойчивость или неустойчивость; г) должна быть как можно более детально зарегистрирована социокультурная характеристика каждого информатора для того, чтобы при необходимости можно было бы объяснить географические аномалии. Только при этих условиях, заключает автор, по-видимому, французские регионализмы могут быть картографированы [6, р. 26].

Проведенные до сих пор исследования по региональным атласам оказались наиболее продуктивными для изучения статусов идиолектов или отдельных местных патуа, т. е. небольших говоров, охватывающих обычно исторически необусловленные территории, значительно меньшие, чем территория диалектов, а также отдельных диалектных черт<sup>5</sup>. Однако материалы атласов могут быть использованы и для изучения, путем рекартографирования, также и региолектов.

IX. Оценка данных ЛАФ Ж. Жильерона и Э. Эдмона. Ознакомление с языковой ситуацией во Франции на уровне диалектов и региолектов подтверждает картину, с которой мы сталкиваемся и при чтении карт «Лингвистического атласа Франции» Ж. Жильерона и Э. Эдмона. При самом внимательном его исследовании либо вовсе не удастся, либо удастся лишь очень примерно и расплывчато определить контуры диалектов Франции. Вычлениются более крупные (региональные) зоны: центральная, северо-восточная, центрально-западная, северная, юго-западная и юго-восточная [12, с. 24—25].

Полученная в свое время сводная карта лотарингского диалекта, в которой совмещены изолинии разных уровней языка с историческими границами, представляет собой лишь лингвогеографическую реконструкцию, сделанную на основании сопоставления материалов разных источников: лингвистических микро- и макроатласов, монографических исследований лотарингского диалекта и его говоров, кадастровых списков, текстов, исторических и географических атласов. Однако это отнюдь не доказывает, что лотарингский диалект французского языка как определенная система взаимосвязанных признаков, как единство, противопоставленное французскому литературному языку, существует во Франции с конца XIX — начала XX вв. Она доказывает лишь то, что этот диалект по материалам ЛАФ и других источников может быть воссоздан.

X. Диалекты и региолекты в свете французской географической школы. Языковая характеристика французского регионального языка связана с тем пониманием региона, которое предложено французскими географами и этнографами. Имеется в виду единый природный комплекс, связанный с человеком, с его взаимоотношениями и психологией, его бытом, с производством. Таким образом, не случайно, что вопрос о региональных языках впервые широко поставлен именно во Франции, как, соответственно, не случайно и то, что во Франции возникло и получило широкое развитие новое направление в лингвистике — направление географической лингвистики (или лингвогеографии). Из теоретической географии и истории науки широко известно, что именно Франция еще с XVII в. является центром географической мысли. Своеобразие французской географической школы сказалось с наибольшей силой на рубеже XIX—XX столетий, когда появилось региональное

<sup>5</sup> Имеются в виду особенности языка одного населенного пункта, представленного в виде «точки» на атласе. Так, в «Atlas linguistique et ethnographique de la Franche-Comté» (Paris, 1978) в карте 716 «La cage à poussin» только в п. 84 находим лексему *épinêt* в значении «кормушка в виде корытца с делениями». В ряде других карт именно в этом пункте имеются особенности произношения, характерные для данного идиолекта.

направление как синтез физической географии и «географии человека» [24]. В этот же период французская географическая мысль в лице Э. Реклю, П. Видаля де ля Блаша и др. подошла к определению существования природно-территориальных образований (регионов) как единой системы взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов географической и экономической среды [25]. Таким образом, французская филология заимствовала у географии не только ее методiku исследования (картографирование), но и комплексное представление о регионе как явлении физико-географическом, но и одновременно связанном с человеком. Это представление и отразилось в упоминавшейся выше серии «Лингвистических и этнографических региональных атласов Франции» и в многочисленных других лингвоэтнографических трудах.

Изучение лингвистического региона — проблема, возникшая недавно и соответственно мало исследованная. Первоначально понятия региона и диалекта шли рядом и нерасчлененно. Сейчас, когда диалекты в целом, в частности, диалекты французского языка, изучены весьма основательно (созданы микро- и макroatласы, словари, монографические описания, вышли издания современных и старых текстов), становится очерченным различие между этими понятиями, что и привело к широкому обсуждению этих вопросов во Франции и к выдвиганию понятия «регион»<sup>6</sup>.

Следует подчеркнуть, что несмотря на свою многоаспектность, проблема региональных языков (региолектов) связана с диалектами, выступающими в настоящее время в виде патуа. В современных языках со сложившейся единой литературной нормой очевидно отсутствие диалектной замкнутой системы. Наряду с этим известно, что диалект имел первостепенное значение в истории формирования литературного языка. Функционирование диалекта в прошлом было настолько разветвлено, что трудно предположить, что с формированием литературного языка, как это обычно говорится, диалекты «исчезают». Возникает вопрос, как и куда «исчезают» и остается ли от них что-либо?

Так называемое «исчезновение» диалекта может быть рассмотрено с разных точек зрения: вхождение элементов диалекта в литературный язык; сохранение отдельных элементов диалекта в качестве архаизмов речи; вхождение элементов территориального диалекта в социолекты; перерождение элементов диалекта в патуа и в региональные языки; отмирание, т. е. действительное исчезновение диалектных черт и др. Перерождение диалектов в региональные языки или в региолекты является одной из существенных особенностей современного языкового развития. Диалект может быть рассмотрен как субстрат региональной речи, региональных говоров/языков.

Известно, что диалект как таковой проходит ряд стадий развития от системного единства к «размытому» диалекту. В настоящее время в большинстве европейских стран степень «размытости» диалекта граничит со стадией исчезновения. В известной мере наблюдается и перерождение диалектов в полудиалекты (*Halbmundart* — термин германской школы диалектологов) или региолекты (термин романской школы диалектологов).

Как видно, языковая действительность представляется гораздо сложнее и многообразнее, чем обычное противопоставление литературного языка диалекту, несколько устаревшее в наши дни, поскольку исчезает один из основных уровней языка — диалект, являющийся атрибутом феодального средневековья. Подобно тому как исчезали другие атрибуты этого периода, которые мы изучаем как реликты прошлого (ср. в этнографии и фольклоре свадебные обряды, особенности покровов одежды), так «устарел» и диалект, который мы отыскиваем в языке для составления диалектной карты с не меньшими трудностями, чем характерные этнографические осо-

<sup>6</sup> В настоящее время во Франции задумано, например, издание серии «Региональные энциклопедии» (под ред. Кр. Боннетов), в которой освещаются особенности природы, экономики, искусства, литературы, языка, истории и народных традиций Пикардии, Лотарингии, Шампани и других провинций Франции. Первый том этой энциклопедии, посвященный Пикардии, уже увидел свет. Упомянем также организованные в 1980 г. CNRS региональные выставки научных достижений, а также выставку «География цвета» («La géographie de la couleur»), организованную в 1977 г. Ж. Ф. Ленкло.

бедности прошлых веков. Однако возникает вопрос: является ли современный диалект реальностью, раз он реконструируется и обнаруживается при помощи столь искусственных мер, связанных с техникой и методикой анкетирования и дальнейшей обработки карт? (как это было сделано нами при изучении лотарингского диалекта).

Повсеместное увлечение французских лингвистов диалектологией, стремление зафиксировать исчезающие диалектные формы как реликты старых средневековых феодальных традиций, ставшее аксиоматичным и трафаретным противопоставление литературного языка диалекту — все это на какое-то время заслонило изучение реального языкового состояния, характерного прежде всего для стран со сформировавшимися устойчивыми литературными нормами, для большинства которых противопоставление литературного языка диалекту подчас превращается в фикцию; ведь стратификация языка XX в. и, скажем, XIX в., весьма различна.

Если говорить о функционально адекватных единицах, то, очевидно, следует учитывать, что нормативный литературный язык в наши дни не противопоставлен диалектам. Он противопоставлен формирующимся региональным языкам (или региональным говорам, т. е. региолектам), в том числе и региональным литературным языкам.

Аналогичные сдвиги в статусах разных языков происходят непрерывно, поскольку языковые состояния, как отмечалось выше, не есть нечто неподвижное, статическое. Взаимоотношение разных языковых состояний, переход одного состояния в другое — все это связано с определенными языковыми ситуациями. Последние же целиком находятся в зависимости от исторического развития страны, в том числе и от языковой политики, по-разному характеризующей осознанность историко-лингвистических явлений и процессов.

В разной форме эти тенденции были замечены диалектологами разных школ. Так, в германской диалектологической школе речь идет о «полу-диалектах» (Halbmundart) или о «письменных диалектах» (Schriftdeutsch). В русской диалектологии, особенно в современный период ее развития, мы неоднократно встречаем материалы о перерождении диалектов. Сплошь и рядом, когда речь идет об анализе взаимоотношений между литературным языком и диалектом, по сути дела вопрос ставится шире — о «соотношении языка и диалектов», как мы это наблюдали, например, в трудах Л. И. Баранниковой, которая под термином «язык» в данном сочетании слов понимает любые формы языка — нормированные, народно-разговорные, литературные, фамильярные и т. д., изучая их взаимодействие с тем, что лишь условно в наши дни может быть названо диалектом, равно как и взаимодействие «диалектов», а точнее местных форм речи [26]. Автор отмечает, что в разные исторические эпохи диалект понимается по-разному. Мысли Л. И. Баранниковой об инодиалектных элементах, а тем более о публичной и деловой речи как существенных характеристиках диалекта современного этапа, исследование развития межъязыкового и междиалектного контактирования, наблюдения, касающиеся «социологизации территориального диалекта», — все это, как нам представляется, говорит о растворении истинного феодального, как бы «замкнутого» диалекта, о расширении его функций, структуры и территории, т. е. о его превращении в региональное языковое единство.

Аналогичные наблюдения высказываются в разной форме и в других трудах по русской диалектологии. Постоянно встречающееся терминологическое сочетание слов «объединение диалектов» в трудах В. Г. Орловой [27], Р. И. Аванесова [28] является тому свидетельством. Однако для русской истории, равно как и для истории народов СССР, узкий регионализм, замыкающийся рамками какого-либо одного региона, не является характерным явлением. В истории народов СССР господствует сочетание развития местных традиций (госп. языков, диалектов) с обще- и межнациональными тенденциями развития. Именно поэтому у нас отсутствует ярко выраженный регионализм, который наблюдается в современной Франции.

1. Реферовская Е. А. Французский язык в Канаде. Л., 1972.
2. Pohl J. Les variétés régionales du français.— In: *Études belges (1945—1977)*. Bruxelles, 1979.
3. Colloque de dialectologie franco-provençale: Actes publiés par Marzys Z. avec la collaboration de Voillat Fr. Neuchâtel — Genève, 1971.
4. Les dialectes de France au moyen âge et aujourd'hui. Domaines d'oïl et domaine franco-provençal. Paris, 1972.
5. Les dialectes romans de France à la lumière des Atlas régionaux: Colloque (Strasbourg, 24—28 mai, 1971). Paris, 1973.
6. Les français régionaux. Actes [du colloque] publiés par Taverdet G. et Straka G. Paris, 1977.
7. Marcellesi J.-B. et al. L'enseignement des «langues régionales».— *Langue française*, 1975, № 25, p. 6.
8. Bloch O. La pénétration du français dans les parlers des Vosges Méridionales. Paris, 1921, p. 121.
9. Pottier B. La situation linguistique en France.— In: *Le langage*. Paris, 1968. p. 1144.
10. Brasseur P. Le français régional dans les îles anglo-normandes.— In: *Les français régionaux*. Paris, 1977, p. 101.
11. Wolf L. Le français régional. Essai d'une définition.— *Tralili*, 1972, t. X, № 1, p. 171.
12. Бородина М. А. Проблемы лингвистической географии. М.— Л., 1966, с. 27.
13. Зубова Т. Е. Безличные конструкции региональной речи Франции.— В кн.: *Грамматическая семантика*. Горький, 1980, с. 57—64.
14. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976.
15. Домашнев А. И. Понятие структуры современного немецкого языка в трудах В. М. Жирмунского.— ВЯ, 1980, № 2, с. 112.
16. Маковский М. М. Английская диалектология. М., 1980.
17. Lurati O. *Dialetto e italiano regionale nella Svizzera Italiana*. Lugano, 1976.
18. Бородина М. А., Гущина Л. Г.— ВЯ, 1976, № 6.— Рец. на кн.: *Les français régionaux*. Paris, 1977.
19. Рахматулаева Г. Г. Особенности произношения региональной речи современного французского языка (северо-восточная зона): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1981.
20. Schmidt Chr. La grammaire française des XVI et XVII-e siècles et les langues régionales.— In: *Les français régionaux*, p. 215—225.
21. Сороколетов Ф. П. Из истории диалектной и исторической лексикологии русского языка.— В кн.: *Диалектная лексика*. Л., 1978, с. 17.
22. Frei H. *La grammaire des fautes*. Paris, 1929.
23. Dauzat A. *Les patois. Evolution.— Classification.— Étude*. Paris, 1946.
24. Александровская О. А. Французская картографическая школа конца XIX — начала XX века. М., 1972.
25. Vidal de la Blache, P. *Tableau de la géographie de la France*. Paris, 1911.
26. Баранникова Л. И. Русские народные говоры в советский период (К проблеме соотношения языка и диалекта). Саратов, 1967.
27. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии). Отв. ред. Орлова В. Г. М., 1970.
28. Вопросы лингвистической географии. Под ред. Аванесова Р. И. М., 1962.

ШВЕЙЦЕР А. Д.

## К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЯЗЫКА

Интерес к социальной дифференциации языка, одной из центральных проблем современной социолингвистики, восходит к тому периоду, когда в трудах К. Н. Державина, В. М. Жирмунского, Н. М. Каринского, Б. А. Ларина, Е. Д. Поливанова, А. М. Селищева, Н. В. Сергиевского, Л. П. Якубинского и других советских ученых намечались первые контуры марксистской социолингвистики. Между тем социологическим направлением, которое разрабатывалось в советском языкознании в 20-е и 30-е годы, и современной советской социолингвистикой прослеживаются тесные преемственные связи. И ранним трудам советских языковедов, и работам советских социолингвистов 70-х и 80-х гг. присуща принципиальная методологическая ориентация на исторический материализм как на общую социологическую теорию марксизма.

Вместе с тем было бы ошибочно усматривать в наблюдаемом в настоящее время возрождении интереса к этой проблеме лишь простое «повторение пройденного». Современная советская социолингвистика опирается как на достижения языкознания, позволившие значительно глубже проникнуть в сложную, многогранную и противоречивую природу языка, так и на достижения марксистской социологии, включающей не только социально-философский и общесоциологический уровни, но и теоретические модели социальной структуры общества, социальных систем и подсистем, вплоть до социологической системы личности [1].

Если для первых работ в области социальной дифференциации языка был характерен упрощенный взгляд на социальную структуру общества (отсюда и наблюдаемое во многих из них сведение этой структуры к структуре классовой), то для современной социолингвистической теории характерно стремление принимать в расчет всю многогранность и многоаспектность социальной структуры. В этой связи особую важность приобретает разработанная в марксистской социологии иерархическая модель социальной структуры, предусматривающая выделение первичного классового уровня и вторичного, образующего более мелкую сетку, накладываемую на классовую и включающую внутриклассовые, промежуточные и пограничные социальные слои. Образующая таким образом структура является исходной для структур производных (например, социально-психологической) [2].

Многоаспектность социальной структуры проявляется и в том, что она может рассматриваться в трех планах — функциональном (как упорядоченная совокупность сфер общественной деятельности, социальных институтов и других форм общественной жизни), организационном (как система связей, образующих различные типы социальных групп; единицами анализа при этом являются коллективы, организации и их структурные элементы), и, наконец, как система ориентации социальных действий (единицы анализа здесь — цели и средства, мотивы, стимулы, нормы, образцы, программы и подпрограммы социального действия) [3].

Для анализа социальной дифференциации языка чрезвычайно важно сочетать рассмотрение социальной структуры в статике, т. е. как некой совокупности связей и отношений, с рассмотрением ее в динамике, с учетом дивергенционных и интеграционных процессов, определяющих ее становление, развитие и функционирование. В обществе, разделенном на antagonистические классы, элементы этнической и религиозной общности превращаются в элементы функциональных систем. Так, деление на рели-

гнозные общины в Северной Ирландии тесно переплетается с разделением труда, власти, престижа, а этническое противопоставление белого и «цветного» населения в американском обществе приобрело ярко выраженный социальный характер.

Многогранность, многоаспектность и многоярусность социальной структуры общества не позволяет сводить проблему социальной дифференциации языка к проблеме отражения в языке классовой структуры общества [4, 5].

Схема социальной дифференциации языка, жестко ориентированная на классовое расслоение общества, является лишь весьма грубой и приближенной моделью языковой реальности. При этом наблюдалось то, что советский социолог Г. В. Осипов весьма точно охарактеризовал как «перепрыгивание» с высших уровней социологической теории прямо к эмпирическому исследованию, минуя опосредующие звенья [6]. Такое игнорирование промежуточных звеньев социальной дифференциации языка находило свое выражение как в синхронных корреляциях диалектной структуры языка с классовой структурой общества, так и — в диахронном плане — в попытках установления прямолинейных связей между языковыми изменениями и сменой общественных формаций.

Связь социальной структуры с вариативностью структуры языка должна рассматриваться с учетом всех производных от классовой структуры элементов — социальных слоев, профессиональных, культурных и иных групп, вплоть до первичных коллективов (малых групп). Обязательному учету подлежит и воздействие на язык элементов социокультурных и социopsихологических систем — социальных норм, установок, стимулов, мотиваций, ориентаций, механизмов социального контроля. Существенные коррективы в общую картину социальной дифференциации языка вносят интегрированные и «функционализованные» элементы внесистемных образований (например, возрастной, половой, этнической и территориальной дифференциации).

В то же время для советских социолингвистов неприемлема и другая крайность — моделирование социальной дифференциации языка без учета классовой структуры общества, гипостазирование малых групп, рассматриваемых в качестве основного и даже единственного объекта социолингвистического анализа. Сторонники такого подхода к проблеме социальной дифференциации языка ориентируются на микросоциологическое направление в буржуазной социологии, рассматривающее малую группу как микрокосм «большого» общества (критику этого направления см. в [7] и [8]).

Микросоциологическая ориентация сужает диапазон исследований американского ученого Дж. Гамперца, автора интересных трудов по билингвизму и диглоссии [9, 10]. Еще в большей мере микросоциологические установки влияют на работы этнометодологов, изучающих речевое поведение лишь в микроконтексте той или иной речевой ситуации [11].

Из сказанного отнюдь не следует, что микросоциолингвистические исследования бесперспективны или не заслуживают внимания. В целом микросоциология языка может явиться ценным дополнением к макросоциологическому анализу, но никак не может заменить его. Детерминирующее влияние социума на язык предстает в качестве результирующей как макросоциологических, так и микросоциологических факторов при явном примате первых в отношении вторых.

Сложный, многоступенчатый и опосредованный характер связей между социумом и языком исключает возможность рассмотрения структуры социальной дифференциации языка как зеркального отражения структуры социальной дифференциации общества. Вместе с тем идея изоморфизма языковых и социальных структур до самого последнего времени находит своих сторонников среди некоторых зарубежных социолингвистов. Так, американский ученый А. Д. Гримшо [12], исходя из того, что язык является частью процесса социального взаимодействия, считает, что существуют достаточные основания для описания языка и социальной структуры (трактуемой как структуры социально-политической и социально-

психологической) как единого целого, анализируемого в единых терминах. В качестве эмпирического подтверждения гипотезы об изоморфизме социальных и языковых структур делается ссылка на работы американского этнографа Дж. Фишера [13] и английского социального психолога Б. Бернстайна [14].

Исследование Дж. Фишера представляет собой сопоставительный анализ языковых и социокультурных систем населения двух микронезийских островов — Трука и Понапе. На основании некоторых синтаксических различий между этими близкородственными языками автор делает далеко идущий вывод о том, что более дифференцированная структура языка Понапе соответствует более дифференцированной социальной структуре с более широким репертуаром четко регламентированных социальных ролей.

Для того чтобы доказать, что структура языка Понапе носит более четко дифференцированный характер, Дж. Фишер ссылается на более эксплицитное выражение синтаксических функций у компонентов именных словосочетаний в этом языке. В то же время в трукском языке отношения между этими компонентами порой не выражаются однозначно. Однако, как он сам признает, все эти случаи неоднозначности легко разрешаются в контексте. Показательно и то, что немногие разрозненные примеры, приводимые Фишером, касаются лишь формальных различий, а не различий в семантических структурах.

Исследования Б. Бернстайна нашли весьма широкий отклик, в первую очередь, среди американских и западноевропейских социолингвистов. Согласно гипотезе Б. Бернстайна, существуют однозначные связи между классовой структурой общества и двумя речевыми кодами — «развернутым», характеризующимся использованием более сложных синтаксических построений и меньшей степенью предсказуемости, и более стереотипным, предсказуемым и тяготеющим к элементарным синтаксическим построениям «ограниченным» кодом. Ограниченный код, по Бернстайну, — это код рабочего класса или, во всяком случае, его «нижних слоев», а развернутый код — код «среднего класса», и, возможно, «высших слоев» рабочего класса. Первый ориентирован, в основном, на поддержание социального контакта и на выражение социальной солидарности, а второй — на самовыражение и межличностное общение.

Попытка Бернстайна закрепить за различными классами и социальными слоями такие речевые функции, как «самовыражение», «межличностное общение», «социальный контакт» и др., представляется несостоятельной. Понятия развернутого или ограниченного кода, как справедливо отмечает западногерманский социолингвист Д. Вундерлих, не равносильны типичному речевому поведению того или иного класса [15]. Столь же беспочвенной представляется лежащая в основе концепции Бернстайна гипотеза о «вербальном дефиците», согласно которой «нижние классы» используют более ограниченные и стереотипные речевые ресурсы, пригодные для поддержания социального контакта, но не для самовыражения [16].

Известно, что некоторые социальные ситуации влекут за собой преимущественное использование предсказуемых формул и речевых штампов. Однако связанные с этим расхождения в моделях речевого поведения, разумеется, не укладываются в упрощенную схему «развернутый — ограниченный» и соотносятся с социальной структурой лишь опосредованно, через речевую ситуацию [17].

Таким образом, материалы исследований Дж. Фишера и Б. Бернстайна никак не подтверждают гипотезы об изоморфизме языковых и социальных структур. Ведь, строго говоря, изоморфные отношения всегда предполагают, что «каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой операции (связи) в одной системе соответствует операция (связь) в другой и обратно» [18]. Вместе с тем определенная связь структуры социальной дифференциации языка и структуры социальной дифференциации общества, в основе которой лежит детерминирующее воздействие общества на язык, определяет известные черты сходства между этими структурами.

Подобно структуре социальной дифференциации общества, структура социальной дифференциации языка представляет собой многомерное образование, существующее в нескольких измерениях. В частности, для этой структуры характерно противопоставление двух плоскостей социально обусловленной вариативности языка — стратификационной и ситуативной.

Стратификационная вариативность связана с социально-классовой структурой общества, с его делением на классы, социальные слои и социальные группы. При этом основной единицей анализа являются языковые коллективы — совокупности социально взаимодействующих индивидов, обнаруживающих общность используемых языковых систем. Однако и в этом случае между языковыми и социальными структурами отсутствуют изоморфные отношения: одному и тому же языковому коллективу могут соответствовать разные элементы социально-политических, социально-классовых и других социальных структур (ср. отсутствие взаимодозначных связей между такими единицами, как «языковой коллектив» и «нация» — например, наличие разных языковых коллективов у мордовской нации: эрзя и мокша [19]).

Понятие языкового коллектива, используемое как на микроструктурном, так и на макроструктурном уровнях, является универсальным и охватывает как большие, так и малые общности (от нации до малой группы). Совокупность языковых ресурсов языкового коллектива образует единую социально-коммуникативную систему. Необходимость в использовании этого понятия определяется той принципиальной функциональной общностью, которая существует между любой совокупностью языковых систем и подсистем, используемых языковым коллективом, — будь то совокупность функциональных стилей одного языка в условиях одноязычия, сочетание диалекта и литературного языка в условиях диглоссии или сосуществование разных языков в условиях билингвизма. Дело в том, что независимо от характера их компонентов социально-коммуникативные системы всегда представляют собой целостные объекты, состоящие из взаимосвязанных элементов. Взаимосвязь компонентов (языков, диалектов, полудиалектов, аргоса и т. п.) носит характер функциональной дополнителности.

Функциональное распределение компонентов социально-коммуникативных систем и, стало быть, системный характер их связей задаются социальной структурой. Наряду с отношениями функциональной дополнителности между входящими в социально-коммуникативную систему языковыми образованиями существуют и иерархические связи. Неравноправие языков в многоязычном буржуазном обществе находит свое отражение в доминирующем положении и, соответственно, в высоком престижном ранге языка господствующего в данном обществе этноса. Так, в США на вершине социальной пирамиды находится английский язык, тогда как языки иммигрантских меньшинств (например, испанский) занимают подчиненное, маргинальное положение. Существует определенная зависимость между социальной иерархией компонентов социально-коммуникативных систем и диапазоном их функционального использования (обычно чем выше статус компонента, тем шире сфера его применения).

Подобно понятию языкового коллектива, понятие социально-коммуникативной системы нейтрально в отношении размеров и масштабов соотносительных с ним социальных единиц. Сюда относится совокупность языковых ресурсов любого коллектива — от нации до малой группы. Различаются гомогенные системы, состоящие из разновидностей одного и того же языка (литературного языка, койне, диалектов), и гетерогенные системы, включающие разные языки, взаимодействующие друг с другом в многоязычном коллективе.

Социально-коммуникативные системы могут варьироваться не только по структуре социальной матрицы, но и по наполнению ее клеток. Так, в период Средневековья и раннего Возрождения в ряде европейских стран функциональные клетки «язык науки» и «язык церкви» заполняла латынь.

Впоследствии их заполнили специализированные разновидности национального языка.

Ситуативная вариативность находит свое выражение в дифференцированном использовании языка в зависимости от социальной ситуации. При этом под влиянием социальной ситуации может наблюдаться либо количественное варьирование (изменение частотности социально маркированных единиц), либо варьирование качественное (переключение с одной языковой системы или подсистемы на другую).

Среди параметров социальной ситуации, оказывающих детерминирующее воздействие на дифференцированное использование языка, следует выделить, прежде всего, ролевые отношения — взаимоотношения участников коммуникативного акта, определяемые социальной ситуацией и варьирующиеся вместе с ней (чиновник — проситель, покупатель — продавец, учитель — ученик, отец — сын и т. п.). Известно, что смена ролей существенно меняет структуру социальной ситуации и влияет на выбор языковых средств [20].

В марксистской социологии понятие социальной роли соотносится как со сферой общественного сознания, где в качестве детерминанта выступает социальная норма, так и со сферой индивидуального сознания, где оно непосредственно связано с ролевым поведением, т. е. с реальным социальным действием, определяемым социальной ролью [21].

Кроме ролевых отношений, к числу параметров социальной ситуации, детерминирующих варьирование языковых средств, относится и обстановка или место коммуникативного акта. Существуют определенные, строго регламентированные формы реализации тех или иных ролевых отношений в зависимости от обстановки. С. Эрвин-Трипп употребляет в таких случаях термин «обстановка с маркированным статусом» [22]. (ср., например, в английском языке обращения к судье: *Your Honour; May it please the Court* и т. п.).

Между стратификационной и ситуативной вариативностью существует тесная взаимосвязь, которая проявляется в том, что в результате наложения стратификационных различий на различия ситуативные одна и та же модель ситуативной вариативности может реализоваться по-разному у представителей различных социальных групп. Так, по данным У. Лабова, модель ориентации на более престижные формы речи в официальных ситуациях характеризуется различными количественными показателями у информантов, принадлежащих к разным социальным слоям [23].

Тесное переплетение ситуативной и стратификационной вариативности находит свое отражение во взаимодействии таких категорий, как статус и роль. Статус — комплекс постоянных социальных и социально-демографических признаков, характеризующих индивида, в отличие от роли, ориентированной на ситуацию, связан со стратификационной вариативностью. Языковыми коррелятами этих признаков могут быть как литературный язык, так и социальные, социально-профессиональные и территориальные диалекты, групповые и корпоративные жаргоны, арго и др.

Между статусом и ролью существует двусторонняя связь. Статус является одним из важнейших детерминантов ролевых отношений. Однако ролевые отношения могут, в свою очередь, служить импульсом, приводящим в действие механизм актуализации сленга. Так, в пьесе английского драматурга А. Уэскера «*Chips with everything*» солдатские жаргонизмы *civvy street* «жизнь вне армии», *lark* «„непыльная“ работа», *Ops* «оперативный пункт» и др., сами по себе являющиеся маркерами статуса говорящих, используются лишь при реализации ролевых отношений «солдат — солдат»: *Ginger: Driver — I'm going to get something of this mob—it's going to cost them something keeping me from civvy street. . . ; Cannibal: I'm going in that Radar-plotting lark. . . ; Smiler: I think I'll go into Ops. . .* Использование солдатского жаргона при обращении к офицерам было бы явным нарушением речевого этикета и шло бы вразрез с ролевыми предписаниями.

С понятием социальной ситуации тесно связано понятие сферы обще-

ственной деятельности, которое можно рассматривать в качестве родового по отношению к первому. В социолингвистике для обозначения коммуникативно релевантной сферы общественной деятельности используется термин «сфера коммуникативной деятельности» или (в терминологии американских социолингвистов) «сфера речевого поведения» (*domain of language behaviour*) [24]. Номенклатура и исчисление сфер коммуникативной деятельности варьируются от языка к языку и от культуры к культуре. Обычно выделяются такие сферы, как бытовое общение, наука, образование, религия, официальное делопроизводство, общественно-политическая деятельность, художественное творчество, массовая коммуникация. Языковым коррелятом этих сфер в одноязычном обществе является функциональный стиль, «общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа» [25].

Неточность номенклатуры функциональных стилей у разных языковых коллективов и одного и того же коллектива на разных этапах его развития легко объяснима: ведь, будучи коррелятом сфер коммуникативной деятельности, функциональные стили в конечном счете соотносятся с теми речевыми ситуациями, которые возникают в общественной практике данного коллектива. Именно поэтому к анализу функционально-стилистического варьирования языка вполне приложима ролевая модель речевой деятельности. Это достаточно убедительно аргументирует К. А. Доликин, отмечающий, что «функциональные стили — это не что иное, как обобщенные речевые жанры, т. е. речевые нормы построения широких классов текстов, в которых воплощаются обобщенные социальные роли» [26].

Вместе с тем между функциональными стилями и номенклатурой коммуникативных сфер, как и между любыми элементами социальных структур и их языковыми коррелятами, отсутствуют взаимоднозначные связи. Один и тот же функциональный стиль может обслуживать разные, хотя и соприкасающиеся друг с другом социально-коммуникативные сферы. Так, например, официально-деловой стиль может использоваться не только в сфере административного управления, но и в юриспруденции, коммерции и др.

В условиях диглоссии в качестве аналога функционального стиля, занимающего то же место в матрице социально-коммуникативной системы, может выступать особая разновидность данного языка. Так, в ряде арабских стран в сфере религии, публицистики, поэзии используется классический арабский язык, тогда как в сфере повседневного бытового общения употребляется местный диалект арабского языка.

Модели функциональных стилей в одноязычном обществе аналогичны моделям распределения языков по сферам коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации. Так, например, по данным Х. П. Рона, среди двуязычного населения Парагвая языком повседневного общения является гуарани, тогда как в сфере образования и в официально-деловой коммуникации используется испанский язык [27].

В отличие от функциональных стилей, соотношенных со сферой коммуникативной деятельности как обобщенным типом речевой ситуации, так называемые «контекстуальные стили» (термин У. Лабова [28]) соотносятся непосредственно с конкретной ситуацией, с ее ролевой структурой. Существуют различные таксономии контекстуальных стилей. Так, У. Лабов различает «стиль тщательной речи» (*careful speech*) и «стиль непринужденной речи» (*casual speech*). Более подробную шкалу предлагает М. Джос, выделяющий пять стилей: 1) интимный, 2) непринужденный, 3) доверительный, 4) официальный и 5) «ледяной» (*frozen*) [29]. Е. А. Земская и ее соавторы, анализируя ситуативно обусловленный выбор кодифицированного литературного языка и разговорной речи, отмечают, что все существенные для этого выбора параметры ситуации так или иначе отражают

противопоставление ситуативных признаков «официальный — неофициальный» [30].

Исходя из сказанного, представляется возможным предложить трехуровневую шкалу «контекстуальных стилей»: официальный, нейтральный, неофициальный. Думается, что в пределах каждого из них можно установить и более дробное деление, дающее более детальное представление о континууме переходов от ситуаций, характеризующихся предельно официальными отношениями между коммуникантами, к ситуациям с предельно неофициальными отношениями между ними. Однако предлагаемая трехуровневая шкала определяет — пусть в грубом и приближенном виде — основные ступени этих переходов.

Разграничение понятий «функциональный стиль» и «контекстуальный стиль» определяется необходимостью в дифференциации понятия стиля, связанного с использованием языка в той или иной сфере человеческой деятельности, и понятия, отражающего закономерности отбора языковых средств в зависимости от конкретной социальной ситуации. В понятийном аппарате, разработанном английским ученым М. А. Халлидеем, понятие «контекстуального стиля» соответствует используемому им понятию «тональность» (*tenor*), входящему в триаду, включающую, помимо тональности, «область дискурса» (*field*), т. е. тему коммуникации, и «модус» (*mode*), т. е. используемый канал общения (письменная, устная речь и т. п.) [31].

В социальной дифференциации языка получает отражение еще один аспект социальной структуры общества — социально-психологическая структура. Одной из важнейших социально-психологических категорий, находящих отражение в языке, является установка. О социальном характере и социальной обусловленности установки писал еще Дж. Мид, отмечавший, что наши установки на объекты, на «других» и на себя порождаются и поддерживаются социальными факторами. Наша симпатия или антипатия по отношению к другим и к самим себе — все это возникает из нашего общения с другими и из нашей способности видеть мир их глазами. Иными словами, мы развиваем свои установки путем «интернализации» установок других [30].

В основе установки лежит триада, состоящая из субъекта, другого лица или лиц и объекта установки. В этой связи группу или даже общество в целом можно рассматривать как сложную сеть или структуру межличностных отношений, в которых почти все индивиды связаны друг с другом установками симпатии, антипатии, уважения, ненависти и т. п. [31].

Говоря о языковых рефлексах социальных установок, следует различать различные виды последних в зависимости от объекта установки. Прежде всего нужно выделить в особую категорию *референциальную установку*, объектом которых может быть сам денотат языковой единицы. Социальная установка в отношении денотата может фиксироваться как в коннотации слова, так и в формировании у него переносных значений. Так, в известном словаре английского сленга Э. Парtridge [32] у слова *Christian* «христианин» отмечается переносное значение «порядочный малый». Это значение, зарегистрированное еще у Диккенса, как и значение «торговец, охотно отпускающий товары в кредит» (и значение соответствующего прилагательного «гуманный, цивилизованный, уважаемый»), опирается на положительную коннотацию первоначального значения этого слова и, в конечном счете, на характерную для данной культуры положительную установку в отношении самого денотата.

Другой разновидностью социальных установок являются *метаязыковые установки*, т. е. установки, объектом которых является сам язык, его формы, системы и подсистемы. Примером такого рода установок являются оценочные суждения относительно различительных признаков американского и британского вариантов английского языка, сформировавшиеся у их носителей. Речь идет о противоположных, порой взаимоисключающих установках в отношении явлений собственного и «чужого» варианта (например, оценка опущения предконсонантного [r] как «признака расхлябанности» или как символа социального престижа, мнение

о том, что широкое *a* «изысканно» или, напротив, «маггерно», что *ate*, произнесенное [et], звучит «культурно» или же, наоборот, «вульгарно») [34]. Во всех подобных случаях фактически имеет место «однозначная методичность» — перенос на язык установок, существующих в отношении коллектива его носителей.

Анализ социальной дифференциации языка, помимо объективной стороны, отражающей реально наблюдаемые показатели этой дифференциации, имеет еще и субъективную сторону, имеющую дело с социальными установками в отношении языковых систем и подсистем, а также с ценностной ориентацией языковых коллективов, т. е. с ориентацией на определенные нормы выбора. Именно на основе ценностной ориентации формируются представления о приемлемости и неприемлемости языковой формы в определенной социальной ситуации. Нарушения такого рода нормативных стандартов лежат в основе так называемого смещения стилей. Например: *It was all up with King Lear who couldn't take any more of it* (из школьного сочинения) [35].

Основной операционной единицей анализа социальной дифференциации языка являются так называемые «социолингвистические переменные», языковые корреляты стратификационной и ситуативной вариативности языка. Между социолингвистическими переменными и единицами языка отсутствуют жесткие однозначные связи. Так, например, в русском языке личные местоимения *ты* и *вы*, будучи различными языковыми единицами, являются в то же время вариантами одной и той же социолингвистической переменной, социального маркера стратификационной и ситуативной вариативности. По данным У. Лабова, звуковые варианты социолингвистических переменных часто выходят за пределы артикуляционно-акустического диапазона одной фонемы. Так, у опрошенных им информантов, жителей нью-йоркского Ист-Сайда, гласный в слове *bad* мог совпадать с гласным в слове *bear*. Диапазон варьирования переменной *r* простирался от ретрофлексного согласного *r* до его полной вокализации [36].

Более того, социолингвистическими переменными в определенных языковых ситуациях могли быть не только отдельные языковые единицы, но и целые системы. Так называемое «переключение кода», имеющее место у билингвов, попеременно использующих в рамках одного и того же речевого акта то одну языковую систему, то другую, является не чем иным, как реакцией на изменение социальной ситуации. При этом социально значимым является не выбор тех или иных языковых единиц, а выбор того или иного языка, предпочтение одного языка другому в определенной социальной ситуации. Это явление очень точно отразил Л. Н. Толстой в романе «Война и мир», где использование французского или русского языка в речи персонажей строго мотивировано и определяется социальной ситуацией.

Таким образом, планом содержания социолингвистических переменных являются элементы различных социальных структур (статус, роль, установка и др.). К передаваемой языковыми средствами социальной информации относится все то, что, по определению К. А. Долинина, составляет сущность стилистического значения [26]. Подобно последнему, социальная информация передается путем выбора языкового средства из ряда денотативно и десигнативно равнозначных средств. Она характеризует субъект речи с точки зрения его принадлежности к социальной группе или, иными словами, социального статуса, его позиции в ролевой структуре общения, т. е. социальной роли, его отношения к предмету и адресату речи, т. е. социальных установок. Социальная информация, носителем которой являются социолингвистические переменные, представляет собой, по существу, явление социального символизма, понимаемого как «культурный механизм, основанный на использовании символических форм поведения в целях регуляции социальных отношений» [37]. Сам факт предпочтения одной языковой единицы или целой системы другой символизирует общность социальных норм данного речевого коллектива, основанную на единой интерпретации передаваемой таким образом социальной информации.

Выдвинутое выше положение о неизоморфности языковых и социальных структур находит свое отражение в асимметрии плана выражения и плана содержания социолингвистических переменных. По существу здесь наблюдаются те же отношения полисемии и синонимии, что и в любых связях между означающим и означаемым. Так, варьирование языковых систем при билингвизме может быть одновременно связано с такими социальными категориями, как статус, роль и установка. Одна и та же социолингвистическая переменная (например, варьирование *ты* и *вы*) может быть связана с такими социальными референтами, как статус, ролевые отношения, относительный возраст, родство и др. [38]). Для выражения отношений близости и социальной солидарности могут использоваться обращение по имени, обращение на «ты», сниженная разговорная лексика, различные паралингвистические средства.

Выше отмечалась важность учета не только статических, но и динамических аспектов социальной ситуации. Процессы, влияющие на структуру социальной дифференциации общества, оказывают, в конечном счете, влияние и на социальную дифференциацию языка. Так, социальная и географическая мобильность населения существенно видоизменяют классическую структуру территориальных диалектов, приводя к их «социализации», т. е. к превращению их в социально-территориальные диалекты определенных социальных и социодемографических групп сельского населения. Такая ситуация характерна, в частности, для Англии и Соединенных Штатов. Для неустойчивости, лабильности диалектной структуры характерна ее ситуативная обусловленность. Из универсального средства общения односельчан диалект превращается в средство общения, используемое лишь в определенных ситуациях. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы исследования Дж. Гамперда, изучавшего взаимодействие литературного языка и местного диалекта у жителей одного из поселков Северной Норвегии [39].

В прошлом один из территориальных диалектов южных штатов, диалект американских негров (Black English) в результате массовой миграции негритянского населения на север и запад страны, а также его урбанизации (в прошлом преимущественно сельские жители, американские негры по степени урбанизации опередили белое население) стал диалектом этносоциальным, лишенным локальной маркированности.

Так, в современном обществе возникает новая структура социальной дифференциации языка, в которой многие издавна используемые категории наполняются новым содержанием. Вместо традиционно противопоставлявшихся друг другу социальных и территориальных диалектов в результате интеграции в рамках социальной структуры и «функционализации» внесистемных признаков формируются новые образования, лежащие на пересечении социальных и несоциальных измерений, — социально-территориальные, этносоциальные, социально-демографические и др. диалекты. Процессы, влияющие на эту структуру, могут быть в целом охарактеризованы как социализация компонентов языковой ситуации.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Осипов Г. В. Теория и практика социологических исследований в СССР. М., 1979, с. 179—181.
2. Галкин А. А. Социальная структура современного капиталистического общества. — ВФ, 1972, № 8.
3. Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 142—144.
4. Жирмунский В. М. Проблемы социальной дифференциации языка. — В кн.: Язык и общество. М., 1968, с. 32.
5. Жирмунский В. М. Марксизм и социальная лингвистика. — В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969, с. 22—23.
6. Осипов Г. В. Теория и практика советской социологии. — В кн.: Социальные исследования. Теория и методы. М., 1970, с. 19.
7. Парыгин Б. Д. Социальная психология как наука. Л., 1965.
8. Звездкина Э. Ф. Критика методологических принципов изучения малых групп в буржуазной социальной психологии США. Автореф. диссерт. на соискание уч. ст. канд. философ. наук. М., 1968.

9. Gumperz J. J. Linguistic and social interaction in two communities. *American anthropologist*, 1964, v. 66, N 6, part 2.
10. Gumperz J. J. The social group as a primary unit of analysis in dialect study.— In: *Social dialects and language learning*. Champaign, 1965.
11. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М., 1976, с. 42—48.
12. Grimshaw A. D. Sociolinguistics. — In: *Advances in the sociology of language*. V. I. The Hague, 1971.
13. Фишер Дж. Л. Синтаксис и социальная структура. Трук и Попапе.— В кн.: *Новое в лингвистике*. Вып. VII. М., 1975.
14. Bernstein B. Elaborated and restricted codes.— *Sociological inquiry*, 1966, v. 36.
15. Wunderlich D. Zum Status der Soziolinguistik.— In: *Aspekte der Soziolinguistik*. Frankfurt/M., 1971, S. 308.
16. Домашнев А. И. Теория кодов Б. Бернстайна. Цели и результаты.— ВЯ, 1982, № 1.
17. Cazden C. B. The situation: a neglected source of social class differences in language use.— In: *Sociolinguistics*. Harmondsworth. 1972.
18. Философский словарь. М., 1972, с. 407.
19. Базиев А. Т., Исаев М. И. Язык и нация. М., 1973, с. 82—85.
20. Швейцер А. Д., Никольский Л. Б. Введение в социолингвистику. М., 1978.
21. Кречмар А. О понятийном аппарате социологической теории личности.— В кн.: *Социальные исследования. Теория и методы*. М., 1970, с. 52—54.
22. Ervin-Tripp S. M. Sociolinguistics.— In: *Advances in the sociology of language*. The Hague, 1971, p. 19.
23. Labov V. The social stratification of English in New York City. Washington, 1966.
24. Fishman J. A. The sociology of language. Rowley, 1973, p. 15—53.
25. Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики.— ВЯ, 1955, № 1, с. 73.
26. Долинин К. А. Стилистика французского языка. Л., 1978, 60—62.
27. Rona J. P. The social and cultural status of Guarani in Paraguay.— In: *Sociolinguistics*. The Hague, 1966.
28. Labov W. Sociolinguistic patterns. Philadelphia, 1972, p. 70—109.
29. Joos M. The isolation of styles.— In: *Readings in the sociology of language*. The Hague, 1968.
30. Русская разговорная речь. М., 1973, с. 9—11.
31. Halliday M. A. K. Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning. London, 1979, p. 31—35.
32. Partridge E. A. dictionary of slang and unconventional English. London, 1979.
33. Дэвис Дж. Э. Социология установки.— В кн.: *Американская социология. Перспективы, проблемы, методы*. М., 1972, с. 61—62.
34. Whitehall A. The English language.— In: *Webster's New world dictionary*. Cleveland, 1959.
35. Halliday M. A. K., McIntosh A, Strevens P. The users and uses of language.— In: *Varieties of present-day English*. New York, 1973, p. 19—20.
36. Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте.— В кн.: *Новое в лингвистике*. Вып. VII. М., 1975, с. 155—156.
37. Басин Е. А., Краснов В. М. Социальный символизм.— ВФ, 1971, № 10, с. 164.
38. Friedrich P. Social context and semantic feature: the Russian pronominal usage.— In: *Direction in sociolinguistics*. New York, 1972.
39. Гамперц Дж. Об этнографическом аспекте языковых изменений.— В кн.: *Новое в лингвистике*. Вып. VII. М., 1975.

БЕЛЫЙ В. В.

У. Д. УИТНИ И СТАНОВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО  
ДЕСКРИПТИВИЗМА

Влияние воззрений Уитни на генезис и становление дескриптивной лингвистики не подлежит сомнению. Нельзя в равной мере отрицать и ту роль, которую сыграли его идеи в развитии общего языкознания и формировании общелингвистических воззрений Соссюра [1—3]. К сожалению, ни в зарубежной, ни в отечественной литературе до сих пор нет исследования, в достаточной мере освещающего эти вопросы.

Из советских лингвистов лишь Н. А. Слюсарева указывает, что концепция Уитни оказала значительное влияние на теорию Соссюра [4]. Среди зарубежных же историков лингвистики только Ж. Мунен усматривает близость общелингвистических позиций Уитни и Блумфилда, но лишь в том, что лингвистическая деятельность как первого, так и второго в большой мере способствовала автономизации лингвистики [1, с. 24, 25].

Л. Блумфилд во «Введении в изучение языка» указывает, что цель его работы «аналогична той, которую преследовали работы Уитни „Язык и его изучение“ и „Жизнь и развитие языка“, опубликованные пятьдесят лет тому назад, показывающие достижения лингвистической науки и содержащие чрезвычайно немного того, под чем мы не могли бы подписаться и сегодня» [5, с. V]. В связи с этим он рекомендует начинать изучение курса языкознания некоторыми работами Уитни, которые считает «фундаментальными лингвистическими работами, написанными ясным и четким стилем» [5, с. 312, 315]. В своей книге «Язык» Блумфилд упоминает Уитни прежде всего и лишь как автора «превосходного введения в изучение языка» [6, с. 30], не усматривая каких-либо связей и преемственности между теми или иными положениями его лингвистической концепции и эволюцией языковедческой науки как в США, так и за их пределами. Однако, перечисляя языковедов, подготовивших возникновение нового (дескриптивного) подхода к языку, он не находит среди них места для У. Д. Уитни. Правда, по словам Р. Якобсона, Л. Блумфилд в начале 40-х годов отмечал, что его первым руководством по синхроническому изучению языков была «Грамматика санскрита» Уитни [7, с. XIIV]. В целом же следует констатировать, что как общелингвистические, так и частнолингвистические аспекты концепции Уитни были по достоинству оценены отнюдь не его соотечественниками [8], а европейскими лингвистами. Получивший высокую оценку таких видных европейских лингвистов, как Лескин, Ф. де Соссюр (который отмечал, что деятельность Уитни «изменила ось лингвистики» [9, с. 10]), Бругман, Масарик и др., Уитни был фактически забыт в своей стране. Вспоминая свои студенческие годы, Блумфилд отмечает, что работы Уитни даже не значились в списках литературы, рекомендованной будущим лингвистам [10, с. 45]. Это, как нам представляется, было прямым следствием того, что лингвистическая мысль США (не без влияния спенсеризма и нарождающегося прагматизма) больше тяготела не к обобщающим теоретическим построениям, а к эмпирическим наблюдениям, увлечению частностями, тогда как европейская лингвистическая мысль, где всегда были сильны позиции теоретического мышления, сумела увидеть в лингвистической концепции Уитни основу для изменения «оси лингвистики». В американской лингвистике уже в те годы все более давала себя знать тенденция к подмене теории методом, к приоритету метода в языковедческой науке: именно поэтому американские лингвисты прошли мимо многих основопола-

гающих идей Уитни [11, с. VIII]. Это, однако, отнюдь не означает, что лингвистические воззрения Уитни не содержали моментов, объективно способствовавших укреплению дескриптивистских тенденций в лингвистической науке США<sup>1</sup>. Лингвистическая концепция Уитни, по нашему мнению, не только фиксирует и отражает в ряде случаев замеченные тенденции в развитии языковедческой науки в США, но и предвосхищает отдельные положения как частнометодического, так и методологического характера, получившие свое дальнейшее развитие в работах Йельской школы.

Анализируя современное ему состояние науки о языке, Уитни отмечает, что эта наука фактически находится еще в «младенческом возрасте» [13, с. 316; 11, с. 1; 14, с. 206], не определила своего объекта и не разработала теории и практики своего метода [15, с. 95].

Четкой и недвусмысленной является позиция Уитни в вопросе разграничения филологии и лингвистики. Указывая, что «...филология и лингвистическая наука... являются двумя сторонами одной и той же (разрядка наша.— *Б. В.*) науки» [13, с. 315], Уитни упрекает Боппа в отсутствии дифференцированного взгляда на данную проблему [14, с. 207] и дает весьма негативную характеристику немецкой лингвистической школе. В этой связи нельзя не вспомнить того обстоятельства, что в своей борьбе за автономию лингвистической науки Блумфилд с присущим ему ригоризмом указывал, что «необходимо различать филологию и лингвистику, ибо эти две науки почти не имеют ничего общего между собой» [16, с. 512; 17, с. 1]. Таким образом, Уитни, как и позднее Блумфилд, отмечает необходимость получения лингвистикой независимого от филологии статуса, настаивает на автономии этой научной дисциплины. Однако позиция Уитни, несомненно, более реалистична в той части, где указывается на связь между лингвистикой и филологией. Усматривать между филологией и лингвистикой противоположность, аналогичную той, которая (как это, в частности, мыслил Л. Блумфилд) существует между астрономией и ботаникой, представляется безосновательным [18, с. 535].

Лингвистика, по Уитни,— это «...наука о всех человеческих языках, о любом существующем и зафиксированном диалекте без исключения» [13, с. 191]. Целью лингвистики является, по Уитни, исследование «...языка в самом широком смысле этого слова, всей совокупности человеческих языков, во всех их манифестациях, взаимоотношениях, разнообразии». «Научное знание будет в равной мере неполным, частичным, а его результаты — односторонними, если за его пределами окажутся даже самые неразвитые (*rudest*) и самые незначительные языковые семьи, а не только языки цивилизованных народов» [14, с. 200]. Эта мысль Уитни, с одной стороны, развивает тезис Дю Понсо [19, с. 12] о равенстве всех без исключения языков, а с другой — предвосхищает научную программу ДЛ—III и ДЛ—IV<sup>2</sup>.

Заметим, что Уитни отнюдь не связывает научную ценность лингвистических выводов с их ориентацией на методологию так называемых позитивных наук. В этом смысле чрезвычайно показательна его полемика с М. Мюллером [21; 22, с. 86]. «Мы — подчеркивает он,— не должны упускать из виду существенное различие между объектом физических наук и объектом нашей науки» [13, с. 226, 310]. Отмечая растущую экспансию физикализма и то, что приверженцы физических наук стремятся монополизировать самое понятие научности, Уитни указывает, что «лингвистическая наука обладает всеми достоинствами науки, подлинным научным характером и не нуждается в том, чтобы заимствовать нечто путем слияния с другими науками» [11, с. 52, 53; 20, с. 311]. Такая позиция в це-

<sup>1</sup> Р. Якобсон указывает, в частности, что, помимо Боаса и Сэпира, на развитие дескриптивной лингвистики оказал влияние и Уитни [12, с. 134].

<sup>2</sup> ДЛ—III — дескриптивная лингвистика III периода (1900—1925), ДЛ—IV — дескриптивная лингвистика IV периода (1925—). О периодизации истории дескриптивной лингвистики см. [20, с. 37].

лом совпадает с той борьбой, которая велась Сепиром, Блумфилдом и представителями Йельской школы за самоутверждение лингвистики как науки [23, с. 89]. С другой стороны, антифизикалистская направленность суждений Уитни, существенно отличает его позицию от позиции Пауэрлла [24, с. 77, 78], Боаса [25, с. 311, 314] и Блумфилда [26, с. 89]. «Существует, — отмечает он, — школа современной философии, стремящаяся материализовать всю науку, элиминировать различие между физическим, интеллектуальным и моральным, рассматривающая всю историю человечества как результат действия физических законов» [11, с. 49]. Однако «наука, имеющая дело с человеком, его деятельностью и привычками, не может быть чем-либо иным, как наукой исторической» [13, с. 35]. Уитни, следовательно, видит в лингвистике прежде всего гуманитарную науку, неотъемлемой составной частью которой является человеческий фактор. Заметим, что к тому же выводу пришли в конечном счете и наиболее активные приверженцы ДЛ—IV. Так, Р. Холл, солидаризуясь с В. Ингве, указывает, что «лингвистика... остро нуждается в возвращении в лоно гуманитарных наук» [27, с. 62; 28]. Самостоятельности лингвистики, полагает Уитни, угрожает не только физика, но и психология. «Физическая наука, с одной стороны, и психология, с другой стороны, стремятся подчинить себе лингвистику, которая в действительности не относится ни к физике, ни к психологии» [13, с. V]. «Психология, — замечает он, — может быть отличной „служанкой“ лингвистической науки, но может быть и опасной „госпожой“. Она может идти рядом в исторических исследованиях (языка. — *Б. В.*), ...но не имеет права идти впереди и указывать дорогу» [14, с. 349].

Антипсихологизм Уитни, несомненно, исторически оправданный, нашел свое продолжение при разработке методологических оснований ДЛ—IV Л. Блумфилдом [29, с. 256—263]. Отметим, что Блумфилд в обоснование своего антипсихологизма ссылается на Дельбрюка [6, с. 32], хотя эту же мысль высказывал почти двадцатью годами ранее его соотечественник Уитни. Оправданный исторически, лингвистический антипсихологизм в целом страдает узостью, методологической несостоятельностью и является прямым следствием недооценки или даже отрицания непосредственной связи языка с мышлением.

Автономность лингвистики как науки немыслима, по Уитни, без разработки самостоятельного метода. «Наука, — замечает он, — подразумевает наличие четкого основания, строгость метода и согласованность получаемых результатов» [13, с. 5, 316; 30, с. 21]. Особое внимание Уитни обращает на требование логической непротиворечивости лингвистических доктрин [21, с. 75; 31, с. 327—343; 32]. Лингвистика, по Уитни, — историческая наука, однако методологически историзм Уитни предстает в виде лингво-исторической таксономии, основанной на эмпирических обобщениях, которые ограничиваются лишь констатацией наличных и предшествующих состояний объекта. Основными плодотворными обобщениями в лингвистике, по Уитни [13, с. 312; 2, с. 109], являются обобщения индуктивные, ибо «лишь индукция может привести науку о языке в гармоническое соответствие с другими отраслями знания...» [14, с. 375] и избавить ее от поспешных выводов, безосновательных гипотез, несостоятельных дедукций. «...Ученый-лингвист, — замечает Уитни, — выводит индуктивным путем из наличных фактов недостижимое и ным способом (разрядка наша. — *Б. В.*) понимание развивающегося интеллекта и состояния знаний носителей языка» [14, с. 347]. Здесь Уитни развивает соответствующую точку зрения Дю Понсо, предвосхищая последующую индуктивистскую ориентацию ДЛ—III (школу Боаса), и вносит свою лепту в формирование одного из основных методологических постулатов ДЛ—IV, гласящего, что «единственными плодотворными обобщениями в языкознании являются обобщения индуктивные» [13, с. 144]. Именно под этим углом зрения Уитни рассматривает задачи морфологии, сводя их к «классификации и аранжировке бесконечного количества фактов и указанию направления их движения». Уитни отрицает даже самую возможность того, что морфология может иметь объяснитель-

ную функцию. В этом качестве морфология «как наука несостоятельна» [13, с. 144]. Узость такой постановки проблемы, ее эмпирическая ограниченность, ее антитеоретическая направленность очевидны. В частности, при любом лингвистическом исследовании нельзя забывать о «необходимости» заглянуть за языковое «бытие как непосредственное» [33, с. 115]. Очевидна и близость позиции Уитни к позиции сторонников Йельской школы, мыслящих в качестве основной цели исследования дескриптивной лингвистики «порядок» расположения (дистрибуции) или распределения (аранжировки) в процессе речи отдельных компонентов или признаков языка относительно друг друга. Методологическое кредо ДЛ—IV — «Мы пытаемся описывать, мы не пытаемся объяснять» — не что иное, как своего рода «методологическое эхо» точки зрения Уитни.

Тяготение Уитни к эмпирической методологии — следствие влияния характерной для научного мышления его времени идеалистической гносеологии позитивизма в ее спенсерянской разновидности. По свидетельству Б. Перрена, «Уитни и по духу, и по методу был скорее аристотелианцем, нежели платоником, ...он никогда не прибегал к воображению или эмоциям (в научном познании. — *Б. В.*). Он настаивал на полном накоплении фактов и не поощрял умозаключений» [8, с. 39, 40]. «Уитни, — замечает Т. Сеймур, — обладал практическим складом ума» [34, с. 291]. «Он требовал точных фактов соответственно тому, как они даны в наблюдении, измерены и подсчитаны», — добавляет У. Уорд [8, с. 53]. Сам Уитни, описывая общую гносеологическую атмосферу своего времени, констатирует беспокойный и ищущий дух исследования в конце XIX в., с его неуемным стремлением к фактам, его тенденцией к индукции [11, с. 3]. Таким образом, продолжая и развивая воззрения А. Галлатина, Дж. В. Пауэлла, П. С. Дю Понсо, У. Д. Уитни утверждает и обосновывает эмпирическую концепцию в лингвистике, активно формирует анти-теоретическую направленность научного мышления, предвосхищая феноменализм Ф. Боаса, а в более отдаленной перспективе и общеметодологическую и гносеологическую ориентацию Йельской школы.

В своих воззрениях на общую методологию лингвистики Уитни был не всегда последователен: наряду с фактологической и таксономической ориентацией у него можно встретить и совершенно правильную мысль о том, что «одна лишь классификация, аранжировка и упорядочение явлений языка, его узуса и способов выражения — это грамматика и лексикография, а не лингвистическая наука. Первые констатируют и предписывают, вторая стремится объяснить» [11, с. 54]. Однако в целом идея дескриптивного, таксономического подхода в науке у Уитни оказывается доминирующей. Нельзя не согласиться в этой связи с Муненом, усматривающим в общелингвистических воззрениях У. Д. Уитни своего рода конфликт между декларируемой историчностью и практически предпочитаемой (синхронической) дескриптивностью [1, с. 25]. Тяготение к последнему четко прослеживается в «Грамматике санскрита» (1879), при создании которой Уитни руководствовался идеей «представить факты языка прежде всего так, как они о б н а р у ж и в а ю т с я в узусе, и лишь в качестве побочной задачи так, как они представлены в индийских грамматиках» [35]. Но это фактически лишь переформулировка тезиса А. Галлатина («описывать язык таким, какой он есть»), напоминающая требование, предъявляемое Л. Блумфилдом к лингвистическому исследованию: «полное и точное описание языка, основанное на... наблюдении» [6, с. 25].

«Грамматику санскрита» Уитни можно рассматривать как вполне отвечающую канонам американского дескриптивизма (ДЛ—IV). Заметим, что в отличие от Блумфилда, видевшего в грамматике Панини «один из величайших памятников человеческого разума» [6, с. 254; 36; 37, с. 268, 269], Уитни полагал, что эта грамматика вообще «неприемлема в качестве руководства для изучения санскрита». Единственное ее достоинство — это «краткость, достигаемая за счет порядка, ясности и даже понимания» [38, с. 280—292].

Достаточно широко Уитни говорит о необходимости упорядочения, спецификации научного метода лингвистики, связывая с качеством последнего и качество лингвистики как науки. Он отмечает, что логическая корректность и системность — существеннейшие признаки научного знания. «Наука, — отмечает Уитни, — подразумевает определенную систему подачи материала, логичность положений, корректность аргументации» [21, с. 75]. Только в том случае, если лингвистика следует этим требованиям, она может «...достичь и далее упрочить свой статус как наука» [30, с. 1]. В предельно общем виде, Уитни, следовательно, выражает современную точку зрения, утверждающую системность как необходимый атрибут научного знания. Указанные мысли Уитни явились предпосылкой к тому, чтобы в дальнейшем развитии лингвистической науки в США особое внимание уделялось проблемам теории метода, разработке метаязыка, введению понятия лингвистической релевантности, требованию гомогенности, логической корректности, экспликативности формулировок и т. д.), получившим особый, подчас самодовлеющий акцент в ДЛ—IV. Эта сторона научного мировоззрения Уитни отражала общую для различных направлений философской мысли США тенденцию к фактологизму и ограничению научного познания уровнем непосредственно данного [39, с. 258]. Теория как составная и неотъемлемая часть любой системы, претендующей на модус научности, не находит у него своего четкого места в структуре лингвистической науки. В лучшем случае теоретической можно назвать лишь саму постановку вопроса о системе метода. Уже у Уитни, следовательно, видны зачатки того бесспорно существенного недостатка американского дескриптивизма, который с наибольшей силой проявился в ДЛ—IV, а именно фактическое отсутствие теории, низведшее ДЛ—IV до уровня методик [40, с. 146]. Наука как система, однако, не может быть сведена к системности методических и эвристических процедур. Такая позиция — не что иное, как методологический редукционизм. Системность науки — это органическое единство теории и метода. Отсутствие последнего существенно снижает эвристическую и прогностическую силу научного направления вообще и лингвистического направления в частности. Критически оценивая развитие лингвистики в США, П. Гарвин указывает, что «развитие американской лингвистики в США прошлого поколения показало слабость метода без теории...» [41, с. 11]. Такая позиция Уитни, несомненно, является отзвуком особенно усилившейся к концу XIX в. борьбы против метафизики в США. Хотя Уитни и не высказывается столь решительно против метафизики, как это делает Пауэлл [24, с. 77], тем не менее он достаточно определенно порицает последнюю. «...Метафизический метод требует обращения к тому, что стоит за фактами..., а это противоречит существующему научному методу, основной принцип которого состоит в том, что он зависит от фактов и предпочитает двигаться путем осторожной индукции и от известного к неянвому и неизвестному» [42, с. 135]. «По нашему мнению, вся их (метафизиков.— Б. В.) система должна быть отброшена и заменена научной, индуктивной (разрядка наша.— Б. В.) системой» [42, с. 169]. Приоритет метода перед теорией в общелингвистическом мировоззрении Уитни является не чем иным, как проявлением одной из наиболее глубоких и прочных «идиосинкразий» американского образа мышления, которая, по словам Коммеджера, заключалась в неперимости к метафизическим абстракциям и тяготении к аргументации с опорой на здравый смысл [43, с. 27]. Именно в этом ключе проводится Уитни критика лингвистической концепции Штейн-таля.

Высокая оценка лингвистической концепции Уитни, данная Соссюром, хорошо известна. Фундаментальным и принципиальным для судеб языкознания Соссюр мыслил вывод Уитни о том, что язык является человеческим учреждением. Именно это, указывает Ф. де Соссюр, изменило «ось лингвистики» [9, с. 60]<sup>3</sup>. Однако наряду с таким предельно общим

<sup>3</sup> Заметим, что задолго до Уитни эта мысль получила четкое обоснование у В. Гумбольдта [44].

определением языка Уитни оперирует и дефинициями меньшей общности. Здесь его общелингвистические воззрения оказываются созвучными складывающемуся в американской лингвистике онтологическому восприятию объекта и предвосхищают целый ряд моментов, четко проявившихся в ДЛ—III и ДЛ—IV.

Так, в частности, Уитни последовательно утверждает суммативистскую и плюралистическую точку зрения, констатируя, что язык «есть с у м м а (разрядка наша.— *Б. В.*) слов и фраз. . .» [42, с. 372]. В отдельных случаях язык онтологически сводится Уитни к «. . .совокупности отдельных знаков, посредством которых выражается человеческая мысль» [11, с. 54], «Что такое — английский язык?» — задает Уитни вопрос. И отвечает: «Это огромный конгломерат артикулированных знаков, используемых для (передачи.— *Б. В.*) мыслей в определенной языковой общности» [15, с. 97; 11, с. 22, 54]. Нетрудно видеть, что приведенные дефиниции языка фактически сводятся к тому, чтобы, как отмечал Л. Блумфилд, в качестве научного считать такое знание о языке, которое исчерпывается списком морфем, с указанием формального класса каждой морфемы, а также списком всех комплексных форм, функции которых в какой-то мере перегулярны [6, с. 296].

Явно предвосхищая подобную точку зрения, Уитни указывает, что лингвистика имеет дело «с простыми словами и словосочетаниями, а не с предложениями и текстами» [11, с. 6]. Последовательное проведение подобной точки зрения приводит к упразднению синтаксического уровня в лингвистическом познании. Оно замыкается пределами морфологического уровня. Как известно, это нашло реализацию в морфолого-синтаксическом синкретизме приверженцев Йельской школы, хотя четко обнаруживает себя уже в школе Ф. Боаса. В слове Уитни видит единство звучания и значения. Он неоднократно подчеркивает, что «язык в к а ж д о м (разрядка наша.— *Б. В.*) из своих элементов есть прежде всего знак идеи (мысли), знак, сопровождающий идею» [13, с. 16]. И вместе с тем, полемически заостряя проблему разграничения языка и мышления, он подчас склоняется к тому, чтобы рассматривать слова в качестве «простой комбинации звуков» [11, с. 140], т. е. становится на точку зрения Пауэлла и предвосхищает укрепившуюся в ДЛ—IV тенденцию — видеть в слове стимуло-реактивный феномен, сущность которого исчерпывается планом выражения [45, с. 620, 622].

Подчас и язык, по Уитни, оказывается «простой совокупностью употреблений, доминирующих в определенной общности» [13, с. 157], «суммой отдельных языков всех членов общности» [11, с. 22]. Суммативизм и плюрализм Уитни здесь очевидны, как очевидны и параллелизм их дефинициям языка у представителей Йельской школы. Вспомним откровенно суммативистскую и плюралистическую трактовку языка у Блумфилда [5], Блока [47, с. 7], Холла [48, с. 75]. Несостоятельность суммативистской и плюралистической точек зрения заключается прежде всего в том, что здесь снимается проблема целостности языка, язык как объективно существующее целое оказывается фикцией, а статусом реальности наделяется лишь идиолект. Язык оказывается не органическим целым, не системой, *où tout se tient*.

Общеметодологическим основанием приведенной точки зрения является гносеологический постулат позитивизма, гласящий, что «наше знание о мире может быть только феноменологичным» [49, с. 164]. Именно этот тезис Г. Спенсера лежит в основе стремления Уитни оперировать в лингвистической науке сущностями, доступными непосредственному восприятию, в качестве которых, однако, выступают идиолект и сумма идиолектов, а не язык *per se* <sup>4</sup>.

К чести Уитни заметим, что он не является ортодоксальным суммативистом: в своих попытках сформулировать обобщающее определение язы-

<sup>4</sup> «Вся совокупность (разрядка наша.— *Б. В.*) высказываний, которой может пользоваться данная языковая общность, является языком этой языковой общности» [46, с. 155].

ка он нередко интуитивно чувствовал, что язык отнюдь не является агрегатом, а есть органическая система, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимообусловлены.

В явном противоречии с изложенным выше Уитни указывает, что язык «подобно организму не является агрегатом..., язык — это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых элементов», «язык фактически является большой системой, чрезвычайно сложной симметрической структуры. Его совершенно справедливо можно сравнить с организмом, хотя в действительности он не организм» [11, с. 46, 50]. В основе сопоставления языка с организмом, подчеркивания его системности лежит идея его целостности, асуммативности, невозможности трактовки его как продукта сложения отдельных компонентов. На существенность этого признака указывали в свое время К. Маркс и Ф. Энгельс [50, с. 528—529], его правомерность подтверждена всем ходом развития языковедческой науки.

Сравнение языка с организмом у Уитни, несомненно, является отзвуком спенсеровского уподобления общества организму, выдвинутого еще в 1850 г. В целом же противоречивость позиции Уитни в определении языка является следствием неразрешимости в рамках позитивистской философии науки антиномии всеобщего и единичного. Язык как необходимая форма коммуникации является, говоря словами Ф. Энгельса, «формой внутренней завершенности и тем самым бесконечности», он «... есть соединение многих конечных вещей в бесконечное» [50, с. 548]. Позитивистское научное мировоззрение Уитни как отражение спенсерианской философии науки побуждает его к тому, чтобы замкнуть познание пределами эмпирической данности, плюралистичность которой стимулирует трактовку языка как суммативного образования. С другой стороны, индуктивный вывод всеобщего из массы единичных и особенных явлений, каковыми являются речевые произведения данной языковой общности, толкает к асуммативной трактовке языка, к пониманию его как системы неаддитивного типа. Заметим, что невозможность в силу позитивистской общеметодологической ориентации решить правильно антиномию «всеобщее — единичное» характерна для всех этапов развития дескриптивной лингвистики. В ДЛ—IV, например, это выливается, с одной стороны, в отождествление речи и языка, а с другой — в утверждение, что язык не имеет реального онтологического статуса, а есть плод научной деятельности лингвиста.

Основной функцией языка Уитни считает коммуникативную, указывая, что остальные функции существуют на ее основе [13, с. 149]. Именно же л а н и е коммуникации явилось, по Уитни, непосредственной причиной возникновения языка [14, с. 385; 15, с. 140; 1, с. 20]. Заметим, что Уитни высказывает здесь мысль, сходную с той, которую сформулировал Ф. Энгельс в «Диалектике природы»: «формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу» [50, с. 489]. Но если, по Энгельсу, исходным стимулом говорения выступает п о т р е б н о с т ь, то, по Уитни, — это желание.

Мысль Уитни о примате коммуникативной функции в дальнейшем развитии американской дескриптивной лингвистики была существенно подкреплена школой Боаса (ДЛ—III), а затем развивалась представителями ДЛ—IV [51]. Здесь коммуникативная функция была фетишизирована в силу безоговорочной ориентации на бихевиористскую методологию и признание единственной научной реальностью поведения (behavior).

Известно, что Дю Понсо один из первых указал на то, что между звуком и буквой можно усматривать лишь корреляцию, но не тождество. Развивая эту мысль, Уитни приходит к онтологически существенному выводу о том, что «письмо — это лишь вспомогательное и подчиненное средство» [13, с. 1—2], созданное наравне с другими для целей коммуникации. В дальнейшей эволюции дескриптивной лингвистики эта мысль вылилась в категорическое отрицание какой-либо взаимосвязи между языком и письмом. Если Блумфилд, в частности, ограничивается лишь констатацией того, что «письмо — это не язык, но лишь способ фиксации языка с помощью видимых знаков» [52, с. 65; 6, с. 35], то Хоккет катего-

рически подчеркивает, что письмо «не входит в язык» [53]. Конечно, трудно не согласиться с утверждением Эджертона, что «...письмо включает знаки, которые представляют собой совершенно другие реалии, чем звуки» [54, с. 150], но лишь при условии, что при этом не будут учитываться коррелятивность звука и буквы, генетическая зависимость письма от языка, их взаимосвязь и взаимовлияние. При учете же этих моментов письмо и язык оказываются взаимодополнительными элементами коммуникативной системы. На несостоятельность нигилистического отношения к письму приверженцев Йельской школы указывал Г. Мессинг, считающий такой подход «ребяческим упрощенчеством» [55, с. 6]. Можно сказать, что письмо не только отражает язык, не только является средством фиксации языка, как это мыслилось Блумфилдом, но и творит его (в том смысле, что система письменной речи проникает в систему устной речи, а отдельные компоненты первой натурализируются во второй).

Выше уже было сказано, что наряду с суммативистской трактовкой языка Уитни, предвосхищая подчас специфику трактовки языка в последующие периоды развития американского дескриптивизма и развивая воззрения Дю Понсо, мыслит язык как органически целое образование, как «большую систему чрезвычайно сложной и симметрической структуры (разрядка наша.— *Б. В.*)» [41, с. 50]. Само понятие системы, отсутствующее у Дю Понсо, Пауэлла и Галлатина, не находит четкого выражения и в работах Уитни. Оно нетерминологично и, в отличие от понятия «структура», не представлено ни в одном из предметных указателей в книгах Уитни. Следовательно, оно не мыслится Уитни как компонент метаязыка лингвистики. Заметим, что и в метаязыке дескриптивной лингвистики (ДЛ—IV) понятие системы также отсутствует. Так, в «Словаре американской лингвистической терминологии» Э. Хемпа при наличии термина «структура» и даже «структурная система» отсутствует термин «система» [56]. Примечательным в этой связи является факт отсутствия термина «структура» и у Ф. де Соссюра. Как замечает Э. Бенвенист, «Соссюр никогда не употреблял слова „структура“ в каком бы то ни было смысле. Для него самым существенным было понятие *системы*. Новизну его учения составляет именно идея о том, что язык образует систему...» [57, с. 61]. Смысл понятия структуры, по Уитни, заключается в том, что оно выражает идею соотношения, коррелятивности всех компонентов языка. «Ни одно слово... — указывает он, — не является значащим образованием без обозначения его отношения, без признака, помещающего его в некоторый класс или категорию» [41, с. 65]. «Фундаментальный принцип лингвистической науки состоит в том, что ни один факт в человеческом языке не может быть полностью осмыслен, пока не будет установлена его коррелятивность в пределах прочих языковых реалий» [43, с. 131]. Такое понимание предвосхищает как соссюрскую идею отношения единиц, так и идею взаимоотношений лингвистических классов, характерную для ДЛ—IV.

В отличие от Дю Понсо, Галлатина, Пауэлла, у которых понятие «структура» выступало как неопределяемый термин, Уитни понимает необходимость его содержательного определения. «Желательно, — пишет он, — прежде всего обратить внимание на некоторые общие характеристики лингвистической структуры» [43, с. 212, 213]. Термин «лингвистическая структура» мыслится как обладающий определенной онтологической реальностью. В отличие от термина «система» он представлен в предметном указателе к работе У. Д. Уитни «Жизнь и развитие языка». Как и Дю Понсо, Галлатин и Пауэлл, Уитни не склонен утверждать тождество структуры языка с грамматикой языка. Эта позиция Уитни перекликается и с дифференциацией указанных понятий в ДЛ—IV, где структура отделялась от грамматического строя и мыслилась как нечто привносимое лингвистом в процессе построения знания о языке [58, с. 34]. Правда, здесь Уитни не всегда последователен. С одной стороны, он утверждает, что структурные различия языков — это те различия, которые мы обычно называем грамматическими [31, с. 329; 14, с. 220]. С другой — говорит

о фонетической структуре наряду со структурой грамматической, а также указывает, что структура — это не сам материал языка. Непоследовательность и нечеткость дефиниции структуры не может, однако, умалить значимость попытки Уитни введения и конкретизации понятия структуры языка.

В лингвистической концепции Уитни мы впервые встречаемся с понятием позиции языкового компонента, с указанием на важность этого понятия, правда, в первую очередь для языков аналитического строя. Это понятие у Уитни явно имеет терминологический нюанс, о чем свидетельствует тот факт, что оно выносится в предметный указатель «Жизни и развития языка». Выделение позиции как существенного элемента структуры языка и подчеркивание важности ее учета при построении лингвистической теории предвосхитило дальнейшее развитие идеи позиционного синтаксиса в ДЛ—III Боасом, полагавшим, в частности, что «единственным методом, употребляемым для выражения отношений между определенными фонетическими группами, является их расположение в определенном и о р я д к е» (разрядка наша. — *Б. В.*) [59, с. 117]. Понятие позиции, эволюционировавшее в дальнейшем к идее окружения, имплицитно содержало предпосылки к утверждению дистрибуции в качестве основного эвристического приема в ДЛ—IV. Известно, какое важное место отводил Блумфилд, а затем Харрис, Блок, Трейгер понятию позиции [46, с. 158; 47, с. 39—40; 60, с. 177]. Понятие позиции, окружения — краеугольный камень методологической системы ДЛ—IV, и приоритет здесь бесспорно принадлежит Уитни.

Резюмируем изложенное. Было бы неправомерно выводить те или иные специфично американские лингвистические «идиосинкразии» ДЛ—III и, в особенности, ДЛ—IV непосредственно из тех или иных моментов лингвистической концепции Уитни, несмотря на близость и даже подчас тождественность, которые можно здесь констатировать. Однако было бы неверно и не видеть, что конститутивные элементы концепции Уитни объективно «работали» в направлении формирования американского варианта науки о языке. Хотя в целом лингвистическая концепция У. Д. Уитни может с позиции классического дескриптивизма (ДЛ—IV) квалифицироваться в качестве чисто менталистской, однако, как мы пытались показать, несмотря на контрверзу «идеальное — материальное», равносильную, по Блумфилду, контрверзе «ненаучное — научное», между исходными положениями ДЛ—IV и отдельными элементами концепции Уитни нельзя не видеть глубоких связей и корреляций, при всем различии исходных установок.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Mounin G.* La linguistique du XX-e siècle. Paris, 1972.
2. *Terracini B.* Guida allo studio della linguistica storica. Roma, 1949.
3. *Слюсарева Н. А.* Соссюр и соссюрианство. — В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977.
4. *Слюсарева Н. А.* Некоторые полузабытые страницы из истории языкознания (Ф. де Соссюр и У. Уитней). — В кн.: Общее и романское языкознание. М., 1972.
5. *Bloomfield L.* Introduction to the study of language. New York, 1914.
6. *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968.
7. *Jakobson R.* World response to Whitney. — Selected writings of William Dwight Whitney. Cambridge (Mass.), 1971.
8. The Whitney memorial meeting. — Journal of American Oriental Society, 1898, v. 19, № 2.
9. *Saussure F. de.* Notes inédites. — CFS, Genève, 1954, t. 12.
10. *Bloomfield L.* Secondary and tertiary responses to language. — Language, 1944, v. 20, № 2.
11. *Whitney W. D.* Language and the study of language. New York, 1872.
12. *Jakobson R.* Franz Boas' approach to language. — Portraits of linguistics. A biographical source-book for the history of Western linguistics. 1746—1963. Ed. by Sebeok T. A. V. II. Bloomington — London, 1966.
13. *Whitney U. D.* The life and growth of language. New York, 1878.
14. *Whitney W. D.* Oriental and linguistic studies. New York, 1893.
15. *Whitney W. D.* Brief abstract of a series of six lectures on the principles of linguistic science. — Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. Washington, 1864.

16. Bloomfield L. Language. New York, 1933.
17. Bloomfield L. Why a linguistic society?— Language, 1925, v. 1, № 1.
18. Malkiel Y., Langdon M. History and histories of linguistics.— Romance Philology, 1969, v. 22, № 4.
19. Du Ponceau P. S. Mémoire sur le système grammatical des langages de quelques nations indiennes de l'Amérique du Nord. Paris, 1835.
20. Бельй В. В. Ставовление общеметодологических основ американской дескриптивной лингвистики.— ВЯ, 1979, № 3.
21. Whitney W. D. Max Müller and the science of language. New York, 1892.
22. Jespersen O. Language, its nature, development and origin. London, 1925.
23. Bloch B. Leonard Bloomfield.— Language, 1949, v. 25, № 2.
24. Powell J. W. On limitation to the use of some anthropologic data.— First annual rept of the Bureau of ethnology. Washington, 1881.
25. Voas F. Recent anthropology.— Science, 1900, v. 98, № 7.
26. Bloomfield L. Language or ideas?— Language, 1936, v. 12, № 2.
27. Холл Р. (мл.). Критика теории Хомского.— ВЯ, 1978, № 5.
28. Yngve V. The dilemma of contemporary linguistics.— The First LACUS Forum. Ed. by Makai A. and V. Columbia (S. C.), 1974.
29. Фриз Г. «Школа» Блумфилда.— Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
30. Whitney W. D. On inconsistency in views of language.— Transactions of the American Philological Association. Washington, 1888.
31. Whitney W. D. Logical consistency in views of language.— American journal of philology, 1880, v. 1.
32. Swartz M. J. History and anthropology.— Philosophy of science, 1958, v. 25, № 3.
33. Ленин В. И. Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29, с. 115.
34. Seymour T. D. William Dwight Whitney.— American journal of philology, 1894, v. 15, № 3.
35. Whitney W. D. Sanskrit grammar. London, 1879.
36. Bloomfield L. On some rules of Panini.— Journal of African and Oriental Studies, 1927, v. 47.
37. Bloomfield L.— Language, 1929, № 4.— Rec.: Liebich B. Konkordanz Panini — Candra. Breslau, 1928.
38. Whitney W. D. The study of Hindu grammar and the study of Sanskrit.— American Journal of Philology, 1884, v. 5, № 2.
39. Руне Д. Критика идеалистического натурализма: методологическое засорение американской философии.— В кн. Современная прогрессивная философская и социологическая мысль в США. М. 1977.
40. Coseriu E. Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje. Montevideo. 1945.
41. Garvin P. Introduction.— In: Method and theory in linguistics. The Hague — Paris, 1970.
42. Whitney W. D. Steinthal on the origin of language.— Selected writings of W. D. Whitney. Cambridge (Mass.), 1971.
43. Commager H. S. The American mind. An interpretation of American thought and character since the 1880's. New Haven, 1950.
44. Humboldt W. Ueber die Verschiedenheit des menschliches Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts.— W. von Humboldt's Gesammelte Werke. Bd. 6. Berlin, 1848.
45. Powell J. W. Philology or the activity designed for expression.— American anthropologist. 1900, New series, v. 2, № 4.
46. Bloomfield L. A set of postulates for the science of language.— Language, 1926, № 2 (перепечатано: Readings in linguistics. I. Ed. by Joos M. Chicago — London, 1966).
47. Bloch B. A. A set of postulates for phonemic analysis.— Language, 1948, v. 24, № 1.
48. Hall R. (Jr.). An essay on language. Philadelphia — New York, 1968.
49. Spenser H. First principles. New York, 1901.
50. Маркс К. и Энгельс Ф. Диалектика природы.— Соч., 2-е изд., т. 20.
51. Harris Z. S. Methods in structural linguistics. Chicago, 1955.
52. Bloomfield L. Linguistic aspects of science.— In: International encyclopedia of unified science. Chicago, 1939.
53. Hockett Ch. F. Course in modern linguistics. New York, 1958.
54. Edgerton W. F. Ideograms in English writing.— Language, v. 57.
55. Messing G. M. Structuralism and literary tradition.— Language, 1951, v. 27, № 1.
56. Хемп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964.
57. Бенвенист Э. Понятие структуры в лингвистике.— В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
58. Harris Z. S.— Language, 1941, v. 17.— Rec.: Trubezkoy S. Grandzüge der Phonologie.
59. Боас Ф. Введение к «Руководству по языкам американских индейцев».— В кн.: Зевеиц В. А. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. II. М. 1960.
60. Harris Z. S. From morpheme to utterance.— Language, 1946, v. 22, № 3.

ДЖАУКЯН Г. Б.

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ФОНЕМА \*b И ВОПРОСЫ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО КОНСОНАНТИЗМА

1.1. Вопрос о значении типологических исследований для сравнительно-исторического языкознания, как известно, впервые был поставлен Р. Якобсоном на VIII Международном конгрессе лингвистов [1, 2]. Здесь же им была установлена универсалия, согласно которой наличие звонких придыхательных предполагает наличие глухих придыхательных. В дальнейшем было показано, что эта универсалия является частным проявлением другой, более общей универсалии, согласно которой наличие маркированного члена системы предполагает наличие немаркированного [3, с. 513]. Иначе говоря, в терминах порождающей фонологии, при появлении новой (маркированной) фонемы прежняя (немаркированная) фонема предыдущего состояния не исчезает [4, с. 14—15].

Таким образом оказалось, что нельзя решить вопрос о глухих придыхательных независимо от вопроса о звонких придыхательных, т. е. исключить ряд глухих придыхательных без учета общего характера системы консонантизма и данных типологии<sup>1</sup>. Появилась необходимость пересмотра реконструкции системы смычных, постулирующей ряды звонких придыхательных, звонких простых и глухих простых. Вторым основанием для пересмотра подобной реконструкции стало положение о типологической невероятности системы смычных, где существовал бы ряд звонких простых при отсутствии («слабости») в нем губного члена *b*. Последнее считается возможным для ряда глоттализированных или фарингализированных глухих: существует значительное количество индийских, африканских, кавказских языков, в которых отсутствует глоттализованная лабиальная фонема *p'*. В дальнейшем, когда полное исключение \**b* из системы и.-е. смычных оказалось затрудненным, более реально мыслящие исследователи стали говорить о ее низкой частотности («слабости»), указывая на ряд языков, в которых *p'* имеет очень низкую частотность. При этом, в связи с положением о соотношении маркированности с частотностью, делаются попытки обосновать отсутствие (или низкую частотность) *p'* в ряду глоттализированных глухих и обязательное наличие *b* в ряду звонких простых большей частотностью первого по отношению ко второму<sup>2</sup>.

1.2. Количество различных реконструкций, имеющих целью устранить указанные трудности, связанные со статусом глухих придыхательных и губных звонких, особенно возрастает в 70-х гг. Одна за другой появляются работы Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова, О. С. Широкова, Дж. Эмондса, П. Хоппера, Й. Расмуссена, А. Бомхарда, А. Одрикура, Р. Нормье [16—23]. Общей для всех этих исследований является реконструкция трехрядной системы консонантизма: ряд звонких обычно заменяется рядом глоттализированных (Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, О. С. Широков, П. Хоппер, А. Бомхард, А. Одрикур, Р. Нормье), причем либо ряд звонких придыхательных остается без изменения, но вместо ряда глухих появляется ряд глухих придыхательных (Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов — в первой редакции, Дж. Эмондс, Р. Нормье), либо,

<sup>1</sup> Вторичный характер глухих придыхательных доказывали, в частности, Ю. Куривович [5, с. 16—54; 6, с. 375—382], У. Леман [7, с. 63], Р. Хирше [8]. В «защиту» глухих придыхательных выступил еще в 1936 г. Х. Фриск [9, с. 41; ср. также] 10, с. 181].

<sup>2</sup> Об этом говорили Н. Трубецкой [11, с. 292], Р. Якобсон, Э. Черри и М. Халле [12], Дж. Гринберг [3, 13] и др. (ср. также [14; 15, с. 65—72]).

напротив, остается без изменения ряд глухих, но вместо ряда звонких придыхательных появляется ряд звонких (О. С. Широков, А. Бомхард; у П. Хоппера *d* является при этом «бормотным», обозначаемым как *d*). Укажем также на следующее: 1) Й. Расмуссен достигает типологической вероятности несколько иным путем, заменяя ряд звонких придыхательных рядом звонких, ряд звонких — рядом глухих, ряд глухих — рядом эмфатических (глоттализированных/фарингализированных/напряженных), вместо *t, d, dh*, получая *T, t, d*; 2) Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов [24, 25] в дальнейшем несколько изменяют реконструируемую систему, считая придыхательность глухих и звонких лишь сопутствующим признаком:

|                                 |   |   |  |   |   |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| I<br>( <i>p'</i> )<br><i>t'</i> | <i>k'</i><br><i>k<sup>u</sup></i><br><i>k<sup>h</sup></i> | II<br><i>p/p<sup>h</sup></i><br><i>t/th</i> | <i>k/k<sup>h</sup></i><br><i>k<sup>u</sup>/k<sup>u</sup><sup>h</sup></i> | III<br><i>b/b<sup>h</sup></i><br><i>d/d<sup>h</sup></i> | <i>g/gh</i><br><i>g<sup>u</sup>/g<sup>u</sup><sup>h</sup></i> |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|

2.1. Из сказанного следует, что вопрос о статусе *\*b* в системе и.-е. консонантизма на современном этапе развития индоевропейстики приобретает особую важность. Если при этом учесть, что вопрос о существовании самостоятельного ряда глухих придыхательных и его отношения к ряду звонких придыхательных обсуждался неоднократно, а вопрос о *\*b* не привлекал особого внимания, то необходимость непредвзятого анализа данных отдельных и.-е. языков станет понятной.

2.1.2. О «слабости» *\*b*, особенно в начальной позиции, в индоевропейстике говорилось на самых ранних этапах ее развития. В силу этого укоренившегося мнения индоевропейцы иногда намеренно избегали восстановления таких корней, которые содержали бы начальное *\*b*, пытаясь найти другие объяснения: изменение *\*bh > b* в пределах данного языка, заимствование слова, содержащего *\*b*, из другого и.-е. языка и т. п. Признаком «слабости» *\*b* считалось особенно то обстоятельство, что слова с этой начальной фонемой довольно часто имеют звукоподражательный или междометный характер. Указывалось также на колебание этой фонемы в начальной позиции — ее чередование с *\*bh* или *\*p*, а также на редкость основ, начинающихся с *\*b*.

2.2. Несмотря на все это, фонема *\*b* продолжала фигурировать почти во всех сравнительных грамматиках и этимологических словарях [ср., например, 26, 27]. В «Индоевропейском этимологическом словаре» Ю. Покорного [27] в корневых морфемах *\*b* встречается в начальной позиции 30 раз, в начальной — 43 раза, причем из них только в 23 случаях *\*b* чередуется с *\*p* и/или *\*bh* или может быть выделено как детерминатив; кроме того, в качестве детерминатива оно встречается еще несколько десятков раз.

По своей частотности *\*b* не занимает последнего места. По данным Ж. Жюкуа [28], частотность *\*b* в начальной позиции составляет 1,2% всех фонем (включая и гласные, сонанты, фрикативные), т. е. больше частотности *\*g'* (1,1%), *\*k<sup>u</sup>* (0,9%) и *\*g<sup>u</sup><sup>h</sup>* (0,6%), в конце корня — 0,3%, т. е. больше частотности *\*g<sup>u</sup>* (0,2%) и *\*g<sup>u</sup><sup>h</sup>* (0,1%).

2.3. Если усомниться в верности некоторых этимологий, все же остается значительное количество корреспонденций, дающих надежные свидетельства о правомерности восстановления *\*b* в системе и.-е. консонантизма. Приведем несколько примеров.

2.3.1. Для начальной позиции можно отметить, например, следующие факты: *\*bak-*: греч. βᾶκτρον, βᾶκτριᾶ лат. *baculum* «палка, посох»; *\*bel-*: др.-инд. *bālam* «сила», греч. βελτίων «лучший», лат. *de-bilis* «несильный, слабый», русск. *более, большой*; возможно сюда же относятся др.-инд. *bāla-* «юный, молодой; мальчик» и арм. диал. *plik* «мальчик», а также нидерл., н.-нем., фриз. *pal* «неподвижный, крепкий» и арм. диал. *pal* «большой, тяжелый, неподвижный (о камне); широкий, продвинутый (о лбе)» при др.-арм. *pal, pał* «большой камень, скала» [29, I, с. 4—5]; *\*bu-d-*: др.-инд. *budhadah* «пузырь», норв. *pūte* «подушка», *pūta* «толстая женщина», швед. *puta* «быть надутым», англ. *pout* «надувать губы», арм. *put* «прыщ, бугорок на коже», *pt-uk* «росток, побег, почка, сосок», *pt-ul* «ягода, плод, фрукт; виноградная ягода, виноградина; кончик пальца, мя-

коть кончика пальца», возможно, и *put, putput* «анемона, ветреница»; \**bu-l-*: др.-инд. *buli-, buri-* «вульва; зад, ягодица», литов. *bulis, bûlè* «зад», арм. диал. *pu-pul* «penis», *pl-ul, pl-or* «мужское яичко», ср.-арм. *pus<sup>c</sup>* (\**bul-sko-*) «вульва»; \**bumb-*: арм. диал. *pimpulak* «почка; бутон»<sup>3</sup>, литов. *vimbulas* «головка», *vimburas* «почка; утолщение», лтш. *bumba* «шар, мяч», *bumbulis* «клубень», а также русск. (без \*-*m-*) *бублик*, чеш. *boubel, bibel* «пузырь», в.-луж., н.-луж. *bublin* «пуговица» (при др.-инд. *bimba* «диск, шар»).

2.3.2. Еще больше данных для нена начальной позиции: \**ab-* (при \**ap-*): лат. *amnis* (\**abnis*) др.-ирл. *ab*(\**abā*) «река», лтш. *Abava* (назв. реки); \**abel-*: др.-ирл. *abull* (\**ablu*), корн., брет. *aval*, крым.-гот. *apel*, др.-в.-нем. *apful*, литов. *obelis*, лтш. *âbels*, русск. *яблоко*; \**dreb-*: др.-англ. *treppan* (\**trapjan*) «ступать», ср.-в.-нем. (н.-нем) *treppe, trappe* «лестница», польск. *drabina* «лестница»; \**dheb-*: др.-в.-нем. *tapfar* «тяжелый; беременная», норв. *daper* «беременная», др.-сев. *dapr* «тяжелый; мрачный, угрюмый; печальный», прусск. *debīkan* «большой», ст.-слав. *дебелъ* «толстый», русск. *дебелый*, тох. *A tsopats* «большой»; \**dheub-*: гот. *diups*, др.-ирл. *domain* кимр. *dwfn*, корн. *down*, брет. *dour* (\**dhubni-*), литов. *dubūs* «глубокий», ст.-слав. *дъно* (дъбно) «дно»; \**gelb-, gleb-*: арм. диал. *klap-t-il* (\**gēlab-*) «свертываться, сжиматься в ком (особенно о змее)», *klp-or* (\**gēlib-*) «круглый, кругленький», лат. *globus* «шар; глыба; куча», *glēba* «глыба, ком земли», др.-англ. *clupran*, др.-фриз. *kleppan* «обнимать», швейц.-нем. *chlpufel* «связка, пучок»; \**gerb-*: новоисл. *korpa* «морщина; складка», др.-ирл. *gerbach* «морщинистый», русск. *горб*; \**ghreib-*: гот. *greipan*, др.-в.-нем. *greifan*, литов. *griēbti* «хватать, схватывать»; \**keu-b-*: греч. *κῦβος* «куб»; лат. *cubitum* «локоть» (при *subō, -are* «лежать»), гот. *hups*, др.-в.-нем. *huf* «бедро» и др.; \**kreib-* (от \*(*s*)*ker-* «крутить, сгибать»): др.-исл. *hrīp* «деревянная посуда», ср.-англ. *rip* «верша», др.-в.-нем. *href* «корзина, короб», лтш. *kribas* (мн. ч.) «плетенка в санях»; \**kumb-*: др.-инд. *kumba* «толстый конец (кости)», греч. *κῦμα* «голова, головка», *κῦμαχος* «острие шлема», англ. *hump* «горб»; \**leb-, \*lāb-*: арм. диал. *lep̄, lap̄* «оболочка; тощее, слабо висящее мясо», греч. *λεβός* «ушная мочка; доля почки; печень», *λεβήρις* «сброшенная змеей старая кожа, линовище», исл., норв. *lara* «свисать»; \**lib-*: арм. *lpirs* «скользящий», *lpreil* «скользить», *lpirš* «наглый, бесстыдный», диал. *lprtes* «скользить; болтать», диал. *lpstel* «лизать», *lpstac* «бесстыдный» (при \**libhro-* > *lirb* бесстыдный, наглый), греч. *ὀλιβρός* «скользящий, гладкий», др.-в.-нем. *slipfec, slipferic* «скользящий»; \**lub-*: арм. диал. *lp-uk* «лишенный волос, лысый; лишенный имущества, неимущий, бедный», арм. диал. *lpkel* (*lpokel, lopkel*) «выщипывать, рвать, сдирать, обдирать», арм. диал. *lpele* «цапнуть, схватить», др.-исл. *laupr* «корзина», др.-англ. *lēar* «корзина; туловище, остов», может быть, и литов. *liūbas* «луб, кора», русск. *луб* (при литов. *lup̄, lup̄ti* «сдирать, обдирать, драг, лупить», русск. *лупить*); \**omb-, \*mb-* (при \**ombh-, \*mbh-*): ср.-инд. *ambu-* «вода», греч. *ὀμβρος* «дождь», арм. *amp* «облако, туча», *ampro-p* «гроза»; \**pibeti-*: др.-инд. *pibati*, арм. (*ænd + \*hipe* >) (*əm-pe*, лат. *bibit* (\**pibit*), др.-ирл. *ibid* «пьет»; \**remb-/romb-/rumb-*: ср.-н.-нем. *rump*, н.-в.-нем. *Rumpf* «туловище, торс, остов» («отрубленный кусок»), литов. *ruĩbas* «рубец, шрам», *rumbuoti* «подрубать», русск. *рубить*; \**reub-*: гот. *raurjan*, ср.-в.-нем. *gorfen* «щипать; рвать», англ. *rip* «разрезать, распарывать, рвать; раскалывать», лат. *rubus* «ежевитый куст» (?); \**reu-b-* (при \**reu-g-*) др.-исл. *ropa* «рыгать, отрыгивать», *rupta* «рвать, тошнить», др.-в.-нем. *roffezan* (\**rupa-tjan*) «рыгать, отрыгивать» (при греч. *ερέυομαι*, арм. *ocal* «изрыгать, вырвать»); \**sab-* (при \**sap-*): иллир. *sabaium* «пиво», др. англ. *sæp* «сок; бульон», возможно, и арм. *ham* (\**sab-mo-*) «вкус»; \**seib-* (при \**seip-*): др.-англ. *sīpian* «капать», *sāpe* «мыло», др.-в.-нем. *sei(p)fe* «мыло; смола», возможно, и лат. *sēbut* «сало» (?); \*(*s*)*kamb-*: греч. *σκαμβός* «кривой, кривоногий», др.-ирл. *camb* «кривой»; \**skeb-/skob-, skab-*: арм. *c<sup>c</sup>up, -oy* (\**skōbo-*) «палка, посох, жезл», гот. *gaskarjan* «творить», зап.-герм. \**skap* «(вырезанная) посуда», др.-сакс. *skap* «чан», др.-в.-нем. *skaf* «сосуд» (при греч. *σκαίτρον* «палка, посох, жезл»); \**skelb-, \*skleb-*: арм. диал. *c<sup>c</sup>lep* (\**skēleb-*?)

<sup>3</sup> Вторичное диалектное полногласие вместо *p(ə)mpulak*.

«щепка; заусеница», дат. диал. *skalp*, норв. *skolp* «стручок, оболочка»; \*(s)kerb-, (s)kre(m)b- (при \*(s)-kerbh-, \*(s)krebh-): др.-исл. *skorpn* «морщиться», новоисл. *herpa-st* «корчиться», *harpa* «щипать», н.-в.-нем. *scrumpten* «морщиться, сморщиваться», греч. κράμφο: «сморщенный, сухой», русск. диал. *скорблый* «сморщенный», *скорбнуть* «морщиться»; \*(s)kerb- [при \*(s)kerbh-]: др.-англ. *sceorpan* «царапать, скрести; грызть», *scearp* «острый», др.-в.-нем. *skurfen*, *skurphen* «разрезать, нарезать», при русск. *щерб*, *щербатый* и \*(s)kreb- (при \*(s)krebh-): др.-англ. *screpan* «царапать, скрести», лтш. *skrabt* «выдалбливать, царапать, скрести», русск. *скребу*, *скрести*; \*skreb-: др.-сев. *skrap*- «шуршание, шелест; болтовня», литов. *skrebėti* «шуршать, шелестеть», ст.-слав. *скроботъ* «шум»; \*skeub-: др.-исл. *skopa* «бегать, скакать», литов. *skubėti* «спешить, торопиться»; \*(s)keu-b- (при \*(s)keup-, \*(s)keubh-): др.-исл. *skopt* «волосы на голове», ср.-в.-нем. *schopf* «чуб», русск. *чуб*; \*sleub- (при \*sleubh-): гот. *sliupan* «ползти», др.-англ. *slūpan*, др.-в.-нем. *schliefen* «скользить», лат. *lūbricus* «скользкий, гладкий»; \*(s)nerb-: греч. νορβειν: ἐν-αμείαι (Гезихий), др.-исл. *snerpa* «точить»; \*(s)teb-/\*(s)tob-: арм. *t'opel* «бить, ударять», *t'opoloc* «батог», греч. στεβειν, τεβειν «носить, хулить», др.-англ. *stæppan* (*steppen*) «утапывать, ступать, ходить» и, с назализацией, др.-в.-нем. *stampfen* «толочь, бить, чеканить»; \*steib-: арм. *stēp*- «частый, поспешный, поспешность», *stipel* «торопить, принуждать», греч. στειβειν «топтать; ходить, мчаться»; \*stel-b-: др.-н.-нем. *stelpōn* «останавливать», *stolpi* «балка, столб», нидерл. *stelpen* «прекращать, останавливать, задерживать, препятствовать», литов. *stalbiūotis* «останавливаться», *stūlbs* «столб», русск. *столб*; \*stremb (при \*strem-): ср.-н.-нем. *strampe(le)n* «растапывать», ср.-в.-нем. *strumpe(le)n*, н.-в.-нем. (н.-нем.) *strampeln* «болтать ногами», ср.-в.-нем. *strumpl*, ср.-н.-нем. *strump* «чулок; остаток чего-либо: огарок, окурок и т. п.», др.-прусск. *strambo* «жнивье»; \*strei-b- (при \*strei-g-): ср.-ни.-нем. *stripe*, ср.-в.-нем. *strife*, нем. *Streifen* «полоса» (при др.-англ. *strica* «полоса»); \*streu-b- (при \*streu-g-, \*streudh-): др.-в.-нем. *stroufen* «снимать (кожу), грабить» [при др.-англ. *strocian* «снимать (кожу)»; \*treb-: др.-англ. *þorp*, *þrop* «поместье, двор, деревня», др.-фриз. *therp*, *thorp*, др.-в.-нем. *dorf* «деревня», лат. *trabs* (*trabēs*) «бревно, балка», др.-кипр., др.-брет. *treb* «жилище», ср.-ирл. *treb* «дом, поместье», литов. *trobà* «изба, хата»; \*trēib-/\*trib- (при *terb*-): греч. τριβειν «тереть, растирать; утапывать», лат. *tribulō*, *-āre* «давить, прессовать», при ст.-слав. *trbbiti* «чистить, корчевать», русск. *теребить*; \*turb-/\*turb-: греч. τυρβη (атт. τωρβη) «суматоха, смятение», лат. *turba* «смятение, суматоха», ср.-ирл. *torbaid* «снутывает», кимр. *twrf* «шум», др.-исл. *forp* «толпа», *fyrra* «теснить»; \*ub-: др.-инд. *ubjāti* «подавляет, сжимает», арм. *hup* «давление, сжатие» (арм. диал. *hup tal* «давить, сжимать»), прусск., литов. *ūbyti* «торопить», может быть, и фраз. (▷ греч.) «Υπλο: «название реки»); \*ub-: арм. *hup* «близ, около», *hup*, *-oy* (\*ubo-) «близкий», лат. *sub* [\**(e)ks-ub*] «под; близ, около»; \*uab-: гот. *worþan* «кричать, звать», литов. *vōbyti* «вызывать в суд», ст.-слав. *вabiti* «подзывать»; \*ceib-: греч. γειβαλαι: ζευγαλα (Гезихий), лат. *vibrē*, *-āre* «приводить в движение, колебать, извивать», гот. *weipan* «увенчивать», ср.-в.-нем. *weifen* «махать, размахивать, мотать», литов. *vyburti* «вилять», лтш. *viebt* «морщить, корчить, кривить»; \*uērb-: греч. ραβδος: «палка, трость, розга», лат. *verbera* (мн. ч.) «побой», литов. *viřbas* «лоза, розга, прут», русск. *верба*, а также гот. *waigran*, др.-исл. *verpa* «бросать, кидать».

2.4. Все и.-е. языки, так или иначе сохранившие противопоставление традиционно восстанавливаемых звонких простых и звонких придыхательных, обладают значительным количеством незаимствованных слов, содержащих фонемы (как в начальной, так и в ненаачальной позициях), соответствующие и.-е. \*b, т. е. b, β в индийском и греческом, p — в германском и армянском и т. д. В «Этимологическом корневом словаре» Р. Ачаряна [29, I, с. 3—117] приводится 532 корневых слова, начинающихся с p, в том числе много слов, о заимствовании которых нет достоверных данных. Таким образом, можно констатировать, что рефлексы и.-е. \*b продолжают быть равноправными членами систем консонантизма этих языков.

2.5. Говоря о «слабости» и даже об отсутствии и.-е. \*b как фонемы, исследователи обычно имеют в виду в основном начальную позицию. Между тем «сила» (встречаемость) той или иной фонемы, ее удельный вес в системе фонем и общая частотность не всегда соразмерны ее «силе» в начальной позиции. Хорошим примером может служить статус фонемы r в тех языках, где слова не начинаются с нее. В современном армянском языке по частотности эта фонема занимает четвертое место среди всех фонем и второе — среди всех согласных, между тем в начальной позиции она встречается весьма редко (фактически только в слове *горе* «минута», заимствованном из греческого, и его дериватах).

2.6. В качестве аргумента в пользу «слабости» \*b исследователи часто указывают на звукоподражательный характер корней, содержащих \*b. Не говоря о том, что здесь имеются в виду преимущественно корни (и то не все) с начальным \*b (что, как было сказано, неправомерно), отметим следующее. Во-первых, речь идет не о реально сравниваемых словах, а главным образом о восстанавливаемых и.-е. корнях: звукоподражательный характер корней во многих случаях устанавливается после восстановления и.-е. праформ. Во-вторых, если корни восстановлены правильно — с соблюдением всех звуковых законов, — то их звукоподражательность говорит в пользу «силы» \*b в качестве фонемы: звукоподражания и междометия вряд ли могли образовываться на базе... несуществующей фонемы или давать значительное количество примеров на базе очень «слабой» фонемы. При этом следует учесть, что замена фонемы \*b членом глухого глоттализованного ряда \*p' (Р.) иногда приводит к утрате или ослаблению собственно звукоподражательного характера таких, например, реконструкций, как \*bē или \*bā (подражание блеянию овцы).

2.7. «Слабость» \*b, если это даже действительно имеет место, не может быть достаточным основанием для замены и.-е. ряда звонких простых рядом глоттализированных глухих до тех пор, пока, во-первых, не исследованы соответствующие факты в с е х языков и диалектов, а имеются данные лишь части из них, при этом не всегда проверенные <sup>4</sup>; во-вторых, не выявлены в полной мере общие статистические закономерности функционирования различных категорий согласных и, в-третьих, не установлены до конца акустические и физиологические основы их соотношения по маркированности. Достаточно напомнить, что ущербность (отсутствие губного члена) ряда глоттализированных хотя типологически вероятно, но необязательна: имеются и неущербные системы. В этом отношении характерны факты истории некоторых исследований: как было отмечено, некоторые авторы, сначала заменяя ряд и.-е. звонких простых рядом глоттализированных глухих, в дальнейшем для остальных рядов считают придыхательность необязательным признаком и получают ряды \*b/\*bh \*p/\*ph и т. п., т. е. вновь включают ряд звонких простых в и.-е. консонантизм в качестве вариантов звонких придыхательных с допущением необязательной придыхательности последних. Однако этим положение не улучшается: ведь \*b чередуется не только с \*bh, но и с \*p.

2.8. То обстоятельство, что закон Грассмана действует не только в древнеиндийском и греческом, но и во фракийском и, очень ограниченно, в армянском (ср. \*bhendh > арм. *pind* «крепкий»), говорит в пользу интерпретации этого закона в качестве и.-е. диалектной изоглоссы. Следовательно, в индоевропейском языке — в определенном диалектном ареале — существовал дополнительный источник для \*b — на базе частичной дезаспирации звонких придыхательных.

2.9. На основании сказанного можно констатировать, что, во-первых, нет веских аргументов для исключения фонемы \*b из состава и.-е. консонантизма, во-вторых, положение о «слабости» \*b следует понимать весьма относительно: хотя по своей частотности \*b уступает большинству звонких простых, однако не всем. Поскольку фонемы любого языка по своей частотности образуют определенную шкалу, постольку о «слабости»

<sup>4</sup> Интересно отметить, что устанавливая универсалию о соотношении звонких и глухих придыхательных, Р. Якобсон все же оговаривается: «Насколько мне известно...».

той или иной фонемы можно говорить лишь относительно. Замена же на этом основании ряда звонких простых рядом глоттализированных глухих является результатом игнорирования определенных фактов в условиях чрезмерного увлечения принципом типологической вероятности (понимаемой, к тому же, очень узко) при игнорировании других принципов [30, с. 3—16]; из более ранних оценок см. [31]). К тому же положение о маркированности звонкого *b* в противоположность звонкому *g* (выступающему, таким образом, в качестве немаркированного члена ряда звонких смычных) основывается на поспешных обобщениях, связанных с ограниченностью материала. При этом относительно большая частотность *b* по отношению к *g* в кавказских языках определяется среднеарифметически, между тем как в некоторых из них имеет место обратное соотношение: в хевсурском диалекте грузинского языка (1,90 : 1,91), древнегрузинском языке (1,50 : 1,98), усигульском говоре сванского языка (1,09 : 2,99), лентельском говоре сванского языка (1,46 : 2,40), мегрельском диалекте занского языка (1,80 : 2,36), абхазском языке (1,70 : 2,13), осетинском языке (1,69 : 1,78); таково же и соотношение *b* и *g* в венгерском языке (2,35 : 2,60) [14, с. 96 и 100].

3.1. Под глоттализированностью не все исследователи понимают одно и то же. Если понимать ее как произношение согласных с гортанной смычкой и отождествлять глоттализированные согласные с картвельскими абрунтивами (по термину Г. С. Ахвледиани), то мы столкнемся с рядом проблем<sup>5</sup>.

Во-первых, в известных и.-е. языках глоттализированность, не выступает в качестве самостоятельного релевантного признака. В приводимом иногда в качестве примера армянском языке глоттализация встречается только в армянских диалектах на территории Грузии и имеет явно вторичный характер. В самом литературном языке она как таковая не встречается [34]<sup>6</sup>. Что касается других и.-е. языков, то глоттализация как своего рода просодическая черта отмечается лишь в некоторых новых германских и индийских языках [35—38 и др.]. Насколько же правомерно приписывать праязыку признак, отсутствующий в языках, возникших на его основе?

Во-вторых, если исключить крайние толкования хронологии палатализации и ее результатов в и.-е. языках [39; 40, с. 112—129]<sup>7</sup>, то нельзя отрицать существования в общеиндоевропейском особом релевантного признака палатализации независимо от позиции<sup>8</sup>. В этом случае следует выяснить, в какой мере вероятно сосуществование глоттализации и палатализации в одной и той же фонеме и при сосуществовании в системе языка глоттализированных и палатализированных смычных — не происходит ли при этом утрата палатализированными смычными глоттализации?

3.2. Общей для всех указанных попыток реконструкции является некоторая умозрительность — общеиндоевропейский язык как бы берется вне времени и пространства, точнее — недостаточно конкретизируются время и ареальная данность восстанавливаемой системы.

Действительно, к какому периоду развития и.-е. языка относятся указанные реконструируемые системы? Если, не вдаваясь в подробности,

<sup>5</sup> Если толковать глоттализацию или, как некоторые исследователи ее называют, ларингализацию шире, имея в виду не только смычные, но и целые согласные, то, по-видимому, она заключается в подъеме гортани [ср. 32, с. 137]. У Р. Якобсона, Г. М. Фанта и М. Халле [33, с. 184] глоттализация толкуется как обрыв потока воздуха вследствие сжатия или смыкания голосовой щели.

<sup>6</sup> Некоторая глоттализация, возможно, присуща *с*, *ш*, но, во-первых, это положение нуждается в экспериментальной проверке, во-вторых, если она и имеет место, то лишь как вторичный (сопутствующий) признак: *p*, *t*, *k*, *с*, *ш* противопоставляются *p'*, *t'*, *k'*, *с'*, *ш'* в основном как неаспирированные аспирированным.

<sup>7</sup> Имеется в виду, что одни исследователи рассматривают первую палатализацию заднеязычных и ее результаты (дентализацию, аффрикатизацию, спирантизацию) целиком в пределах развития праязыка, другие — полностью выводят все эти процессы за пределы развития общеиндоевропейского и относят к развитию отдельных и.-е. языков.

<sup>8</sup> Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, на первом этапе выдвижения своей концепции не ставившие вопроса о ряде палатальных, в последних своих статьях указывают на необходимость постулирования таковых [41, 42].

выделить раннеиндоевропейский и позднеиндоевропейский периоды, то, по идее авторов реконструкций, эти попытки имеют в виду позднеиндоевропейский, т. е. период, непосредственно предшествующий интенсивному процессу выделения отдельных языков. В этом случае, во-первых, не учитывается, что процесс распада индоевропейской общности должен был быть длительным и развитие как выделившихся языков, так и общего языка должно было бы продолжаться, во-вторых, остается без объяснения приведенный выше факт — исчезновение во всех выделившихся языках ряда глоттализированных согласных, в-третьих, не обращается внимания на типологическую редкость сосуществования глоттализированных и палатализированных согласных.

Можно было бы допустить существование ряда глоттализированных смычных лишь в раннеиндоевропейский период, если объяснить отсутствие их следов в и.-е. языках. В пользу подобного допущения косвенно свидетельствовали бы данные ностратического языкознания, восстанавленного для ностратического языка ряд глоттализированных смычных [43, с. 147—171]<sup>9</sup>, и (если даже отрицать гипотезу отдаленного родства) факты ранних контактов индоевропейцев с семитами и картвелами. Однако все это относится к весьма отдаленному периоду<sup>10</sup>.

Стремление к идеализации и предельному обобщению приводит к тому, что реконструируемые системы консонантизма теряют реальную почву и как бы повисают в воздухе. Как известно, в позднеиндоевропейский период существовала значительная диалектная дифференциация. Любой исследователь, который берется за реконструкцию какого-либо состояния, должен отдавать себе отчет, что имеется в виду: какой-то конкретный диалектный ареал, наддиалектный (стандартный) язык или некоторое идеально-обобщенное состояние. Хотя во второй редакции реконструкции Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов дают варианты *\*b/\*bh*, *\*p/\*ph* но, во-первых, они не всегда имеют в виду некоторые конкретные ареалы распространения вариантов, во-вторых, допускают невариантность глоттализированных глухих, что, как было отмечено, плохо согласуется с фактом их отсутствия в отдельных и.-е. языках.

Во всех этих случаях имеет место приблизительно то же явление, что и при реконструкции ларингалов. Увлечение представителей ларингальной теории различными реконструкциями привело к тому, что они стали предлагать шесть (Ф. Родригес-Адрадос), восемь (Я. Пухвел), десять ларингалов (А. Мартине), что приводило к постулированию систем, «очень не похожих на исторические индоевропейские языки. Исследователю, ставшему на этот путь, грозит серьезная опасность отрыва от действительности» [51, с. 19].

4.1. Если учесть диалектную дифференцированность и.-е. языка, то придется констатировать неправомерность восстановления для и.-е. языка единой системы консонантизма. Можно говорить о существовании нескольких систем консонантизма или, точнее, о диалектном варьировании реконструируемой обобщенной системы. Иначе говоря, реконструируемая общая модель и.-е. консонантизма в действительности реализовалась лишь в частных моделях [ср. 40, с. 74]. В связи с этим мы укажем на признаки, общие для и.-е. диалектов и различающие их (имеют-

<sup>9</sup> Примечательно, что еще в 50-х гг. Ж. Кантино [44, с. 290—294] и А. Мартине [45, с. 68—70] возводили семитские эмфатические (фарингализованные) согласные к первичным глоттализированным.

<sup>10</sup> Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов [46, 47] локализуют общиндоевропейский в Восточной Анатолии, Южном Кавказе и на севере Иранского плоскогорья. Еще в 1967 г. автор настоящей статьи писал: «Хотя в настоящее время нельзя считать вполне доказанным родство индоевропейцев с семитами (не говоря о кавказцах, тюрках и т. д.), однако несомненные совпадения в лексике дают право говорить об их очень древних контактах. Таким образом, мы должны предположить, что индоевропейцы некогда обитали на территории, соприкасавшейся с территорией, заселенной семитскими племенами» [48, с. 39]. М. Гимбутас [49] на основании археологических данных относит начало индоевропейской эпохи в Европе к середине IV тыс. до н. э. [ср. также 50]. Весь вопрос состоит в хронологии и в том, насколько правы Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, настаивающие на переходе в Европу лишь части индоевропейских племен: дело в том, что на указанной ими территории пока не установлено элементов топонимики (в частности, гидронимики), имеющих первичный индоевропейский характер.

ся в виду не поздние состояния п.-е. языков, а их восстанавливаемые прасостояния). Общими для рассматриваемых смыхных являются признаки, характеризующие их классы: 1) по месту образования — лабиальность, дентальность и гуттуральность и, по всей вероятности, 2) по участию голосовых связок — звонкость (resp. невзвонкость или глухость). Различными являются признаки: 1) аспирированность (resp. неаспирированность) и 2) лабиализованность или палатализованность гуттуральных; по-видимому, имелись переходные зоны, в которых а) признаки лабиализованности и палатализованности совмещались (ср. албанский) [см. также 52 и 48, с. 59], б) палатализация охватывала не все слова (ср. славянские, балтийские).

4.2. На основании сказанного можно указать на два основных сосуществующих диалектных варианта систем смыхных по аспирированности — неаспирированности и три варианта по палатализованности и лабиализованности заднеязычных.

По этим признакам для позднеиндоевропейского можно выделить следующие ареалы:

1) ареал с аспирацией и палатализацией: \*k, \*k', \*kh, \*k'h, \*g, \*g', \*gh, \*g'h (праиндийский, праармянский);

2) ареал с аспирацией и лабиализацией: \*k, \*k<sup>u</sup>, \*kh, \*k<sup>u</sup>h, \*g, \*g<sup>u</sup>, \*gh, \*g<sup>u</sup>h (прагереческий, праиталийский);

3) ареал без аспирации, с палатализацией: \*k, \*k', \*g, \*g' (праиранский, праславянский, прабалтийский);

4) ареал без аспирации, с лабиализацией: \*k, \*k<sup>u</sup>, \*g, \*g<sup>u</sup> (пракельтский);

5) ареал без аспирации, с палатализацией и лабиализацией: \*k, \*k', \*k<sup>u</sup>, \*g, \*g', \*g<sup>u</sup> (праалбанский).

Для всех этих частных моделей можно восстановить следующую общую модель:

|  |  |
|--|--|
| *p/*ph   | *b/*bh   |
| *t/*th   | *d/*dh   |
| *k/*kh   | *g/*gh   |
| *k/*k'h и/или *k <sup>u</sup> /*k <sup>u</sup> h | *g/*g'h и/или *g <sup>u</sup> /*g <sup>u</sup> h |

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Jakobson R. Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics. — In: Proceedings of the Eighth International Congress of linguists. Oslo, 1958.
2. Jakobson R. Selected writings. I. Phonological studies. The Hague, 1962.
3. Greenberg J. H. Language universals with particular reference to feature hierarchies. The Hague, 1966.
4. Мартынов В. В. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968.
5. Kuryłowicz J. Etudes indoeuropéennes. 1. Kraków, 1935.
6. Kuryłowicz J. L'apophonie en indoeuropéen. Wrocław, 1956.
7. Lehmann W. P. Proto-Indo-European phonology. Austin, 1952.
8. Hiernsche K. Untersuchungen zur Frage der Tenues aspiratae in Indogermanischen. Wiesbaden, 1964.
9. Frisk H. Suffixales -th- in Indogermanischen. In: Göteborgs Högskolas Årsskrift. 1939, 42, 2.
10. Back M. Die Rekonstruktion des idg. Vorschlusslautsystem in Lichte der einzel-sprachlichen Veränderungen. — KZ, 1979, 93.
11. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
12. Jakobson R., Cherry E. C., Halle M. Toward the logical description of languages in the phonemic aspect. — Language, 1953, v. 22, № 1.
13. Greenberg J. H. Synchronic and diachronic universals in phonology. — Language, 1966, v. 42, № 2.
14. Меликшвили И. Г. Иерархические отношения единиц фонологического уровня. — ВЯ, 1974, № 3.
15. Гамкрелидзе Т. В. Маркированность в фонологии и типологии фонологических систем. — В кн.: Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.
16. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В., Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смыхных. — В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972.
17. Широков О. С. Кавказско-индоевропейские фонологические сходжения. — В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972.

18. *Emonds J.* A reformation of Grimm's law. Contributions to generative phonology. London, 1972.
19. *Hopper P. I.* Glottalized and murmured occlusives in Indo-European.— *Glossa*, 1972, v. VII, № 2.
20. *Rasmussen J.* Haeretica indogermanica. København, 1974.
21. *Bomhard A.* An outline of the historical phonology of Indo-European.— *Orbis*, v. XXIV, № 3.
22. *Haudricourt A.* Le mutations consonantiques (occlusives) en indoeuropéen.— In: *Mélanges linguistique offerts à E. Benveniste*. Paris, 1975.
23. *Normier R.* Indogermanischer Konsonantismus, germanische «Lautverschiebung» und Vermerisches Gesetz.— *KZ*, 1947, Bd. 91, № 2.
24. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Реконструкция системы смычных общиндоевропейского языка. Глоттализированные смычные в индоевропейском.— *ВЯ*, 1980, № 4.
25. *Gamkrelidze Th. V.* Language typology and linguistic reconstruction.— In: *Proceedings of the Twelfth International Congress of Linguists*. Innsbruck, 1978.
26. *Szemerényi O.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970 (2. Aufl.— 1980).
27. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Bern — München, 1959.
28. *Jacquois G.* La structure des racines en indoeuropéen envisagée d'un point de vue statistique.— In: *Linguistic research in Belgium*. Wetteren, 1966.
29. *Ачарян Р.* Этимологический корневой словарь армянского языка. 2-е изд. Т. 1—4. Ереван, 1971—1974 (на арм. яз.)
30. *Джаукян Г. Б.* Сравнительная грамматика армянского языка. Ереван. 1982.
31. *Szemerényi O.* The new look of Indo-European. Reconstruction and typology.— *Phonetica*, 1967, v. 17.
32. *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика М., 1979.
33. *Якобсон Р., Фант Г. М., Халле М.* Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты.— В кн.: *Новое в лингвистике*. Вып. II. М., 1962.
34. *Хачатрян А. А., Айрапетян В. Н.* Экспериментальное исследование согласных армянского языка. Ереван, 1972.
35. *Smith S.* Stødet in dansk rigssprog. København, 1944.
36. *O'Konnor J. D.* RP and the reinforcing glottal stop.— *English studies*. Amsterdam, 1952, № 4.
37. *Ringard K.* Vestjusk stød. Aarhus, 1960.
38. *Chatterji S. K.* Glottal spirants and the glottal stop in New Indo-Aryan.— In: *In honor of Daniel Jones*. London, 1964.
39. *Djahukian G. B.* Die Bedeutung der ersten (indogermanischen) und der zweiten (inner-armenischen) Palatalisierung für die Konstituierung des armenischen Konsonantensystems.— *KZ*, 1975, Bd. 89, № 1.
40. *Джаукян Г. Б.* Общее и армянское языкознание. Ереван, 1978.
41. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Ряды «гutturальных» в индоевропейском. Проблема языков centum и satem.— *ВЯ*, 1980.
42. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Проблема языков centum и satem и отражение «гutturальных» в исторических индоевропейских диалектах.— *ВЯ*, 1980, № 6.
43. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. I. М., 1971.
44. *Santineau J.* *Mufaḫḫata* — the emphatic phonemes in Arabic.— *Semitica*, 1952, № 4.
45. *Martinet A.* Remarques sur le consonantisme sémitique.— *BSLP*, 1953, v. 49.
46. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Проблема определения первоначальной территории обитания и путей миграции носителей диалектов общиндоевропейского языка.— В кн.: *Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков*. М., 1972.
47. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема.— *ВДИ*, 1980, № 3.
48. *Джаукян Г. Б.* Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967.
49. *Gimbutas M.* Old Europe c. 7000—3500 B. C. The earliest European civilisation before the infiltration of the Indo-European peoples.— *Journal of Indo-European studies*, 1973, v. I, № 2.
50. *Winn M. M.* Thoughts on the question of Indo-European movements into Anatolia and Iran.— *Journal of Indo-European Studies*, v, 11, № 2.
51. *Тронский И. М.* Общиндоевропейское языковое состояние. Л., 1967.
52. *Pisani V.* La palatalizzazione armena.— In: *Atti del Sodalizio glottologico italiano*, 1948, v. I, № 1.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.

## О СЛЕДАХ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОСОДИКИ В ЛАТИНСКОМ

Крупнейшие индоевропейцы признают, что на раннем этапе своего развития праязык был «корнеизолирующим» или — по более современной терминологии — слогоморфемным<sup>1</sup> [1, 2]. Уже это делает весьма вероятным наличие в нем тонов [3]. Реконструкция праиндоевропейской просодики в ее исторической связи с консонантизмом ведет к выделению двух первоначально слоговых супрасегментных признаков, которые позже либо перемещались «внутри» фонем, либо приобретали способность характеризовать слово в целом. Эти процессы были вызваны переходом от языка слогоморфемного типа к такому типу языка, в котором важнейшей единицей являлось слово. С одной стороны, слово как новая просодическая единица могло воспринять акцентный контур слогоморфемы, с другой стороны, в результате диахронической компрессии возникало расхождение слоговых и морфемных границ, что и укрепляло статус фонемы. Фонетическая характеристика восстанавливаемых просодических признаков отличается большой сложностью. Типологические данные указывают на наибольшую вероятность регистровости и контурности [5]. Процедура же реконструкции требует их более конкретной интерпретации как высоты и ларингальности [6]. Давно установлено, однако, что тоновые характеристики переходят в своем развитии одна в другую [7].

Обозначим один из реконструируемых признаков через <sup>1</sup> (восходящая к контурности ларингальность, вызывающая при перемещении на фонемный уровень придыхательность согласных и долготу гласных, что является древнейшей просодической характеристикой «тяжелых баз»), а другой признак — через <sup>2</sup> (высота, обуславливающая возникновение «сильных» согласных при вхождении в состав фонемы или же порождающая по праву Дыбо [8] свободное словесное ударение при переходе на уровень слова). Выделим в слоге просодическую базу Σ и звонкий согласный, в первую очередь испытывавший воздействие признака силы/высоты, — D. Тогда соотношение согласных и признаков в их динамике может быть представлено следующим образом (см. схему на с. 69)<sup>2</sup>.

В приведенной схеме странным может показаться соответствие прагерм., арм. T<sup>o</sup> ~ др.-инд. DH, но оно закономерно объясняет оставшиеся до сих пор непонятными или толковавшиеся ad hoc случаи типа др.-инд. *aham*: гот. *ik* «я», др.-инд. *mahant-*: гот. *mikils* «большой», др.-инд. *hanu-*: гот. *kinnus* «подбородок», др.-греч. *στορδουξ*: ср.-в.-нем. *stert* «острие, хвост», др.-инд. *ambhas-*: арм. *amp* «облако», др.-инд. *bhédāmi* «раскалывать»: арм. *payt'em* «взрываться», др.-инд. *budhna-*: др.-англ. *botm* «дно», др.-инд. *vadhū-* «жена»: др.-англ. *weotuma* «выкуп за невесту», др.-греч. *κάρφη* «сухое дерево»: др.-исл. *skorpn* «высушивать», др.-греч. *λαφύζω*: др.-англ. *larian* «глотать, пить», др.-греч. *μαλθαρός* «мягкий»: др.-англ. *meltan* «растапливаться», др.-инд. *gr̥bhayati*: гот. *greipan* «хватать», др.-греч. *ἄλος* «боль»: др.-англ. *acan* «болеть» и др.

Реконструированный таким путем просодический строй индоевропейского праязыка базируется прежде всего на корреспонденциях между балто-славянским и германским материалом. Отражение восстановленных

<sup>1</sup> О слогоморфемном типе языков см. [4].

<sup>2</sup> Обозначения даются в соответствии с системой У. С. Аллена [9].

признаков в древнеиндийском, древнегреческом и хеттском может быть выявлено с довольно высокой степенью однозначности и непротиворечивости [10—13].

Особую проблему составляют поиски рефлексов праязыковых супrasegmentных признаков в тех языках, которые не знают смыслообразительного словесного ударения, — в латинском, в древнеиранском, в валлийском до их фиксации письменными памятниками, в индоарийских или в ряде славянских языков в сравнительно поздние этапы их развития. Традиции индоевропейстики требовали бы в данном случае обращения к фактам латинского языка, детально обсуждавшимся в течение многих десятилетий [14]. Отражения ларингального признака могут быть выведены из исследований, проводившихся сторонниками ларингальной гипотезы [15]. Вопрос о втором, регистровом признаке, как легко можно себе представить, равносильен вопросу о характере исчезновения разноместного ударения в латинском и вопросу о его следах. Наиболее важные результаты в этой области были получены Э. Уортоном [16—18], Г. Коллитцем [19], Х. Педерсеном [20], В. А. Дыбо [21], В. М. Илличем-Свитычем [22, 23].

Три упомянутых зарубежника выдвинули гипотезу о том, что индоевропейское предударное (т. е. имевшее низкий тон) \*e отражалось в латинском в открытом слоге как a<sup>3</sup>. Для латинского языка это правило доказывается такими примерами, как: *quattuor* «четыре» < \*k<sup>u</sup>etjōr, ср. др.-инд. *catvārah*; *lapis* «камень» < \*lepī-, ср. др.-греч. λίθῆος «скалистый»; *magnus* «большой» < \*meǵnōs, ср. др.-инд. *majmā* «величие»; *aper* «кабан» < \*epro-, ср. прагерм. \*eburo-, др.-англ. *eofor* и др.

| Фонетические уровни           | Праязыковые реконструированные условия                             |       | Отражение в некоторых группах языков |                 |       |       |
|-------------------------------|--|-------|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|
|                               |  |       | др.-инд.                             | герм.           | балт. |       |
| Переходы звонкого согласного  | в контакте с признаком ларингализации/толчка *D/Σ <sup>l</sup>     |       |                                      | *D              |       |       |
|                               |  |       | *DH                                  |                 |       | *D    |
|                               |  |       |                                      | *T <sup>a</sup> |       |       |
|                               | в контакте с признаками ларингализации и высоты *D/Σ <sup>f1</sup> |       |                                      |                 |       |       |
|                               | в контакте с признаком высоты *D/Σ <sup>f</sup>                    |       | *D                                   |                 |       |       |
| Межуровневые сдвиги признаков | просодический уровень  | +l +f | -l -f                                | -l -f           | +l -f | +l -f |
|                               | фонемный уровень   | -l -f | +l -f                                | +l +f           | -l -f | -l -f |
|                               | уровень слова  | -l -f | -l +f                                | -l -f           | -l +f | -l +f |

В. М. Иллич-Свитыч и В. А. Дыбо отметили, что праязыковые «долгие» сонанты отражаются в кельтских и итальянских языках как сочетание соответствующего сонанта с долгим гласным, если они находились под ударением; безударные же «долгие» сонанты содержат в своих рефлексах краткие гласные. Это правило иллюстрировалось словами такого рода:

а) лат. *brūtus* «тяжелый» < \*g<sup>u</sup>rūtōs, ср. лтш. *grūts*; лат. *lāna* «шерсть» < \*u<sup>l</sup>nā, ср. лтш. *vilna*; лат. *strātus* «расстеленный» < \*stītos, ср. лтш. *stīta* «скирда»; ирл. *cúl* «убежище» < \*kūlā, ср. др.-греч. οὐδῶλον «снятые с врага доспехи»; б) лат. *vir* «муж» < \*vīrōs, ср. др.-инд. *vīrah*; лат. *cūtis*

<sup>3</sup> О связи высокого тона с передним аллофоном гласной, а низкого тона с ее же задним аллофоном ср. [24]; связь тона с тембром (voyelle claire; voyelle sombre, т. е. /e/, /o/, /a/: /<sup>i</sup>e/, /<sup>u</sup>o/, /<sup>a</sup>a/) отмечена в работе [25].

«кожа» < \**kālīs*, ср. др.-англ. *hȳd*; лат. *armus* «рука» < \**řmōs*, ср. др.-инд. *īrmāh*; др.-ирл. *bhuith* «бытие» < \**bhūtis*, ср. др.-инд. *bhūtiḥ*, литов. *butis*).

То, что отражения праязыкового ударения в латинском обнаруживались в гласных, побуждает искать их дальнейшие рефлексy в противоположении гласных в корнях, подвергавшихся редукции и синкопе, и в корнях, «сопротивлявшихся» этим видам ослабления. Известно, что латинские гласные испытывали качественные изменения, вызывавшиеся предполагаемым архаическим начальным ударением [26, с. 81—86; 27, с. 80—91; 28, с. 81—92]. В этих условиях, например, исконное *a* переходит в *i*. в закрытом — в *e*; само *e* в закрытом слого сохраняется, в открытом тоже переходит в *i*, ср.: *faciō*, *factum* «делать»/*confectus* «изготовленный»/*conficiō* «изготавливать»; *canō*, *cantum* «петь»/*accentus* «звучание»/*accinō* «сопровождать пением»; *sedēō* «сидеть»/*obsidēō* «обитать»; *medius* «средний»/*dimidius* «половинный».

Эти альтернации примечательны в двух отношениях. Во-первых, они указывают на две ступени нейтрализации, открывая тем самым объективный путь для выделения дифференциальных элементов в гласных фонемах. Во-вторых, в них реализуется своеобразный новый аблаут *a : e : i* (а также *o : u*) — явление, отличающееся от праиндоевропейского аблаута и не связанное с ним. Но более важно то, что целый ряд корней не втянут в систему новых качественных вокалических чередований, корневые гласные не способны в них «редуцироваться». Естественно предположить, что корни, «сопротивляющиеся» альтернированию, продолжают «сильные» праязыковые слогоморфемы, характеризовавшиеся высоким тоном и порождавшие в языках некоторых групп ударение, в то время как корни с чередованиями — рефлексy праиндоевропейских «слабых» слогоморфем, имевших низкий тон и оставшихся первоначально безударными в тех языках, для которых засвидетельствовано свободное разноместное подвижное ударение. На пути выявления случаев без чередований стоит ряд препятствий: такие формы могут быть наследием древнейшего периода, еще не знавшего рассматриваемых альтернаций, что отражено в ряде эпиграфических текстов; эти формы могут также оказаться сравнительно старым случаем тех рекомпозиций, которые были характерны для эпохи утраты вокалических альтернаций, наступившей после III в. до н. э. [26, с. 81—82; 29, с. 156, примеч. 1; 30], когда (префиксальные) производные сохраняли тембр гласного производящей основы.

Тем не менее в архаической латыни известен ряд случаев без чередований, для которых родственные формы характеризуются такими рефлексами «сильной» слогоморфемы с высоким тоном, как ударение в древнегреческом и ведийском, сохранение в германском силы/глухости согласного по закону Вернера, I или II акцентные парадигмы в литовском и т. п. [10, с. 61, табл. 14].

В архаических надписях [31] формы с переменной тембра гласной и без этого перехода очень немногочисленны и не позволяют прийти к определенным выводам. В относящейся к началу VI в. до н. э. пренестинской фибуле *FHE : FNAKED* обнаруживается сохранение *a*, в надписи начала II в. на саркофаге Сципиона находим уже *a > i : SUBIGIT*. Для этой эпохи засвидетельствованы формы как с ослаблением, так и без него: *RECIPIT* (CIL I<sup>2</sup> 10), *POSIDIT* (CIL I<sup>2</sup> 11), *CONFICE* (CIL I<sup>2</sup> 560) и даже с синкопой — *MERTO* (= *mereto*, CIL I<sup>2</sup> 62, XIV 2892); *OPTENUI* (CIL I<sup>2</sup> 15), *DONOM DEDET MERETO* (CIL I<sup>2</sup> 31), *ADESENT* (CIL I<sup>2</sup> 581, X 104), также *SUBEGIT* (CIL I<sup>2</sup> 12) и еще несколько форм. Поэтому целесообразно, вслед за Баттре, обратиться к анализу тех форм, которые в различных словообразовательных моделях встречаются у Ливия Андроника, Эниция, Пакувия, Акция, Цецилия, Турпилия, Плавта, Теренция, а также у Катона в «De agri cultura»:

a) *con-capi* «собрал» (XII Таб.), *inter-capedo* «перерыв» (Турпилий), *pro-capis* «потомство, которое происходит из одного источника» (Фест-Павел) — от *capīō* «брать», и.е. \**kap-* «брать, хватать». О том, что этот же корень имел сильный акцент, говорит I акцентная парадигма литов. *kūpa* «группа», согласующаяся с баритонезой в др.-греч.  $\kappa\acute{\omicron}\pi\eta$  «весло, ручка»;

это же подтверждается соответствием лат. *caplus* «хватание» ~ гот. *hafta* «наделенный». Поскольку от этого корня образован ряд названий сосудов (лат. *carula* «вид чашки», оск. *καλιδιου* «ollarium»), то к нему могло бы быть отнесено и хет. *kappi* «вид сосуда». Удвоенное написание *-p-* по расширительно понимаемому правилу Эйхнера свидетельствует скорее о начальном ударении.

b) *in-fabrē* «неискусно» (Пакувий), *af-faber* «умелый» (Фест-Павел), к *faber* «мастер», и.-е. \**dhabh-* «соединять». Сильный акцент для данного корня находит подтверждение в литов. (дзук.) *dabù, dābos* «украшение, природа» (II акцентная парадигма) и в славянской акцентной парадигме «b»: *добр, добра, добро* [32], ср. также др.-прусс. *dabber* «еще» [33, с. 281—286].

c) *quatenoc* «насколько» (Фест-Павел), *pro-tenis* (Афраний), *pro-tenam* «дальше» (Плавт), ср. *tenus* «до», и.-е. \**ten-* «тянуть». Сильноакцентность этого корня явствует из акцентной парадигмы «a»: русск. *тонкий* [34, с. 33—34], II акцентной парадигмы: литов. *tiñklas* «сеть» и *tānas* «опухоль», I акцентной парадигмы: литов. *įmpra* «тетива», из прагерм. *ǰenzlō*, восстанавливаемого на основе др.-англ. *ǰixl*, др.-в.-нем. *dihšala* «дышло» и др.

d) *ab-emitō... demitō vel aufertō* «должен снять или унести» (Фест-Павел), *per-emere* (Фест, цитата Цинция), *inter-emere, -it* «отнимать» (Плавт). Без преверба *emō* означает «приобретать», и.-е. \**em-* «брать». О сильном акценте данного корня можно судить по акцентной парадигме «b» славянского *ѣмо, ѣмѣть* [35, с. 22], ср. также русск. *приемлю* и т. п., лит. (диал.) *jeĩti, jėĩti* «брать».

e) *progener* «муж внучки» (Фест), *progenitor* «родоначальник» (Акция), *prōgenies* «поколение» (Пакувий, Эний), *pro-genuit* «породил» (Акция), *in-genium* «природные свойства» (Плавт, Невий), *gignō* «рождать», ср. арх. лат. *genunt* (и.-е. \**genā-*). Свидетельства сильноакцентности — как в долготе отражения слогового сонанта в лат. *nāscor* «рождаться», *nātus* «рожденный» (по упоминавшемуся правилу Дыбо — Иллича-Свитыча), так и в I акцентной парадигме: литов. *žentas* «зять», ср. др.-в.-нем. *kind* «ребенок» < прагерм. \**kinja*.

f) *at-teram* «стирать» (Плавт), *con-terere* «растереть» (Плавт), *de-terere* «натирать» (Фест-Павел, Плавт), *in-terito* «да натрет» (Катон) от *terō* «тереть», и.-е. \**ter-* с различными детерминантами.

В подтверждение сильного акцента можно привести акцентную парадигму «b» славянского *tr(j)ō* [35, с. 24], I акцентную парадигму литов. *tār-pas* «промежуток»<sup>4</sup>, а также баритонезу в др.-греч. *τέργυ* «мягкий», *τέρυ-ἀσθενές*, *λεπτόν* «слабый», *τέρυας* ἱπποσποδῶ λέγονται ὅσοι, ἀδδῆραγοί («изможденные») *εἰσὶ, ἐμαὶ τοὺς ἀσθενεῖς* (Гезихий), др.-инд. *tārunah* «нежный».

g) *re-mediū* «средство» (Катон, Цецилий) к *medeor* «исцелять», и.-е. \**med-* «отмерять», «размышлять», «исцелять». О сильном акценте говорят литов. *māstas* «размер» (II акцентная парадигма), равно как баритонеза в др.-греч. *μέδιμνο*: «медимн, мера сыпучих тел». Соответствующая акростатическая парадигма<sup>5</sup> может быть реконструирована, если объединить с точки зрения архаического ритуала корневые имена \**mēd* «исцеляющий» (ср. авест. *vīmād* «исцеляющий», др.-греч. *μήδομαι* «размышлять», др.-ирл. *midiur* «судить, думать») и *med-* «опьяняющий», ср. авест. *mad* «опьяняющий» (о хаоме), др.-инд. вед. *somatād* «опьяняющий сомой» [37, с. 182—186, 286—288; 38, с. 123—130].

h) *per-edia* «место, где много едят; пристрастие к еде» [39, с. 343] (Плавт, Фест), *in-edia* «воздержание от пищи» (Плавт), *ex-edere* (Плавт), *com-edere* «съедать» (Плавт), *ambedere* «объедать» (Плавт), ср. *edō* «есть», и.-е. \**ed-* (точная просодическая реконструкция этого корня сопряжена с рядом трудностей). Долготы в балто-славянском и в ряде других языков могут

<sup>4</sup> Литов. *tañnas* «слуга», относящееся ныне к IV акцентной парадигме, сохраняет у Даукши следы II акцентной парадигмы [36, с. 41].

<sup>5</sup> Поясним употребительные в практике современной акцентно-аблаутной реконструкции термины: акростатис или ризостатис — неподвижное ударение на корне; амфикипесис — движение ударения между корнем и окончанием; протерокипесис — движение ударения между корнем и суффиксом; гистерокипесис — движение ударения между суффиксом и окончанием.

быть истолкованы в связи с характеризующим этот глагол в анатолийском аблаутом *e-/a-* как реликт праязыкового \**e-/a-*. С другой стороны, отсутствие *h-* и написание *plene* в хеттском являются возможным реликтом корневого колумнального ударения, вызванного сильноакцентностью корня [40, с. 89—91]. Об этом же говорят литов. *ėda* «еда» (I акцентная парадигма) и *ėdis* «корм» (II акцентная парадигма).

i) *po-sedet* «обладает» — *Sententia Minusciorum*, 117 г. до н. э. [31, с. 91], ср. *sedeo* «сидеть», и.-е. \**sed-*. Сильный акцент в этом корне можно объяснить из акцентной парадигмы «а» слав. *sěděly* и из I акцентной парадигмы литов. *súodžiai* «сажа» (*pluralia tantum*). Если не рассматривать балтославянскую долготу (ср. литов. *sėdmi*) как явление специфическое (а этому препятствует ряд примеров<sup>6</sup>), то и здесь можно было бы постулировать реликт праязыковой акростатической парадигмы, сложившейся при сильноакцентности корня.

j) *addecet* «приличествует» (Энний, Плавт), *condecet* «подобаает» (Турпилий, Плавт); ср. *decet*, др.-инд. *dákṣina-* «правый» (Ригведа; там же один раз *dakṣinā-*, ср. литов. *dešinė* «правая рука»), гот. *taihswa* «справа», *taihswō* «правая рука», др.-англ. *teoh* «группа» (< \**tehōn*), равно как и др.-инд. презенс акростатического типа *dāṣṣi* «совершать жертвоприношения» (и.-е. \**deh-* «брать, приветствовать»). Совокупность форм позволяет видеть в этом корне «доминирующую» морфему. Дополнительный довод в пользу этого — чередование долгого и простого гласного в авест. *dāsmainiš* «предподносящий», *das(ə)ma-* «жертвоприношение» и *dasuuar* «здоровье» [37, с. 323; 42].

k) *expetō* «добиваться» (Энний, Плавт, Теренций), *oppetō* «идти навстречу» (Энний, Плавт), *suppetō* «быть в наличии» (Энний; Плавт) от *peto* «стремиться». Хотя раньше и реконструировалось гетероклитическое \**pēt-r-(g)*: \**pet-n-és* [43], новейшие исследования гетероклизы [44] требовали бы более точной реконструкции акростатического \**pēt-r*: \**pet-ŋ-s* (местн. пад. \**pēt-en*) [45]<sup>7</sup>: на долгую ступень указывают др.-ирл. *áith* «крыло» < \**pōti* (другой гетероклитический номинатив-аккузатив?), др.-инд. *pātaḥ* «шолет», отыменный (из-за наращенного *k*) глагол тох. В *patk-* «оставлять» [41, с. 354]. На корневое ударение, кроме того, указывают др.-в.-нем. *fēdara*, др.-англ. *feðer* «перо» < \**pētrā*. Серьезные затруднения для определения исходных просодических характеристик корня \**pet-* представляют многочисленные формы с нулевой ступенью \**pt-*. Возможно, что исходная «слогоморфема» не имела в праязыке сильного (высокого) тона, но ее ларингальность (резкий тон, ср. традиционное обозначение корня \**petə-*) способствовала перетягиванию или сохранению словесного ударения в ряде сочетаний [47, с. 78—81]. Во всяком случае, сильная позиция для этого корня возникла еще в праязыке и несомненно предшествовала процессам, протекавшим в предыстории латинского языка.

l) *adhaereō* «быть прикрепленным» (Плавт), *adhaerescat* «прикрепляться» (Катон), *cohaereō* «соприкасаться» (Теренций) от *haereō* «висеть». О «сильном» просодическом качестве (высоком тоне) праязыкового корня говорят и литов. *nugaišta*, *nugaišo* «испустить дух», и гот. *usgaisjan* «взмучиваться» (ср. др.-в.-нем. *gīsal* «заложник»).

m) *abarcel' prohibet* «удерживает» (Фест-Павел), простой глагол *arceō* «запирать»; соответствующая характеристика корня \**arek-* явствует из второй акцентной парадигмы литов. *rāktas* «ключ» и, возможно, также хет. *ḥarmi* (1-е л. ед. ч. наст. вр.) < \**ḥarkmi* ср. *ḥarkanzi* (3-е л. ед. ч. наст. вр.) «держат, имеют» [40, с. 11, 190].

n) *obscaevō* «быть дурным предзнаменованием» (Плавт), ср. *scaevus* «левый». О «силе» корневой морфемы свидетельствуют ср.-в.-н. (нем.) *schief* «косо» < \**skēifa* равно как геминаты [48, с. 298—300] в ср.-в.-н. *schipfes*

<sup>6</sup> Ср. авест. имя собственное *Fraṇ-hād-* «сидящая впереди» [37, с. 196], тох. А *še-*, В *šai-*, *šey-* «быть» [41, с. 453].

<sup>7</sup> Реконструкция акростатиса \**pēt(H)-r*: \**pet(H)-ŋ-s* получила подтверждение в результате графического анализа хеттского знака *pīt* в ряде слов, в том числе в *pittar*: *pittanaš* «крыло» [46].

«косо» < \*skippa и ср.-ирл. *ciatán, ciotóg* «левая рука», валлийск. *chwith* «левый, неверный» < \*kittu-.

o) *refallit* «ошвергать» (Notae Tironis. Классич. лат. — *refelliō*) от *fallō* «обманывать» < \*ghulnō, ср. литов. *atžūla* «неприветливый человек» и *atžūlas* «суровый» (оба слова первой акцентной парадигмы), которые отражают одновременно праязыковые сильный и ларингальный тоны.

p) *aggerō* «складывать» (Плавт), *congerō* «сооружать» (Плавт), *degerō* «уносить» (Плавт, Катон), *egerō* «выносить» (Катон), *ingerō* «вносить» (Плавт, Катон), *oggerō* «подносить» (Плавт), *morigerus* «попкорный» (Невий, Плавт) к *gerō* «нести». Предложенная Э. Л. Лярошем [49] и принятая Н. Эттингером (акростатическое \**gēs-o-rei*) [50, с. 128] этимология связывает латинское слово с хет. *kiš-* «становиться», для которого написания plene (ст.-хет. 3-е л. ед. ч. наст. вр. *ki-i-ša*, 3-е л. мн. ч. прош. вр. *ki-i-ša-an-ta-ti* [51, вып. 3, с. 585—586; 12, с. 7—8; 52, с. 91—93] и т. п.) говорят о древнем акростатическом форм от и.-е. \**ges-*.

О значимости корней, не испытывавших редукций, говорит и то, что у авторов архаического периода истории латинского языка другие слова с другими корнями регулярно подвергались ослаблению. Таковы *incidō* «падать» (Плавт, Теренций) или *succidō* «подпадать» (Плавт) от *cadō* «падать», *atingō* (Акций, Пакувий, Фест-Павел, Плавт), *ATIGAS* «прикасаться» [31, с. 54—55] или *obtingō* «дотрагиваться» (Плавт, Теренций) от *tangō* «трогать», *desiliō* «спрыгнуть» (Плавт) или *esiliō* «выпрыгивать» (Плавт) от *salio* «прыгать», *afficiō* «причинять» (Плавт) или *conficiō* (Ливий, Андроник, Катон, Плавт, Теренций), *CONFICE* «изготавливать» [31, с. 33] от *faciō* «делать»<sup>8</sup> и др.

Интересны глаголы, образующие в архаической латыни пары с редукцией и без нее, например, *praecanō* «предупредить чары» и *praecinō* «петь перед чем-либо», *prosideō/praesideō* «восседать впереди, возглавлять» (ср. *prosideus* «проэдр» и *prosedēō* («dictum est de neretricibus, quae ante stabula sedeant»)<sup>9</sup>. Возможно, что это — слова, сложившиеся в различных социальных диалектах [53, с. 92—135]; не исключено, однако, что данная оппозиция сложилась в условиях неодинакового актантного окружения, вызывавшего различное фазовое «логическое» ударение, разное актуальное членение предложения. Именно одновременное существование в определенном периоде истории латинского языка слов с акцентогенной редукцией (т. е. со своего рода новым аблаутом) и без нее могло послужить причиной возникновения рекомпозиции: язык выбрал более простое соотношение. Однако известно, что словообразование с вокалическими альтернативами присуще многим языкам и отнюдь не требует обязательного устранения, — такое словообразование само по себе нельзя рассматривать как достаточное основание для возникновения рекомпозиции.

Явление, противоположное сохранению редуцируемого гласного, — синкопа [27, с. 95—99; 28, с. 108—111; 54—57]<sup>10</sup>. О связи синкопы с отсутствием признака силы в праязыковой слогоморфеме (т. е. с наличием признака слабости, низким тоном) свидетельствуют следующие примеры:

a) *cūria* «курия» < \**co-viria*, др.-инд. *vīrān* «мужчина, муж», подвижная (III) акцентная парадигма литов. *vyras* «мужчина, муж» (ср. лтш. *vīrs*) и краткость *i* в лат. *vir*, умбр. *uīro*, др.-ирл. *fer* свидетельствуют об отсутствии признака силы у праязыковой «слогоморфемы» \**uir* [21, с. 10].

b) *pergo* «продвигаться» < \**per-regō*, *surgō* «поднимать» < \**subs-regō*, *ergō* «следовательно» < \**ē-regōd* от корня \**reǵ-*, «слабость» которого яв-

<sup>8</sup> О «слабом» просодическом признаке данного корня говорит как префиксальное ударение в литов. *išdėda* (3-е л. наст. вр. от *išdėti*) «выложить», так и подвижная акцентуация причастия *dėtas* (род. п. мн. ч. *sudėtŲ*, [37, с. 222]), ср. др.-инд. *ādhitāḥ*, *hitāḥ*, др.-греч. *θετός*.

<sup>9</sup> Ср.: «...protenus... distinguitur a protinus, ut per e referatur ad locum, per i ad tempus» [39, с. 534].

<sup>10</sup> На значение синкопы для рассматриваемой проблематики мне было любезно указано А. И. Зайцевым. И. М. Троицкий отмечает, что «...синкопа не представляет собой регулярного явления, закономерно происходящего в определенных фонетических условиях» [26, с. 89].

ствует из IV акцентной парадигмы литов. *rėzas* «линия» [38, с. 9—15], *rėžū* «порка», *rėžė* «полоса земли», равно как и из смещения ударения на префикс в литов. *įrėžė* — 3-е л. прош. вр. от глагола *įrėžti* «напрягать».

с) *praecō* «глашатай» < \**prai-dicō*; «слабость» корневой морфемы \**deik-* явствует из др.-инд. *deśāu* «сторона» и др.-исл. *leigr* «участок земли», продолжающих и. -е. *deikōs*. Древняя амфикинетическая парадигма находит отражение и в чередовании \**dōik-ūā* (др.-англ. *tāhe* «палец на ноге»)/ \**doiik-ūā* (ср.-инд. *tēwe* «палец на ноге»), и в распространенности форм со слабой ступенью аблаута, например, \**dikā* (др.-инд. *diśā* «направление» = др.-греч. *δίς* «правда, справедливость») [58].

d) *pōnō* «класть» < \**po-sinō*, к глаголу *sinō* «ставить», этимология которого до последнего времени была неясна. Постулируемое А. Ван Викденсом сопоставление этого глагола с тох. А *si-*, *si-n*, В *si-n* «обременять» (наст. вр. медия А *sināstrā*, В *sinastar*, отглагольное имя В *silīne*) [41, с. 426—427] убедительно показывает, что этот глагол содержит назальный суффикс и тем самым подкрепляет выдвигавшееся ранее сравнение с литов. *sietuvū* «глубина, омут». III акцентная парадигма литовского слова говорит о слабости праязыкового корня \**sēi-*. Ср. хет. *zinne-* «завершать»: *ze-* «становиться готовым (о пище)», отражающие древний амфикинетический [40, с. 151—152].

e) *rūrsus* «назад» < \**re-urōstos*, *sursum* «наверх» < \**se-urōstom* или \**subs-urōstom*; литов. *nūvertė* — 3-е л. прош. вр. от *nūvēisti* «опрокинуть» может рассматриваться как свидетельство слабости корня \**urō-*; это же следует из альтернатив в спряжении др.-англ. *weorðan*, *weorð* : *wurdon*, *worden*.

Конечно, существуют противоречивые примеры. Так, лат. *sūmō* «брать» < \**subs-emo* не согласуется с архаич. лат. *surrēmīt* «взял» = *sump-sit* (ср. выше акцентный сдвиг в литов. *pàima*, *paimė* от *paĩiti* «взять», который противоречит акцентной парадигме «b» приведенного выше слав. \**jьmō*). Такие явления могут найти объяснение не только в известной неустойчивости и подвижности акцентуации, но и в том, что в процессе словообразования в основе производных оказываются разноударные формы из парадигмы производящего слова [8]. При этом процедура реконструкции праязыковых просодем такова, что число восстанавливаемых единиц с «сильным» (высоким) тоном должно превышать то их количество, которое существовало в действительности. Причина этого в том, что в ряде случаев иллюзию рефлекса сильного тона создает сильная позиция, позиция «ударности» в одном из членов парадигмы, вызываемая «слабым» качеством других морфологических компонентов (гезр. слогоморфем) данной словоформы. Ясно, что в такой ситуации способом уточнения реконструкции является восстановление словоизменительной парадигмы.

Унаследованные просодические свойства архаических латинских слов находят отражение и в их ориентации относительно иктуса в метрических текстах. Предварительные данные, которые могут быть извлечены из предпринятого с другой целью исследования Г. Дреклера о метрике Плавта [61], показывают, что для некоторых слов более характерно тяготение к совмещению корневого гласного с выделяемой позицией в стопе, в то время как другим словам свойственна метрическая свобода. Для слов первого разряда обнаруживаются индоевропейские соответствия, отражающие праязыковой «сильный» (высокий) тон: *vita* «жизнь» (ср. литов. *pa-gūja*, *paģijo* от *paģyti* «выздороветь», род. п. *gyvātos* от *gysatā* «жизнь», но ср. *malatōs* от *malatū* «вид дятла» или *adatōs* от *adatū* «пгла»), *gūvis* «живое существо» — I акцентная парадигма, *opus* «работа» (= др.-инд. *āra* «дело», противопоставленное *arā* «усердный»), *oculus* «глаз» (*arāika*, *arāko* от *arākti* «ослепнуть» [62]), *jilius* «сын» (ср. ст.-слав. *дѣва*, акцентная парадигма «а»), *uxor* «жена» (< \**oukes-esor* [63], и. -е. корень \**euk-* «привыкать», ср. литов. *ūkis* «хозяйство» — I акцентная парадигма) и др. Напротив, для индоевропейских корреспонденций слов второго разряда, в которых метрический иктус может совпадать и с флексией (эти слова могут и полностью занимать слабую часть стопы), необходима реконструкция

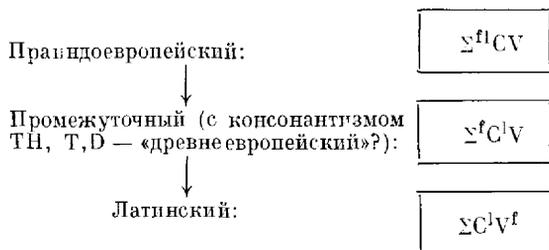
отсутствия признака силы: *vir* «муж, мужчина», *pater* «отец» (ср. подвижную парадигму в др.-греч.  $\pi\alpha\tau\epsilon\rho$ ,  $\nu\alpha\rho\acute{\alpha}$  или авест. *pita*, *fədrōi*), *erūs* «господиш» (<\**eso-*, ср. написание *pišne* не в корне, а в окончаниях в хеттском род. п. ед. ч. *iš-ḫa-a-aš*, вин. п. *iš-ḫa-a-an*, дат.-местн. п. ед. ч. *iš-ḫi-i* от *išḫa-*, лув. *dašḫa-* «господин» [51, вып. 2, с. 372—373]), *fides* «вера, доверие» (и.е.корень \**bheidh-*, ср. ст.-слав. *бѣда*, — акцентная парадигма «с», ср. обилие форм со слабой ступенью корня типа др.-греч.  $\pi\iota\sigma\tau\iota\varsigma$  «вера»,  $\pi\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$  «верный» и т. п.).

Рассмотренный латинский материал призван показать, что та роль, которую ранее играло ударение, перешла к гласным, вступившим в новые афофонические отношения, например, /e/ : /i/. Самым существенным, однако, является то, что этот переход, эта мутация признака, ставшего из просодического фонематическим, характеризовали такие позиции, в которых должно было отражаться индоевропейское праязыковое ударение или, по более современным представлениям, — высокой тон. Иначе говоря, приведенные данные подтверждают мнение исследователей, не признававших латинского доисторического инициального ударения или универсальной начальной интенсивности [64; 65; 53, с. 92—112].

В определенный период развития архаической латыни редукции и выпадению гласных препятствовали реликты праязыкового высокого тона, отражавшегося в других языках как словесное ударение. В один из этапов предыстории латинского языка, совпадавший с позднелиндо-европейской эпохой [66], чередованию гласных предшествовало чередование тонов, апотония, сопровождавшаяся нефонологическими вариациями качества гласных. Это состояние, в свою очередь, должно было наступить в результате формирования тонового саундхи, являвшегося одним из средств консолидации слова, сменившего слогоморфему раннелиндо-европейской эпохи в качестве важнейшей структурной единицы языка. В меризматическом плане это значило бы, что просодический признак регистра, формировавший, как можно предполагать, оппозицию высокого и низкого тонов, преобразовался в фонематический признак напряженности, обусловивший корреляцию, перешедшую затем во многие романские языки (соотношение открытого /e/ и закрытого /e/ [29, с. 264; 67; 68]. Представляется также, что некоторая функциональная единица — признак напряженности («tenseness») реализуется в супрасегментной сфере как регистровость, а в составе фонемы — как напряженность гласного или согласного. Возможно, что этот признак сам по себе был структурно сложен [69]: один из его компонентов, отличный от характерной для германских языков напряженности, как показал О. Семереньи, входил в состав латинских согласных [70].

Что касается исследования дальнейшей судьбы латинского ударения, — установления нефонологической «акцентной волны», определенной относительно конца слова, то здесь основная заслуга принадлежит Е. Куриловичу, который показал моделирующую роль удлинившихся односложных слов [71] и У. С. Аллену, открывшему гетеросиллабический характер акцентной мелодии в латинском [72; 9, с. 170—179].

Схематический переход от индоевропейской акцентуации к латинской может быть обобщенно представлен следующим образом:



Из данной схемы следовало бы, что между слогоморфемным праиндоевропейским с характерными для него тонами и латинским с присущим ему сложным рисунком вокалических альтернатив следует помещать по

крайней мере еще один переходный этап («древнеевропейский?»), обладающий тонами и разноместным словесным ударением.

Установление того, что праязыковой просодический признак переместился в латинском языке на фонематический уровень, войдя в состав гласных и вызвав к жизни новые чередования гласных, открывает путь для поисков аналогичной меризматической мутации в других языках с новой апофонией. Эта же диахроническая модель перестройки оппозиции вследствие появления нового признака, «переместившегося» с другого уровня звукового строя языка, может послужить поводом для размышления о происхождении индоевропейских качественных чередований гласных.

Повторим в заключение основной тезис данной статьи: наблюдаемое в архаической латыни различие между корнями, гласные в которых сужаются и «редуцируются», и не знающими этих явлений корнями может объясняться на основе индоевропейской праязыковой просодики — как отражение праязыковых высокого и низкого тонов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Brugmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 1: Einleitung und Lautlehre. Strassburg, 1897, S. 32—33.
2. *Schmalstieg W. R.* Indo-European linguistics. A new synthesis. Pennsylvania University Press, 1980, p. 46—47.
3. *Hagège C., Haudricort A.* La phonologie panchronique. Paris, 1978, p. 90—111.
4. *Касевич В. Б.* Аспекты моносиллабизма. — В кн.: XIV Тихоокеанский научный конгресс: Тезисы докладов. Т. II. М., 1979, с. 258—260.
5. *Maddieson I.* Dimensions of tone systems. — In: Proceedings of the IX International Congress of phonetic sciences. V. I. Copenhagen, 1979, p. 389.
6. *Иванов Вяч. В.* О функциях гортанной смычки. — В кн.: Звуковой строй языка М., 1979, с. 116, примеч. 5.
7. *Eklblom R.* Zur Entstehung und Entwicklung der slavo-baltischen und der nordischen Akzentarten. Uppsala — Leipzig, 1930.
8. *Дыбо В. А.* Балтославянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. — В кн.: Кузнецовские чтения 1973 г. История славянских языков и письменности. М., 1973, с. 8—10.
9. *Allen W. S.* Accent and rhythm. Prosodic features of Latin and Greek: a study in theory and reconstruction. Cambridge, 1973.
10. *Герценберг Л. Г.* Реконструкция индоевропейских слоговых акцентов. — В кн.: Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков: Л., 1979.
11. *Гамкрелидзе Т. В.* Передвижение согласных в хеттском (неситском) языке. — Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии. М., 1961.
12. *Hart G. R.* Some observations on plene-writing in Hittite. — In: Bulletin of the School of Oriental and African studies, 1980, v. 43.
13. *Eichner H.* Phonetik und Lautgeschichte des Hethitischen — ein Weg zu ihrer Entschlüsselung. — In: Lautgeschichte und Etymologie. Wiesbaden, 1980.
14. *Lepschy G. G.* Il problema dell'accento latino. — Annali della scuola normale superiore di Pisa. Lettere, storia e filosofia, 1962, serie II, v. 31.
15. *Watkins C.* Evidence in Italic. — In: Evidence for laryngeals. Ed. by Winter W. The Hague — Paris, 1965, p. 181—189.
16. *Wharton E. R.* Latin Vocalism. London, 1888.
17. *Wharton E. R.* Etyma Latina. London, 1890, p. 119—120.
18. *Wharton E. R.* Quelques a latins. — MSLP, 1892, t. 7, p. 456—460.
19. *Collitz H.* Traces of Indo-European accentuation in Latin. — Transactions of the American Philological Association. Boston, 1897, v. 28.
20. *Pedersen H.* Die Nasalpräsentia und der slavische Akzent. — KZ. 1905, Bd. 38, S. 416—418.
21. *Дыбо В. А.* Сокращение долгот в кельтоиталийских языках и его значение для балто-славянской и индо-европейской акцентологии. — В кн.: Вопросы славянского языкознания, 1961, вып. 5.
22. *Иллич-Свитыч В. М.* К истолкованию акцентуационных соответствий в кельтоиталийском и балто-славянском. — КСИС, 1962, вып. 35.
23. *Kortlandt F. H. H.* Slavic accentuation. Lisse, 1975, p. 76—82.
24. *Thompson L. C.* A Vietnamese grammar. Seattle, 1965, p. 90.
25. *Ferlus M.* La langue souei: mutations consonantiques et bipartition du système vocalique. — BSLP, 1974, t. 66, fasc. 1.
26. *Троицкий И. М.* Историческая грамматика латинского языка. М., 1960.
27. *Leumann M.* Lateinische Laut- und Formenlehre. — In: Handbuch der Altertumswissenschaft. München, 1977, Bd. 1, Tl. 2, Abt. 2.
28. *Sommer F., Pfister R.* Handbuch der lateinischen Laut- und formenlehre. Heidelberg, 1977.

29. Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка. М.—Л., 1953.
30. *Batré C.* De recompositionis in verbis latinis adhibitae usu et notione. Ienae, 1909.
31. *Ernout A.* Recueil de textes latins archaïques. Paris, 1947.
32. *Stang Chr. S.* Slavonic accentuation. Oslo, 1957.
33. *Тоноров В. Н.* Прусский язык. Словарь. А.—Д. М., 1975.
34. *Garde P.* Histoire de l'accentuation slave. Paris, 1976.
35. *Дыбо В. А.* Опыт реконструкции системы праславянских акцентных парадигм: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1978.
36. *Skardžius P.* Daukšos akcentologija. Kaunas, 1935.
37. *Kellens J.* Les noms-racines de l'Avesta. Wiesbaden, 1974.
38. *Benveniste E.* La vocabulaire des institutions indo-européennes. T. 2. Paris, 1969.
39. *Forcellini A.* Lexicon totius Latinitatis. T. III. Schneeberge, 1833.
40. *Oettinger N.* Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg, 1979.
41. *Van Windekens A.* Le tokharien confronté avec les autres langues indoeuropéennes. V. I. Louvain, 1976.
42. *Tichy E.* Gr. βασιδέχρατο and idg. \**dēk̑ti*, \**dēk̑toi*.— Glotta, 1976, Bd. 54.
43. *Schmidt J.* Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1895, S. 174—176.
44. *Schindler J.* The inflexional ablaut of the Indo-European r-n-stems.— In: Indo-European Studies. II. Cambridge (Mass.), 1975.
45. *Bartholomae Chr.* Arisches.— In: Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, 1889, Bd. 15, S. 34.
46. *Puhvel G.* Hittite words with initial *p̑i/p̑at* sign.— In: Hethitisch und Indogermanisch. Innsbruck, 1979.
47. *Иллич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. М., 1963.
48. *Кацнельсон С. Д.* Сравнительная акцентология германских языков. М.—Л., 1966.
49. *Laroche E. L.* Recueil d'onomastique hittite. Paris, 1952, p. 102.
50. *Oettinger N.* Der indogermanische Stativ.— In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1966, Hf. 34.
51. *Tischler J.* Hethitisches etymologisches Glossar. Lf. 1—3. Innsbruck, 1977—1980.
52. *Neu E.* Interpretation der hethitischen mediopassiven Verbalformen. Wiesbaden, 1968.
53. *Pulgram E.* Latin—Romance phonology: prosodics and metrics. München, 1975.
54. *Goetze A.* Relative Chronologie der Lauterscheinungen im Italischen.— IF, 1923, Bd. 41.
55. *Pisani V.* Zum schwachtonigen Vokalismus im Latein.— KZ, 1940, Bd. 67, S. 27—29.
56. *Rix H.* Die lateinische Synkope als historisches und phonologisches Problem.— Kratylos, 1966, Bd. II.
57. *Hoernigswald H. H.* On the impact of vowel syncope in Latin.— In: Italic and Romance. Linguistic studies in honor of Ernst Pulgram. Amsterdam, 1980, p. 53—57.
58. *Tichy E.* Semantische Studien zu idg. 1. \**dēik̑* «zeigen» und 2. \**dēik̑* «werfen».— In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, 1979, Hf. 38, S. 225. Anm. 44.
59. *Adams D. G.* Tocharian AB *si-n-* «be oppressed, afflicted» and A *si-n-n* [B *say-*] «be satisfied».— Journ. of Indo-European studies, 1979, v. 7, p. 297—302.
60. *Hollifield. P.* Indo-European etymologies.— Journ. of Indo-European studies, 1978, v. 6, p. 173—174.
61. *Drezler H.* Plautinische Akzentstudien I.— In: Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Geisteswissenschaftliche Reihe. Hf. 6. Breslau, 1932.
62. *Skardžius P.* Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943, p. 17.
63. *Szemerényi O.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages.— Acta Iranica, 1977, 16, p. 42.
64. *Pedersen H.* Excursus über den griechischen und lateinischen Akzent.— KZ, 1905, Bd. 38.
65. *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. Tl. V: Der Akzent. Heidelberg, 1929, S. 79.
66. *Meid W.* Einige allgemeine Gedanken zum Problem der indogermanischen Dichtersprache und der sprachlichen Tradition überhaupt.— In: Paleontologia linguistica. Brescia, 1977, p. 68.
67. *Якобсон Р. О., Халле М.* Различительные признаки и их корреляты.— Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962, с. 204—208.
68. *Jakobson R., Waugh L. R.* The sound shape of language. Bloomington—London, 1979, p. 142—146.
69. *Джанаридзе Э. Н.* О меризматическом уровне языка.— В кн.: Звуковой строй языка. М., 1979, с. 98—103.
70. *Szemerényi O.* Marked—unmarked and a problem of Latin diachrony.— TPhS, 1973.
71. *Kuryłowicz J.* Contribution à la théorie de la syllabe.— BPTJ, 1948, z. VIII.
72. *Allen W. S.* The Latin accent: a restatement.— Journ. of linguistics, 1969, v. 5.

ДЕГТЯРЕВ В. И.

ОФОРМЛЕНИЕ СВЯЗИ СКАЗУЕМОГО  
С ПОДЛЕЖАЩИМ — ИМЕНЕМ СОБИРАТЕЛЬНЫМ В ДРЕВНИХ  
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В простом двусоставном предложении славянских языков связь сказуемого с подлежащим грамматически выражается согласованием лично-временной формы глагола или глагольной связки в лице и числе, а предикатива-прилагательного в числе и роде — с формой существительного. Согласование наряду с управлением и примыканием является способом оформления или морфологического выражения синтаксической связи между словоформами в словосочетании. Согласование — это явление морфологической синтагматики, и на синтаксическом уровне оно не может считаться фактором, определяющим содержание синтаксического отношения. При переходе от структуры словосочетания к структуре предложения между способом грамматической (морфологически оформленной) связи и содержанием синтаксического отношения нет прямого и однозначного соответствия: оно разрушается под натиском многообразных действительных содержаний, которые воплощаются в унифицированные, стандартные схемы структур предложения. Так, в примерах *тихая ночь* и *ночь тихая* разные по характеру отношения (в первом — атрибутивное, а во втором — предикативное) оформлены единым способом связи — согласованием формы прилагательного *тихая* с формой им. п. существительного *ночь*. Вместе с тем выбор согласования как способа выражения предикативного отношения не является случайным. Природу главных членов предложения подлежащего и сказуемого определяет то, что в них выражается логическая форма (субъектно-предикатная структура) предикативного акта мысли. Подлежащее генетически соответствует понятию предмета мысли, логическому субъекту, а сказуемое — логическому предикату. На формирование подлежащего как члена предложения оказывает влияние также и то, что оно чаще всего выражает субъект действия. В свою очередь сказуемое выражает действие. В нем может быть заключено понятие признака, отнесенного в модально-предикативном плане к подлежащему. Психологически акт предикативирования совершается так, что вначале в сознании появляется понятие о предмете мысли и лишь затем — понятие о признаке этого предмета. Поэтому в предложении сказуемое согласует свою форму с подлежащим, тогда как позиция подлежащего самостоятельна и грамматически независима. Вместе с тем типы подлежащего и сказуемого, характер их связи определяются общей структурой предложения. Они находятся в отношении взаимного соответствия: тип подлежащего обуславливает характер сказуемого, а по форме сказуемого можно определить подлежащее.

Проблема, указанная темой настоящей статьи, актуальна для сравнительно-исторического синтаксиса славянских и вообще индоевропейских языков, так как в формах согласования сказуемого с подлежащим, выраженным именем собирательным, проявляется специфический характер древнейшей структуры простого предложения, отличный от его современного состояния. В результате сравнительно-исторического изучения языковых данных удастся проследить некоторые исторические тенденции развития структуры простого предложения в славянских языках.

В историческом синтаксисе славянских языков относящийся к этой теме фактический материал собран лишь частично и не обобщен, а выяв-

ленные закономерности не получили своего объяснения. В прошлом исследователи не придавали должного значения различиям в типах предметно-логического содержания имен собирательных и в типах сказуемых. Так, И. Добровский отмечал в церковнославянской письменности согласование сказуемого с именем собирательным как во множественном, так и в единственном числе. Но среди примеров Добровского наряду с исконными именами собирательными типа *братия*, *каменье* оказались существительные *сонм* и *множество*, которые не имеют грамматических признаков собирательности [1]. Ф. Миклошич отметил согласование сказуемого во мн. ч. [2, с. 48—51] и подчеркнул, что согласованием по смыслу наиболее последовательно характеризуются имена собирательные, обозначающие совокупности лиц [2, с. 766]. Но наряду с древнейшими фактами он приводит примеры из поздних источников по славянским языкам, не разграничивая их хронологически. Между тем одни из них характеризуют нормы старшего письменного периода, а другие могут иллюстрировать лишь отраженную в письменности домку этих устаревших норм в эпоху формирования национальных славянских языков. Сюда относится, например, согласование глагола во мн. ч. с именем собирательным ср. р. *каменье*. Исконной нормой для имен этого типа было согласование глагола-сказуемого в ед. ч. А. Лескин тоже утверждал, что собирательное *каменье* в старославянском языке подобно собирательному *братия* присоединяло сказуемое во мн. ч. [3], однако он не смог подтвердить это языковым материалом. И. Ф. Ломан провел более тщательное сопоставление данных словенского и сербохорватского языков с фактами старославянской письменности и установил, что глагол согласовался с именами собирательными ср. р. на *-ие* в ед. ч. [4]. Однако наблюдаемые факты в исследовании Ломана не получили объяснения.

В истории русского языкознания одни исследователи (А. Х. Востоков, П. Лавровский, Ф. И. Буслаев, А. А. Никольский, А. А. Шахматов, С. П. Обнорский) утверждали, что согласование сказуемого, а в отдельных случаях и определения с именем собирательным ед. ч. в старший письменный период истории русского языка шло во мн. ч., другие (А. И. Соболевский, А. М. Лукьяненко, Е. Ф. Карский) отмечали неустойчивый характер согласования — колебание между формами ед. и мн. ч. Но для тех и других также характерен недифференцированный подход к фактам, не учитывающий различия в типах сказуемого и в значениях имен собирательных. Е. С. Истрина, проанализировав Новгородскую первую летопись по Синодальному списку, на ограниченном фактическом материале сделала по существу правильный вывод, что последовательным согласованием сказуемого во мн. ч. в древнерусском языке характеризуются только наименования лиц, при именах собирательных, обозначающих животных и неодушевленные предметы, «мн. ч. сказуемого не наблюдается» [5]<sup>1</sup>.

Для более широкой постановки вопроса необходимо привлечение новых и достоверных языковых данных. Выявленные ранее на историческом материале русского языка XI—XVII вв. [6, с. 123—149] закономерности получают подтверждение в истории болгарского, сербохорватского, словенского, македонского, чешского, польского и других славянских языков. Сравнительно-историческое изучение фактов позволяет установить не только общеязыковые принципы согласования, но и индивидуальные, свойственные отдельным славянским языкам особенности, дать объяснение различиям, проследить в историческом изменении форм закономерности развития категории имен собирательных в связи с грамматической категорией числа, выявить механизм формализации синтаксических связей в структуре простого предложения. Праславянское состояние отражается в старославянской, среднеболгарской, древнесербской и древнерусской письменности старшей поры и имеет четкие следы в современных южнославянских языках — сербохорватском, словенском и македонском,

<sup>1</sup> Подробный историографический обзор проблемы в русском языкознании см. в [6, с. 113—123].

сохранивших некоторые архаические черты славянского грамматического строя. Факты старочешской и старопольской письменности характеризуют в основном процессы исторического изменения древнейших общеславянских норм. Вместе с тем и здесь находят подтверждение общие закономерности и структурные схемы, реконструируемые на основе древнейших письменных данных.

Формы согласования сказуемого в сочетании с подлежащим — именем собирательным в древнем строе славянских языков определялись двумя основными факторами: 1) семантическим (типом имени собирательного) и 2) структурным (типом сказуемого и способом его выражения). Определенное влияние на формы согласования оказывал способ образования собирательного значения.

Наиболее последовательны и устойчивы в формах согласования имена собирательные, функционировавшие в качестве лексико-грамматических выразителей мн. ч. Напротив, неустойчивость и колебания форм ед. и мн. ч. проявляли глаголы при именах собирательных лексико-семантического образования — с контекстным собирательным значением, поскольку и само это значение было неустойчивым. Действительные закономерности четко проявляют имена собирательные морфологического образования, отличающиеся более отчетливой выраженностью категориального значения и лексико-грамматических признаков собирательности.

Древнейшее, наиболее глубокое семантическое различие имен собирательных основывалось на противопоставлении личных и предметных множеств. По формам согласования глагола в древних славянских языках противоположны друг другу имена собирательные, обозначающие совокупные множества лиц как активных субъектов, и имена собирательные, выражающие массы пассивных объектов — животных и неодушевленных предметов. Первые присоединяли глагол во мн. ч., а вторые — в ед. ч.

Наиболее древний тип собирательной множественности лиц, унаследованный из праязыка, представляют древнерусские этнонимы ед. ч. ж. р. с окончаниями в им. п. -а и -ь, восходящими к праславянским детерминантам основ на \*-ā и \*-ī. Это отмечаемые в древнерусских летописях имена собирательные типа *ерева*, *зимтгола*, *кортла*, *латина*, *литева*, *моравя*, *мурома*, *ствера* (наряду с формами *стверь* и *стверо*), *торма*, *черемиса*, *чувашия*, *чужна*, *югра* и т. п. и типа *вепь*, *весь*, *водь*, *голядь*, *донь*, *жемоить*, *корсь*, *ливь*, *ловоть*, *лопь*, *прусь*, *русь*, *самоядь*, *сербь*, *сумь*, *скуффь*, *пермь*, *чудь*, *ямь* и др. Они требовали оформления сказуемого, выраженного простыми формами глаголов настоящего и прошедшего времени (аористом и имперфектом), последовательно во мн. ч.

Функция множественности определяет природу и сущность праславянского типа имен собирательных ед. ч. ж. р. с формативом -ия, соединяющим основообразующий суффикс и окончание. Во всех древних славянских языках имена существительные этого типа характеризуются последовательным согласованием глагольного сказуемого во мн. ч. Собирательное *братия* (и *братрия*) выполняло роль грамматической формы мн. ч. к ед. ч. *братъ* (*братръ*). Предполагаемая форма мн. ч. им. п. *брати* в древнейших славянских текстах не отмечена, хотя фактами подтверждаются формы мн. ч. в косвенных падежах: род. п. *братъ*, дат. п. *братомъ* и т. д. В им. п., как свидетельствуют факты письменности, место грамматической формы мн. ч. последовательно занимает имя собирательное ед. ч.: ст.-слав. *братия*, др.-русск. *братья*, ст.-чеш. *bratřie*, ст.-польск. *bracią*. Об этом же убедительно свидетельствует и дистрибуция — сочетаемость имени собирательного *братия* с количественными числительными, например: *Быша · ̅ · братья*. ПВЛ, Л сп., л. Зоб; *Изъбрашася · ̅ · братья с роды своими*, там же, л. 7; *Пущени быхомъ три братия*. Пат. Син. XII в., л. 9об 11 — греч.: τρεῖς ἀδελφοί. Несомненно, собирательная форма является исконной, а форма простого мн. ч. утвердилась позже. Сочетаемость с количественными числительными в счетных значениях отчетливо проявляет расчлененное представление совокупного множества лиц, выражаемого древними именами собирательными на -ия. Поэтому имя собирательное выполняет функцию грамматической формы мн. ч., поскольку

оно тоже выражает множество. В этой же функции употреблялись и другие имена собирательные данного типа: др.-русск. *зятъя, шурия, кнѣзязя*, ст.-чеш. *kněžie*, ст.-польск. *księża* и т. п.

В старочешском и старопольском языках, по данным старших памятников письменности, свойство согласования во мн. ч. устойчиво проявляют глагольные сказуемые только в сочетании с теми личными именами собирательными, которые функционируют как формы выражения множественности и исторически преобразуются в грамматические формы мн. ч. (ст.-чеш. *bratřie, kněžie*, ст.-польск. *bracią, księża*). Согласование во мн. ч. характеризует последовательный процесс переосмысления имени собирательного в грамматическую форму мн. ч.

Имена собирательные, не имеющие функции форм мн. ч., присоединяют сказуемое обычно в ед. ч. Так, в древнечешских легендах, сохранившихся в записях XIV в., сказуемое в сочетании с собир. *l'ud* (>*lid*) принимает форму ед. ч.: *lid s křiži chodil zpiewaje*. Leg. Prok., s. 191. И в старопольской письменности собир. *lud* характеризуется согласованием сказуемого преимущественно в ед. ч. Пример с формой мн. ч. отмечен в Свентокжизских проповедях сер. XIV в.: *lud boży <przez bożego an>gela wicieżstwo odzirzeli* 28—30. Но здесь форма мн. ч. может объясняться удаленностью сказуемого от подлежащего. Дело в том, что простое предложение в древнем строе славянских языков отличалось еще заметной «рыхлостью» структуры, проявляемой в том, что формальные связи слов ослабевали, если связываемые члены предложения были значительно удалены друг от друга. В таком случае в силу входили смысловые отношения.

Ст.-чеш. собир. *čeled, rodyna* и под. принимали сказуемое обычно в ед. ч. Ст.-польск. *czeljadź* чаще присоединяет сказуемое в ед. ч., но возможна и форма мн. ч., например: *proszę będę w obeszreniu jego prokna czelacz luczka*. Ps. Flor. 21.30; ps. Puł.: *i klanjacz szyć będę przed nym proknyu czeljadz lyudzka*.

Собир. *rodzina* также принимает сказуемое, согласованное то в ед., то во мн. ч., например, мн. ч.: *rzecli są na swem serczu rodzina gich pospoli*. Ps. Flor. 73.9; ps. Puł.: *rzekly ... rod*.

В переводных источниках следует учитывать формы оригинала, которым, как правило, строго следовали переводчики.

Имена собирательные на *-in(a)* типа ст.-слав. и др.-русск. *дружина* не имели по происхождению, в праславянском языке функции форм мн. ч. Это были специализированные или лексикализованные средства выражения определенных собирательных понятий. Но именно потому, что в определенных значениях они употреблялись чаще простых форм мн. ч., фактически замещая их, им присваивалась эта функция. Поэтому в старославянских, среднеболгарских, древнесербских и древнерусских памятниках письменности собир. *дружина* требует оформления глагольного сказуемого только во мн. ч.

По смыслу, во мн. ч. согласуются сказуемые с древнерусск. собир. *чадъ*, др.-серб. собир. *дѣтъ* (например: *дѣтъ моѣ съ мною на ложи соуть*. Ник. ев., Лк. XI, 7), собир. *дѣтъца*, собир. *господа* (например: *тѣда господа рашька и хумьска у тем дни кривиномъ посѣдоше*. Гр. 15 апр. 1391 г. № ССIV, MS, с. 247) и т. п.

Правило согласования сказуемого по смыслу распространялось и на имена существительные с контекстным собирательным значением, например, др.-русск.: *како придоутъ латинескии гость оу городъ с волока*. Торг. дог. Смол. 1229 г., сп. А. О неустойчивости такого согласования свидетельствуют колебания форм числа. Ср. в сп. В (1297—1300 гг.): *приидеть латиньскии гость*. Чаще форму мн. ч. имеют глаголы в аористе: *ходиша вся русска земля на галиць*. НЛ, Син. сп., л. 24, 6653 г.; *и выидоша всъ градъ въ оружии от мала и до велика*, там же, л. 54об, 6702 г. и т. п. Но так же часто в подобных сочетаниях находим и форму сказуемого ед. ч.

Проанализированные факты, типичные для всех древних славянских языков, указывают на древнейшую общеславянскую закономерность — согласование глагольного сказуемого с именем собирательным, выража-

ющим совокупное множество лиц, во множественном числе (*constructio ad sensum*). Это правило действительно и в других древних индоевропейских языках — хеттском [7], древнеиндийском, древнегреческом, древнеперсидском, латинском [8—9], старофранцузском и в древних германских языках. В истории французского языка, как отмечает А. Доза, «это распространенное явление, наблюдающееся во все периоды» [10]. В немецком языке, по свидетельству Г. Пауля, еще в XVIII в. согласование по смыслу было так же широко распространено, как и в древнегреческом, латинском или современном английском языках [11]. В целом указанная особенность имеет древний, общеиндоевропейский характер. Она определяется самой природой имен собирательных, древнейшей и исконной функцией выражения множественности. В языке, как уже отмечалось, имена собирательные занимали место отсутствовавших грамматических форм мн. ч. как лексические или словообразовательные выразители множественности. Этому первоначально соответствовал более низкий уровень количественных абстракций, качественный характер множественности, поскольку сначала множество мыслилось не отвлеченно-количественно, а конкретно-качественно, а значит и собирательно — как класс или тип множества предметов, лиц и явлений действительности. Но согласование во мн. ч. свидетельствует о том, что совокупные множества лиц воспринимались именно как множества, расчлененно на составляющие единицы. В таких множествах подчеркивалась значимость, отдельность каждого индивида. Личные имена собирательные выражали также и расчлененные множества. Поскольку имена собирательные ед. ч. замещали собой грамматические формы множественного, они, естественно, присоединяли сказуемое во мн. ч., по смыслу, по значению выражаемой множественности. Вместе с тем эта особенность прямо свидетельствует о том, что связи слов в предложении в старшие эпохи развития индоевропейских языков не получили еще строго формализованного оформления. Четкое отличие структуры простого предложения в древних индоевропейских языках от современного состояния, проявляющееся в способе согласования сказуемого с подлежащим собирательного значения, отражает различный уровень грамматической абстракции в языках на разных этапах их развития. Согласование по смыслу свидетельствует о непосредственной зависимости синтаксической структуры фразы от логического содержания компонентов, о «рыхлости» ее формальной организации. На это указывает и отмеченная ранее зависимость формы сказуемого от его положения относительно подлежащего. Так, сказуемое, отделенное от подлежащего группой слов, нередко согласовалось не по форме, а по смыслу — во мн. ч.; например, ст.-польск.: *tedy lud wszowski mōjku kropyoney, drezwicy nyszlybi kwaszona bila, a nawozawszy w placzcze, wkładly sōb na pleczy*. ВЗ, Еход., XII, 31. Глагольная форма перфекта *wkładly sōb*, значительно удаленная от подлежащего *lud*, согласована с ним во мн. ч., тогда как правилом в старопольской письменности XV в. было уже согласование глагольного сказуемого с собир. *lud* в ед. ч.

Имена существительные типа *пѣлкѣ*, *ратѣ* не имели грамматических признаков и функций имен собирательных, поэтому согласование во мн. ч. им не свойственно. Но в древнерусском языке в предложениях с однородными сказуемыми при подлежащем, выраженном существительным данного типа, первое сказуемое имело форму ед. ч., а второе, отделенное от подлежащего группой слов, получало форму мн. ч. — в соответствии с общим значением совокупности, выраженным подлежащим. Например: *На ту же зиму приде ратѣ татарская множество много, и взяша Тѣбрь*. НЛ, Син. сп., л. 165, 1327 г.; *И такъ възмятєся весь град их и въсколебаша ся яко пияни*. МЛсв. к. XV в., л. 398, 1469 г. Здесь цельность фраз с формально-грамматической стороны нарушена. Вторые части их воспринимались, видимо, как самостоятельные предложения, связанные с предыдущими частями по смыслу. Ср. также различие в согласовании форм причастий в составе оборота «дательный самостоятельный»: *дружинѣ ко не сущи с нимъ. и не вѣдущимъ потѣзда князю своего борзо*. Лл, 6677 г., л. 121. Показательно, что первое причастие имеет форму ед. ч., а второе —

мн. ч. Обычно сказуемое согласуется в форме с ближайшим подлежащим. Например: *болдѣре и велможѣ и всѣ дружина избѣта*. Лл, 6694 г., л. 135.

Эта особенность не стоит изолированно в древнерусском или вообще в древних славянских языках. Она типична и для других индоевропейских языков: в немецком (у Лютера), в английском (у Шекспира), а также в древнегреческом и латинском ее отмечает Г. Пауль [11]. Следовательно, конструкции простого предложения с однородными сказуемыми исторически формировались как результат соединения самостоятельных предложений, выражающих действия одного субъекта, в однородный ряд сказуемых с единым подлежащим. Можно заметить, что вторая часть у приведенных предложений является по существу самостоятельным неполным предложением, и это не может быть следствием опущения подлежащего. На грамматическую самостоятельность ее указывает форма мн. ч. сказуемого, выражающая информацию о субъекте действия. Значит, неполные предложения не следует рассматривать лишь как результат преобразования полных. Модели неполных предложений так же исторически естественны и закономерны в языке, как и модели полных.

В истории индоевропейских языков характер согласования сказуемого не остается неизменным. Общая линия развития состоит в утверждении правила согласования по форме как результата формализации. Но согласование по смыслу известно в таком развитом современном языке, как английский, и не является архаической чертой, так как соответствует его аналитизму. В истории английского языка развитие аналитизма, сопровождавшееся ослаблением и утратой флексий, вело к активизации роли семантики, смысла как фактора, определяющего и организующего синтаксические связи в структуре предложения. Этим и объясняется согласование сказуемого по смыслу. Однако древнее и современное состояние индоевропейских языков в этом отношении существенно различно. На разных этапах развития славянских языков в каждом из них проявляются свои особенности, но общим в конечном счете оказывается стремление к формализации структуры предложения и вследствие этого утверждение согласования по форме. Согласование по смыслу удержалось в современных сербохорватском и словенском языках, но лишь в той мере, в какой имена собирательные (типа *браћа, господа, деца*), не перешедшие в грамматические формы мн. ч., сохраняют функцию множественности. В силу большой устойчивости грамматических систем — как отражение архаической нормы — согласование по смыслу известно в диалектах современных славянских языков. Однако в диалектах оно имеет своеобразный характер и не соответствует строго тем правилам, которые составляли закономерность древнего строя. Как пережиточное явление согласование по смыслу уже не является сколько-нибудь устойчивым и прочным в современных славянских языках. Согласование по форме составляет отличительную типологическую черту современных языков флективно-синтетического строя.

Имена собирательные, обозначающие неличные множества (совокупности животных и неодушевленных предметов), в древних славянских языках характеризовались согласованием сказуемого только в ед. ч. Это является нормой прежде всего для древнейшего общеславянского типа имен собирательных на *-ие*, первоначально обозначавших только совокупности неодушевленных предметов, в основном растительного мира. Например, ст.-слав.: *възиде тръние и подави е*. Зогр. ев., Мтф. XIII. 5—6; *егда же въя бждетъ млада и листвѣе прозбнетъ*. Сав. кн., Мтф., XXIV. 88об; *доньдеже погразнетъ тръстие*. Супр. р. 270.8; *камене свѣто вамактъ са по земли*. Супр. р. 294. 30; *кореніе въ земьж въложено бысть*. Супр. р. 352. 20—21. Аналогичные факты многочисленны в церковнославянских письменных памятниках восточноболгарского, македонского, сербского и древнерусского изводов, в оригинальных источниках среднеболгарского, древнерусского, древнесербского языков. Согласование сказуемого с подлежащим собирательным ср. р. на *-ие* является правилом в древних западнославянских языках, в частности в древнечешском

и древнепольском. Например, ст.-чеш.: *kamenye bude krzyczety*. Um., I v., 14 (Flajshans, s. 192); *kakby býlé a jiné škodné kořenie w ni zahynulo, aby to siemě jeho bujnějie rostlo; pakli bude twrdé hrúdie, ale ztlučé je*. Štit. Uč., s. 677; *tehdy wzwe[s]ely [sie w]szeczko drzewyie le[s]ne*. ŻWittb. XCV. 12, 1. 177 a; *jakez mnoho wyetwyie na drzewyie z gednoho korzene pochazyie*. Štit. Vyš., 42 a<sup>2</sup>; ст.-польск.: *wógle roszylo se iest od nego*. Ps. Flor. 17, 10; *padne na ne wangle*. Ps. Flor. 139, 11; *zyelzye zakwcyie*. Ps. Puł. 89, 6; *z niego wszytko pierze stare opada*. Ziel. r. 1534.

Эта особенность имен собирательных неличного (вещного) значения имеет не только общеславянский, но и индоевропейский характер. В других древних индоевропейских языках имена собирательные ср. р. также требовали постановки сказуемого в ед. ч. В сравнительно-исторических исследованиях неоднократно отмечалась характерная особенность древнегреческого синтаксиса — постановка глагольного сказуемого в ед. ч. при подлежащем, выраженном именем ср. р. в форме мн. ч. (известное правило τὰ ὅσα τρέχει). В аттических рукописях, по свидетельству И. Шмидта, содержится лишь единичные, обусловленные особыми обстоятельствами, отклонения от этого правила [12]. Оно последовательно соблюдается также в гатах Авесты. Аналогичные, хотя и более редкие факты отмечены в древнеиндийских ведах, а также в хеттском языке [13]. Как убедительно доказал И. Шмидт, формы мн. ч. подлежащего в конструкциях этого типа по происхождению являются праиндоевропейскими именами собирательными ед. ч., функционировавшими как средство выражения множественности. Характер согласования соответствует специфике предметно-логического содержания данных имен собирательных, исконно обозначающих множества неодушевленных предметов, мыслимых нерасчлененно.

Установленное различие в согласовании сказуемого с подлежащим, выраженным именами собирательными личного и предметного значений, указывает на праязыковую закономерность, основанную на древнейшем противопоставлении личных и предметных множеств, различении социально активных лиц как субъектов, деятелей и пассивных предметов, служащих объектами воздействия. Несомненно, это отражает одну из наиболее архаических номинальных классификаций предметного мира. Показательно, например, что в дагестанской и нахской группах кавказских языков противопоставление личных и вещных классов составляет основу каждой номинально-классной системы. Противоположение лиц и предметов определенным образом выражено в многочисленных разноструктурных языках.

Индоевропейский средний род как грамматическая субкатегория рода сформировался на базе вещного класса. Даже в современных индоевропейских языках имена существительные ср. р., несмотря на формализованный характер грамматического значения рода, называют в основном неодушевленные предметы. П. Шантрен, оперируя фактами древнегреческого языка, утверждает, что «средний род означает вещь как нечто противопоставляемое одушевленным существам... Таким образом, имена среднего рода — это первоначально имена вещей» [14]. Употреблением имени собирательного в склонении «неодушевленного рода» Шантрен объясняет отмеченную особенность древнегреческого синтаксиса — формы глагола в ед. ч. при подлежащем ср. р. мн. ч. Форма мн. ч. подлежащего первоначально была именем собирательным с вещным, предметным значением. По-видимому, в праиндоевропейском языковом состоянии грамматически выраженное противопоставление ед. и мн. ч. первоначально было свойственно в основном только личным именам существительным, составлявшим одушевленный (личный) класс имен. Предметные, неодушевленные множества, осознаваемые недифференцированно, обозначались именами собирательными ср. р. (словообразовательным способом).

Свойственное разноструктурным языкам противопоставление личных и предметных множеств сказывается и на формах согласования сказуемого. В кавказских языках это проявляется в различии согласования сказуемого с именами одушевленного (личного) и неодушевленного (вещного)

классов. В современном грузинском языке, по данным А. С. Чикобава, сказуемое принимает форму ед. или мн. ч. в зависимости от формы существительного только в тех случаях, когда имя существительное обозначает людей. Если же оно называет неодушевленные предметы, то сказуемое получает форму ед. ч. независимо от формы подлежащего [15]. Аналогичное положение в тюркских языках отмечал Н. К. Дмитриев [16]. Хотя дело идет здесь о формах мн. ч., все это имеет прямое отношение к характеристике имен собирательных, потому что, во-первых, имена собирательные в древних языках непосредственно входили в систему способов выражения мн. ч., а во-вторых, многие формативы множественности в разноструктурных языках, как известно, восходят к первоначальным суффиксам собирательности.

Различие в синтаксических свойствах личных и предметных имен собирательных в древних индоевропейских языках, имеющее типологические аналогии в языках иных структурных типов, может служить одним из аргументов в подтверждение гипотезы о том, что для раннего состояния индоевропейского языкового сообщества было характерно противопоставление двух классов имен — личного (социально активного, одушевленного, субъектного) и предметного, или вещного (пассивного, неодушевленного, объектного). Различение двух классов имен предшествовало формированию категории рода. Прямые указания на это дает хеттский язык, в котором различаются одушевленный (общий) и неодушевленный или средний классы. В древнегреческом склонении флективно противопоставляются в им.—вин. падежах одушевленный, объединяющий мужской и женский, и неодушевленный роды. Определенное отражение этого в славянских, германских и романских языках старшей поры придает свойствам хеттского и древнегреческого языков общеиндоевропейскую, т. е. праязыковую, значимость.

Другим фактором, определяющим формы согласования сказуемого, является его структурный тип и соответствующий ему способ выражения предикативного значения. Характерной специфичностью отличалось согласование сказуемого, выраженного причастием. Действительные причастия в древнерусском языке функционировали в качестве именной части составного сказуемого, обособленного предикативного обстоятельства или побочного, второстепенного сказуемого, а также самостоятельно, равноценно личной форме глагола. В сочетании с именами собирательными, обозначающими совокупности лиц, действительные причастия, как и личные формы глагола, получали форму мн. ч., согласуясь по смыслу. Особенность состояла в формах рода, поскольку причастия как именные формы изменялись по родам. Имена собирательные ж. р. типа *братия*, *дружина*, *господа*, а также этнонимы в форме им. п. ед. ч. присоединяли сказуемое, выраженное кратким действительным причастием, в форме им. п. мн. ч. м. р., свидетельствующей о том, что данные имена собирательные осознавались как выражающие совокупности лиц мужского пола. Например: *Аще ли обратятся роусь работающе оу грекъ*. ПВЛ, Л сп., л. 13, 945 г. Причастие *работающе*, выполняющее функцию побочного сказуемого наряду с личной формой глагола *обратятся*, имеет форму им. п. мн. ч. м. р. Ср. также причастие в сочетании со связкой в имперфекте: *В ней же (в пещере.— Д. В.) бьяше множество чюди вльзше*. НЛ, Син. сп., л. 144, 1269 г. Действительное причастие прошедшего времени *вльзше* согласовано с собир. *чюдь* в форме мн. ч. м. р., а связка *бьяше* — с подлежащим *множество*, но не во мн., а в ед. числе, так как слово *множество* не имело грамматических признаков собирательности.

Как свидетельствуют факты старославянской и древнерусской письменности, действительные причастия могли выступать в предложении в качестве простого сказуемого, т. е. самостоятельно, без связки, равноценно личной форме глагола. Отмеченное правило согласования соблюдалось при этом последовательно и строго. Например: *И всь Новгородъ шьдъше*. НЛ, Син. сп., л. 61об, 1200 г.; *Пришьдъше же братиѣ съ вѣзми масличными и пѣсньми*. Усп. сб. XII—XIII вв., л. 1176, 6—7; *И съвѣзкупившесѣ всѣ братьѣ Киевѣ*. ИЛ, л. 192, 1170 г. и т. п. Соединяясь

с личной формой глагола посредством соединительного союза, причастие входило в состав однородных сказуемых как функционально равноценное ей. Например: *И въставше вся братья и поидоша на кони*. МЛсв. к. XV в., л. 25об, 1100 г.; *И сгадавшие дружина и ржкоша ему*. Ил, л. 200, 1173 г. и т. п.

Функция глагольной формы и согласование по смыслу подчеркивают действительный, активный характер значения и свидетельствуют о предикативной силе кратких действительных причастий, о насыщенной глагольности в их значениях. В этом отношении им противоположны страдательные причастия. В предикативной функции они согласовались с подлежащим лично-собирающего значения по форме — в ед. ч. и в соответствующей форме рода, но при этом связка (лично-временная форма глагола *быти*) получала форму мн. ч., согласуясь с подлежащим по смыслу. Таким образом, оказывалась нарушенной грамматическое соответствие форм числа связки и именной части, выраженной страдательным причастием. Например: *И рѣша новгородци, аще, княже, браѣя наша истчена суть*. ПВЛ, л. сп., л. 48, 1015 г. Страдательное причастие *истчена* имеет форму ед. ч., а связка *суть* — мн. ч. Ср. аналогичные примеры: *Братя наша избита суть*. Типограф. л., л. 70об, 1015 г.; *Поидемъ на Киевскую сторону, гдѣ суть избита братья наша*. Ил, л. 225об, 1185 г. и т. п. Но чаще в древнерусской письменности в указанных конструкциях сказуемого связка опускалась, а страдательное причастие сохраняло форму ед. ч., например: *Отецъ ти умерлъ, а братья ти избитена*. НЛ, Ком. сп., л. 78об, 1016 г.; *А дружина ихъ вса изъимана*. Лл, л. 130об, 1177 г.; *Браѣя избита и изъимана*, там же, л. 135, 1186 г. Ср. также: *Мужи мои и братья моя и ваша побита*. НЛ, Син. сп., л. 147, 1269 г. Хотя в состав однородных подлежащих здесь входит мн. ч. *мужи*, сказуемое *побита* согласовано со вторым, ближайшим к нему собир. *братья*. Этот пример тоже свидетельствует о слабости формальных связей между членами предложения, что ранее уже было определено как свидетельство «рыхлости» его структуры.

Последовательное употребление нечленных страдательных причастий в формах ед. ч. свидетельствует о том, что в данных конструкциях они выражали пассивный, недействительный признак. Характерно, что в этом отношении страдательные причастия не отличались от кратких прилагательных в той же синтаксической роли. Ср., например: *А дружина своя цѣла*. ПВЛ, л. сп., л. 50об, 1025 г.; *Братья в бѣдахъ пособива бываютъ*, там же, л. 68 и т. п. Особенно выразителен последний пример, в котором именная часть сказуемого *пособива* имеет форму ед. ч., а связка *бываютъ* — мн. ч. Ср. также совр. серб.-хорв. *браћа су здрава*. В северо-западных говорах болгарского языка, по данным Ц. Тодорова, действует то же правило: *дѣцава су глѣдна* [17]. В сербохорватском и болгарском примерах форма мн. ч. *су* сочетается с формой ед. ч. прилагательного в составе сказуемого.

Замеченное отличие кратких страдательных причастий от действительных полностью обусловлено характером их значений, которые проявляются в залоговых отношениях. Действительные причастия выражают активные действия, страдательные причастия — состояния. Действие, выраженное действительным причастием, непосредственно связано с субъектом (действующим лицом), исходит от него. Субъект выражен подлежащим и образует активную конструкцию предложения. Страдательные причастия, напротив, выражают состояния объекта воздействия как результаты совершившегося действия. В подлежащем обозначается объект. Это составляет пассивную конструкцию. Предикативность, выражаемая страдательными причастиями, имеет своеобразный характер: в ней значительна доля атрибутивности (значений признака, свойства, состояния).

Значение прошедшего результативного действия в славянских языках выражалось формой перфекта, в состав которого входило причастие прошедшего времени *на-л*. Факты древнерусской письменности старшей поры.

подтверждаемые данными сербохорватского языка, показывают, что это причастие согласовалось с именем собирательным в ед. ч., как и рассмотренные ранее страдательные причастия и прилагательные в составе именного сказуемого. При этом связка имела форму мн. ч., но в древнерусском языке она чаще опускалась. Например: *Была суть ѿ братья Кию, Щекъ, Хоривъ, иже сѣлаша градоко съ*. ПВЛ, Л сп., л. 7 об., 862 г.; *Смърдава чадъ не соуть видѣти княза въ срацѣ златыи нитьми шевѣт*. Ио. евз. Шестоднев, Срезневский I, стлб. 89 и т. п. Ср. ст.-серб. (в грамотах Дубровника): *(любовь и прѣстелство) које сѣ имала господа босанска с Дубровникомъ*. MS, CCXLV, 1405 г., 22 сент., с. 260; *Вса ина господа, ка сѣ господовала до мене*, там же, CCLXVI, 1419 г., 5 марта, с. 283 и т. п. В современном сербохорватском языке заметно сохранилось древнее состояние: имена собирательные *браћа, деца, властела*, образования на *-ād*, сохранившие исконную функцию форм мн. ч., присоединяют в формах перфекта вспомогательный глагол во мн. ч., а причастие на *-л* в ед. ч., которое в современном языковом сознании ассоциируется с формой мн. ч. ср. р. — в соответствии с функцией множественности собирательного имени и формой мн. ч. вспомогательного глагола. Например: *Деца су трчала по ливади и хватала лептире* «Дети бегали по лугу и ловили бабочек»; *Телад су ожеднела* «Телята захотели пить».

Сохранению древней формы причастия и прилагательного способствовало то, что в им. п. формы мн. ч. удерживают родовые различия окончаний. Таким образом, четко дифференцированное по значению рода во множественном, как и в единственном числе, согласование атрибутивного и предикативного определения с субстантивом, формальное соответствие синтаксических согласователей способствуют тому, что в сербохорватском языке сохраняются старые формы причастия и прилагательного в предикативном сочетании с именем собирательным, хотя вместе с тем, как отмечено, они наполнились новым содержанием. Следует также учитывать, что в современном сербохорватском языке действуют более сложные правила согласования. В данном случае используются как формы множественного, так и формы единственного числа сказуемого в зависимости от смысла и стиля высказывания. Но это уже тема современной стилистики данного языка, а не сравнительной грамматики. Кроме того, исторически расширилось словообразовательное значение ряда суффиксов собирательности, в частности суффикса *-ād*. Первоначально он выражал только совокупности одушевленных существ (детей и детенышей). Новообразованиями являются имена собирательные на *-ād* с предметными значениями типа *бӯрад* «бочки». Любопытно, что тип согласования и у подобных новообразований сохранился. Например: *Сва су бурад изломљена* «Все бочки разбиты». Это объясняется тем, что данный тип имен собирательных сохранил древнюю функцию форм мн. ч. Важно заметить, что денотативное различие по принципу «лицо — предмет» здесь уже не играет определяющей роли.

Имена собирательные на *-је*, обозначающие и сейчас в основном совокупности неживых предметов, сохраняют согласование сказуемого, включая и связку, в ед. ч., как и в древний период. Например: *Са дрвећа је опало лишће* «С деревьев опали листья»; *Цвеће подишло своје умиване главице* «Цветы подняли свои умытые головки»; *Свуда је мирисало цвеће* «Всюду пахли цветы»; *Дрвеће оборило грање под снегом* «Деревья склонили ветви под снегом» и т. п.

Все эти факты определенным образом отражают праславянское состояние и позволяют заключить, что в славянском языке-основе причастие на *-л*, как и прилагательное, в составе именного сказуемого согласовалось с подлежащим как личного, так и предметного собирательного значения в ед. ч. Следовательно, первоначально, при формировании данного типа сказуемого причастие прошедшего времени на *-л* в составе предиката служило определением, согласованным с подлежащим грамматически. Этот вывод находит применение в решении вопроса о происхождении сложных глагольных форм прошедшего времени перфекта и плюсквамперфекта, в состав которых входит причастие на *-л*. Перфект и плюсквамперфект сложились на основе составного сказуемого, в котором именной частью

было причастие на -л. Это соответствует общей направленности исторического развития грамматических форм на базе морфологизации членов предложения. Поэтому фраза *Азъ ксмь зналъ* в языке должна была означать «Я есть знавший (узнавший)». Показательно, что в составном именном сказуемом связка могла быть выражена формой перфекта от глагола *быти*, т. е. так же, как и при образовании сложной глагольной формы — плюсквамперфекта. Например: *Рекоша, яко Кию есть перевозникъ былъ*. ПВЛ, Л сп., л. 4. Здесь форма *есть былъ* — перфект вспомогательного глагола *быти* а *первозникъ* — именная часть сказуемого, соотношенная с подлежащим *Кию*. Формула образования плюсквамперфекта и составного именного сказуемого первоначально была единой. Функционально причастие на -л аналогично прилагательному или существительному в позиции именной части сказуемого, а сложная глагольная форма сначала была именной конструкцией. Следовательно, аналитическая форма прошедшего времени глагола исторически формируется на базе конструкции составного именного сказуемого в результате грамматизации его выражения в структуре предложения, преобразования свободной синтаксической конструкции в аналитическую форму слова.

Оценивая факты и наблюдения и обобщая изложенное, можно заключить, что факторами, регулирующими согласование сказуемого с именем собирательным, в общеславянском языковом состоянии были: 1) функционирование имен собирательных как средства выражения мн. ч., обострявшее противоречие между их семантикой и грамматической формой; 2) различия в восприятии личных и предметных совокупных множеств, связанные, как можно полагать, с древнейшей номинальной классификацией, противопоставляющей лица и предметы; 3) неформализованный характер синтаксических связей в структуре предложения. Общая закономерность, отражающая праславянское состояние, заключается в том, что имена собирательные, обозначающие совокупности лиц, присоединяли сказуемое, выраженное глаголом или действительным причастием, во мн. ч., подчеркивая расчлененный, дифференцированный характер множества, а имена собирательные, обозначающие неодушевленные предметы или социально пассивные существа, принимали сказуемое в ед. ч. соответственно целостному, недифференцированному восприятию множества как однородной массы.

## ИСТОЧНИКИ

### Старославянские

- Зогр. св.— Зографское евангелие: *Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitani*. Ed. V. Jagić. Berolini, 1879.  
Сав. кн.— Саввина книга: Памятники старославянского языка. Т. I. Вып. 2. Саввина книга. Труд. В. Щепкина. Изд. ОРЯС. СПб., 1903.  
Супр. р.— Супрасльская рукопись. Труд. С. Северьянова. Т. I. Изд. ОРЯС (Памятники старославянского языка. Т. II. Вып. 1). СПб., 1904.

### Древнерусские

- Ил — Ипатьевская летопись (список XV в.).— ПСРЛ. Т. 2. М., 1962 (воспроизведение издания 2-го изд. СПб., 1908).  
Лл — Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку 1377 г.— ПСРЛ. Т. 4. М., 1962.  
МЛсв. к. XV в.— Московский летописный свод конца XV в.— ПСРЛ. Т. 25. М.— Л., 1949.  
НЛ, Син. сп.— Новгородская I летопись старшего извода по Синодальному списку XIII—XIV вв.— В кн.: Новгородская I летопись старшего и младшего изводов. М.— Л., 1950.  
Пат. Син.— Синайский патерик. Изд. подгот. Гольшпенко В. С., Дубровина В. Ф. Под ред. Коткова С. И. М., 1967.  
ПВЛ — Повесть временных лет.— ПСРЛ. 2-е изд. Т. 1, Вып. 4, Л., 1926.  
Л сп.— Лаврентьевский список 1377 г.  
Срезневский — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I—III. М., 1958.  
Типограф. л.— Типографская летопись.— ПСРЛ. Т. 24, Пг., 1921.  
Торг. дог. Смол. 1229 г.— Торговый договор Смоленска с Ригю и Готским берегом 1229 г.— В кн.: Смоленские грамоты XIII—XIV веков, М., 1963.  
Усл. сб.— Успенский сборник XII—XIII вв. Изд. подгот. Князевская О. А., Демьянов В. Г., Ляпон М. В. Под ред. Коткова С. И. М., 1971.

Древнесербские

MS — Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Ed. Fr. Miklosich. Viennae, 1858.

Ник. ев.— Никольское евангелие (рук. нач. XV в.): Д. Даничић. Никольско јеванђеље. У Биограду, 1864.

Старочешские

Leg. Prok.— Legenda o sv. Prokopu, rkp. Hradecký z 2 pol. 14 stol.— In: Výbor z literatury česke. Díl první: od nejstarsich časův až do počátku XV století. Od P. J. Šafaříka. V Praze, 1845.

Stit. Uč.— Tomáš ze Stítného. Knížky šestery o obecných věcech křest'anských, rkp. NUK z r. 1376.— In: Výbor z literatury česke.

Stit. Vyš.— Tomáš ze Stítného. Sborník Vyšehradský. I. Uvod a text. Vydal Ryšánek F. Praha, NCSAV, 1960 (z r. 1396).

Um. (Flajšhans)— Kynského zlomek Legendy o umučení Páně (I pol XIV stol.)— In: Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého. Vydal V. Flajšhans. Díl I. Prolegomena a texty. V Praze, 1903.

Zwittb.— Zaltar Wittenberský, rkp. asi ze stol. XIV. K tisku připravil a výklady i slovníkem opatřil J. Gebauer. V Praze, 1880.

Старопольские

BZ — Biblia królowej Zofii z r. 1455. Z kodexu szarozspatackiego. Wydana przez A. Małeckiego. We Lwowie, 1871.

Ps. Flor.— Psalterz floriański (XIV w.): Psalterii Florianensis partem Polonicam ad fidem codicis recensuit... Wł. Nehring. Poznaniae, 1883.

Ps. Puł.— Psalterz Puławski. Wstęp, transliteracja, komentarz, indeks wyrazów opracował S. Słoiński. Warszawa, 1916.

Ziel. r. 1534.— Zielnik Stefana Falimirza r. 1534.— In: Vrtel-Wierczyński St. Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543. Lwów, 1930.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dobrovsky J. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris. Vindobonae, 1822, p. 588.
2. Miklosich F. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Bd. 4. Syntax. Wien, 1883.
3. Leskien A. Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. 2 und 3 Aufl. Heidelberg, 1919, S. 89.
4. Lohmann J. F. Das Kollektivum im Slavischen.— KZ, 1931, Bd. 58. S. 220.
5. Истрина Е. С. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи. Изв. ОРЯС, 1923, т. 24, кн. 2. с. 70.
6. Дегтярев В. И. Развитие лексико-грамматических классов собирательных и вещественных имен существительных в русском языке XI—XVII вв.: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1964.
7. Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, с. 125.
8. Delbrück B. Syntaktische Forschungen. V. Bd. Altindische Syntax. Halle, 1888, S. 83.
9. Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. I. Tl. Strassburg 1900, S. 230.
10. Доза А. История французского языка. М., 1956, с. 356.
11. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960, с. 322—323.
12. Schmidt J. Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra. Weimar, 1889, S. 1.
13. Иванюв В. В. Хеттский язык. М., 1963, с. 118.
14. Шантрян П. Историческая морфология греческого языка. М., 1953, с. 16.
15. Чикобава Ари. Проблема простого предложения в грузинском языке. I. К вопросу о подлежащем и дополнении в древнегрузинском языке. 2-е изд. Тбилиси, 1968, с. 269—280 (на груз. яз.).
16. Дмитриев Н. К. Категория числа.— В кн.: Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. II. Морфология. М., 1956, с. 71.
17. Годоров Ц. Северозападные болгарски говори.— СбНУ, 1936, кн. XII, с. 317.

МУРЬЯНОВ М. Ф.

## ЕЩЕ РАЗ О МИНЕЕ ДУБРОВСКОГО

Древние рукописи хранятся на правах музейных ценностей, брать их в руки разрешается в особых случаях максимально ограниченному кругу лиц. Тем, что называют введением рукописи в научный оборот, является ее публикация. Какой она должна быть, в каком виде подавать древний текст и чем его сопровождать — вопрос не простой, он имеет длительную историю и не обещает окончательных решений. О состоянии его в востоковедении судить не можем, но в пределах знакомого нам европейского материала есть основания признать наименее благополучным положение, сложившееся с публикацией рукописей Киевской Руси. Опубликовано очень немного; не существует крупномасштабной эдиционной программы, хотя четверть века тому назад был проведен представительный опрос специалистов с целью выяснения потребностей для перспективного планирования и опрошенные горячо поддержали идею развертывания эдиционной работы [1].

Как известно, почти все древнейшие славянские тексты являются переводами с греческого языка. Оригиналы и переводы сравнивать можно и нужно не только по языку, но и по эдиционным принципам. И здесь сразу возникают вопросы. Почему так велика разница в эдиционных концепциях византологов и славистов, особенно русистов? Почему у византологов не существует так называемых лингвистических изданий памятников, практикуемых русистами? Нет их, кстади сказать, и у латинистов, и у романо-германистов, хотя наука о греческом, латинском, романских, германских языках существует и чувствует себя неплохо, чем она обязана не в последнюю очередь советской школе романо-германского языкознания, греческим и западным средневековым рукописям, хранящимся в собраниях СССР. К лингвистической достоверности не именующих себя лингвистическими изданий романо-германских средневековых текстов, текстов латинских и греческих авторов с доверием относились основоположники советской школы романо-германского языкознания академики В. Ф. Шиммарев, В. М. Жирмунский, виднейшие отечественные латинисты, грецисты, византологи, а сегодня — филологи, готовящие под руководством В. Т. Пащуто издание корпуса греческих и западных источников по истории народов СССР.

Академик И. В. Ягич считал, что палеославистика должна в эдиционных вопросах ориентироваться на достижения классической филологии, и доказал на практике, что путь этот приводит к очень хорошим результатам — издания И. В. Ягича доныне признаются образцовыми [2]. Но «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности» (1961), разработанные в Институте русского языка АН СССР под руководством С. И. Коткова, писались так, как будто правил Международного академического союза не существует. Это не принадлежит к числу достоинств «Правил лингвистического издания», но можно отнестись с пониманием к ситуации, в которой они создавались: после исторической цезуры продолжительностью, равной сроку жизни поколения, эдиционная работа русистов готовилась к возобновлению, начало не могло претендовать на глобальный охват всех проблем, а рассчитывалось как посильное для небольшой группы молодых специалистов, взявшихся за это дело. Их первым результатом было выпущенное в 1965 г. издание Изборника 1076 г., за которым последовало несколько других памятников. Публикации коллектива, возглавляемого С. И. Котковым, хорошо из-

вестны специалистам — тем более что других учреждений, издающих древнейшие памятники русской письменности, в нашей стране нет.

Никому не удавалось издать древний памятник какого-либо языка так, чтобы в дальнейшем не возникало сомнений и споров по поводу прочтения того или иного темного места, даже по поводу интерпретации мест, казавшихся как будто ясными. Структура науки предусмотрела все необходимое на этот случай: журналы и сборники по классической филологии и романо-германистике часто печатают краткие сообщения, иногда размером в несколько строк, содержащие такие конъектуры. Вносить уточнения этого рода в памятники, изданные Институтом русского языка АН СССР, фактически негде, хотя эти издания, по осторожному признанию их авторов, тоже не лишены отдельных недостатков (в отдельных местах), и при определенных условиях критика «вызовет у всякого ученого чувство благодарности» [3, с. 131]. Очень подходящим органом для напечатания уточнений мог бы стать неперидический источниковедческий сборник, выпускаемый самими издателями памятников и публикующий теоретические статьи, памятники малого объема, исследования. Насколько это было бы уместно, нетрудно убедиться по заметке А. С. Львова [4]; в ней показано, что издатели Успенского сборника сделали в одном месте неправильное словоделение и скрыли ошибку, не включив получившиеся словоформы в ими же составленный якобы полный словоуказатель к памятнику. Данный случай — не единственная погрешность в издании Успенского сборника, и рецензенты указывали на это. Еще большее количество погрешностей — в издании фрагмента из Минеи Дубровского [5]. Разбору качества этой публикации была посвящена моя статья в «Вопросах языковедения» [6]. Теперь появился ответ на нее — статья В. С. Голышенко, В. Г. Демьянова, С. И. Коткова «Об одном „освещении“ изданий памятников древнерусского языка» [3]. На мой взгляд, наибольшее, самое принципиальное значение в этом ответе имеет реакция на мое недоумение о причинах замалчивания обращенного к русистам на VIII славистическом съезде приглашения обсудить проект эдических правил, разработанный на основе правил Международного академического союза: «Положения, лишенные обоснования, естественно, не могли послужить предметом научного обсуждения, почему и не вызвали отклика со стороны источниковедов-русистов» [3, с. 127]. К тому же статья моя имеет «ошибки и тем более многие недостатки», журналом она отредактирована недостаточно [3, с. 130]. По словам В. С. Голышенко, В. Г. Демьянова и С. И. Коткова, в моем выступлении, «кроме верных суждений, ... немало и таких, которые представляются спорными» [3, с. 127]. Охотно уточню те из суждений, которые получили пометы «вызывает недоумение», «некорректно», «странно», «удивительно», «непонятно».

1. Авторы находят, что статейная публикация рукописного материала XI в. не может быть объектом суждений о качестве издания текста, эта публикация из Минеи Дубровского «преследовала скромную цель» [3, с. 128]. По моему мнению, существуют два условия, при которых к качеству издания полагается быть снисходительным. Первое — если по тем или иным веским причинам понимание текста издателем осталось неполным, не удовлетворяющим его самого, и он специально оговорил предварительный характер своей публикации, откладывать которую было нельзя — например, из-за необходимости закрепления приоритета в открытии. Второе — если публикация осуществляется авторами, которым посчастливилось найти древний текст, но сами они делают первые шаги в науке. Оба условия отсутствуют в [5], эта публикация имеет не предварительный, а ясно выраженный назидательный характер, и осуществлена она двумя докторами филологических наук, с идеальным сочетанием специальностей: византолог Е. Э. Гранстрем и русист С. И. Котков (ответственный редактор). Это хорошо, что публикация «преследовала скромную цель» [3, с. 128]. Хуже, если говорят о своих «эдических деяниях» [3, с. 127] (см. толкование этого слова в Большом академическом словаре — т. 3, с. 761).

2. Меня упрекнули в некорректности фразы «было принято промежуточное решение — издать в виде статьи часть Минеи», которую я написал,

«словно читая мысли редактора» [3, с. 128]. Упрек справедливый, выразиться можно было и точнее. Формулировка получилась двусмысленной, авторы имели право увидеть один смысл, а я — другой, тот самый, который в другом месте своего выступления я применил к древнему редактору: ему «больше понравились феотокионы, имеющиеся в каноне Иоанну» [6, с. 138]. В самом деле, откуда мне известно, что ему нравилось!

3. В. С. Голышенко, В. Г. Демьянову и С. И. Коткову кажется удивительным, что приведение четырех греческих параллелей из рукописей ГПБ, а не из изданий «не заслуживает одобрения критика» [3, с. 128]. Совершенно верно, не заслуживает, потому что нарушает общепринятый в науке порядок: сначала называется источник опубликованный, т. е. доступный для сверок и дальнейших разработок, и лишь только если публикаций не существует — источник рукописный. А иначе зачем публиковать древние рукописи, если этими публикациями не пользуются? Другое дело, что устанавливать наличие публикаций бывает нелегко, знание трудов своих предшественников является важнейшим показателем квалификации научного работника. Прежде чем выражать удивление по поводу «умалчивания» мною о «Методических рекомендациях по описанию славяно-русских рукописей», можно было бы ознакомиться со статьей [7] — там, где это оказалось уместным, этот источник мною процитирован. Уточним: М. А. Моминой незачем приписывать «большую работу по изучению рукописных минейных текстов» [3, с. 128], она выбрала себе другую специализацию — по текстам Триодей и, действительно, является их непревзойденным знатоком.

4. Авторам «непонятно, что означает выражение „обычный алфавит“» [3, с. 130] — это в связи с недоверием к предпринятому ими возведению *o* с точкой внутри и *o* с крестиком внутри в ранг отдельных букв алфавита. Обычный алфавит — это тот алфавит, где такого возведения нет, т. е. алфавит, которым принято пользоваться в словарях, в текстах, изданных классиками палеославистики и в изложении вопросов исторической фонетики. Авторы не подкрепляют, а скорее обесценивают свою идею ссылкой на противопоставление букв *o* и *ω*, противопоставление правильное, но никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеющее. Точка или крестик внутри *o* имели только орнаментальное значение, потому что в древнерусских рукописях Миней XI—XII вв. есть множество примеров такой же орнаментации очка не только в *o*, но и в буквах *в*, *р*, *ф*.

5. Обратимся к патетическому вопрошанию: «Понимает ли М. Ф. Мурьянов, что такая „опечатка“, как **мъсть** вм. **мъсть**, гораздо серьезнее, нежели **глы** вм. **глы?**» [3, с. 129]. Нет, не понимает, и находит, что эти опечатки стоят друг друга (сравниваются две опечатки — в публикации и в моей критике на публикацию). В моем случае титло над одним из многочисленных примеров на **мъсть** относится не к этому слову, а к находящемуся над ним слову **быс**, в котором по недосмотру наборщика перевернулись вниз литера *б* и титло [6, с. 130].

В. С. Голышенко, В. Г. Демьянов и С. И. Котков хотели бы объяснить написание **мъсть** (ГИМ Син. 167, л. 67) вместо **мъсть** «скорее всего» орфографией «одноеревой южнославянской рукописи, которая могла послужить оригиналом древнерусского списка. Следовательно, **мъсть** можно понимать как **мъсть** „муст“, а не „мьсть“» [3, с. 129]. Допустим, что они правы. Но только, по их же словам, «скорее всего» правы, и, следовательно, сами допускают некоторую вероятность того, что неправы. Тогда соответствует ли правилам логики начинать изложение своей точки зрения [3, с. 129] с того, что «недостаточная осведомленность в вопросах соотношения оригиналов и списков в древней славянской письменности приводит М. Ф. Мурьянова к предположению...» иному? Я внимательно прочитал все 223 листа рукописи ГИМ Син. 167 и вижу, что смещений между *ъ* и *ь* в ее языке нет, поэтому предположение о единственном слове на л. 67 как рефлексе влияния гипотетического одноеревого оригинала ни на чем не основано. Тем временем я получил из ГПБ фотокопию еще одной июньской Миней XII в. — Соф. 206, где на л. 35 в том же ставрофеотокионе чита-

ется такое же **мѣсть**. Пренебрежение разницей между **ъ** и **ь** можно обнаружить не у писцов осуждаемых рукописей, а у публикатора Е. Э. Гранстрем (ответственный редактор сборника С. И. Котков), которая там, где в Минее Дубровского стоит **аплѣстѣмь**, пишет **аплѣстѣмь** [5, с. 28, строки 2—3 сверху], в **пришьствѣемь** добавляет от себя еще один редуцированный: получилось **пришьствѣемь** [5, с. 28, строка 9 сверху], **бговидѣче** превращено ею в **бгovidѣче** [5, с. 29, строка 9 сверху], **невѣмѣстимоу** оригинала она передала через **невѣмѣстимоу** [5, с. 32, строка 12 снизу], в **блгслвленіемь** заменила конечный **ь** на **ъ** [5, с. 38, строка 6 сверху], **вьстѣмь** превратила во **вѣстѣмь** [5, с. 41, строка 7 сверху], **приятѣ**, изобразила как **приятѣ** [5, с. 42, строка 3 сверху]. Подчеркну, что эти семь неточностей идут сверх «нескольких допущенных ошибок», как назвали В. С. Голышенко, В. Г. Демьянов и С. И. Котков [3, с. 129] **многие** погрешности, указанные мною ранее. Но и этим ряд несообразностей в осуждаемой публикации далеко не исчерпывается, их общее число превышает сотню. Не слишком ли это много на 15 страниц из Минеи Дубровского?

В статье «О Минее Дубровского» (и некоторых других работах) я интерпретировал ряд погрешностей в минейных рукописях как ошибки диктанта. Мне возражают, напоминая «известные всем, кто работает с рукописными источниками, слова Д. С. Лихачева: „В древней Руси, как и в Западной Европе, писцы сравнительно редко писали под диктовку... Именно путем „внутреннего диктанта“ в текст проникают специфические изменения, которые могут навести на мысль неопытного текстолога, что писец писал „со слуха“» [3, с. 129—130]. Но у академика Д. С. Лихачева речь идет не о минейных рукописях, они в его «Текстологии» вообще не упоминаются и могли иметь свою специфику в размножении: в отличие, например, от летописей или Кормчих, переписывавшихся в небольшом числе экземпляров, Минеи требовалось многие тысячи, и способ воспроизведения выбирался соответственный, наиболее продуктивный. При возможности предпочитали изготовлять не одну копию, а целый тираж, диктуя текст многим одновременно работающим писцам. Каждый из них силился понять записываемое со слуха (что совершенно необязательно при механическом переписывании оригинала, находящегося перед глазами), это удавалось не всем и не всегда. Например, один из тропарей капона Иоанну Лествичнику в мартовской Минее XIII в. (ЦГАДА ф. 381, № 106, л. 104об) начинается так:

Каль испусти кростьнаго гнѣва на врага.

Скатологические мотивы находятся на своем месте где-нибудь в старофранцузских фаблю («Le Fabliau de la Merde»), но откуда этот устрашающий образ в поэзии литургической, в применении к типайшему спнайскому отшельнику? В греческом оригинале читаем:

Τὸ κέντρον ἀπέπεμφας τοῦ θυμοῦ τῷ ἐχθρῷ [8].

То, что славянскому писцу показалось *калом*, на самом деле было *стрекалом* — палкой с железным наконечником, которой погоняли скот и кололи наказываемых рабов или пленников, она упоминается в образной речи Платона [9]. Этот специфически греческий инструмент могли в славянском мире и не знать; к тому же писец не расслышал первый слог и принял остальное за целое слово. Иного объяснения этому казусу я предложить не могу, и десять обнаруженных мною ранее случаев замены словоформы *солью* на *силою* (и наоборот) в Минеях XI—XII вв. тоже понимаю как ошибку диктанта. Эта интерпретация не удовлетворяет спорящих со мной, но своего объяснения они не предлагают. Ничего удивительного, если всех устраивающее объяснение трудным фактам находится не сразу, но не следовало бы высказанному мнению придавать оглушенный вид: я усматриваю здесь не украинизм XI—XII вв., как мне приписывают [3, с. 131], а фонетическое сближение, которое «достигает сегодня максимума в укр. *силою* — *сілжк*» [6, с. 135].

В. С. Голышенко, В. Г. Демьянов и С. И. Котков сочли удобным заявить, что при принятии или отклонении замечаний они во главу угла ставят доброжелательность критики, только такая критика вызывает у них «чувство благодарности» [3, с. 131]. Что же, бывают иногда такие рецензии, которые состоят единственно из доброжелательности и именно поэтому ничего не прибавляют к сути обсуждаемого дела. Подлинная культура научного спора как раз предполагает, что превыше всего ценятся крупницы истины в речах спорящих. Так это понималось издревле: «Платона мы любим, но истину — еще больше».

Регламент корректной дискуссии ставит заключительный вопрос, удовлетворен ли оппонент ответом на свои замечания. Ответ В. С. Голышенко, В. Г. Демьянова и С. И. Коткова, многословный по форме и уклончивый по существу, меня совершенно не удовлетворил.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Жуковская Л. П., Котков С. И. О публикации памятников русского языка и письменности. — ВЯ, 1960, № 4.
2. Янакиев М., Котова Н. В. О некоторых принципах эдиционной палеославистики. — «Советское славяноведение», 1970, № 6.
3. Голышенко В. С., Демьянов В. Г., Котков С. И. Об одном „освещении“ памятников древнерусского языка. — ВЯ, 1982, № 4.
4. Львов А. С. О чтении одного места Жития Мефодия. — В кн.: Источники по истории русского языка. М., 1976.
5. Гранстрем Е. Э. Греческие параллели к гимнографическим текстам «Минее Дубровского». — В кн.: Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.
6. Мурьянов М. Ф. О Минее Дубровского. — ВЯ, 1981, № 1.
7. Мурьянов М. Ф. О старославянском *искрь* и его производных. — ВЯ, 1981, № 2, с. 122—123.
8. *Analecta Hymnica Graeca, VII. Canones martii*. E. Tomadakis collegit et instruxit. Roma, 1971, p. 322.
9. *Der kleine Pauly*, 5. München, 1975, Sp. 374.

МАЛКОВА О. В.

## К ПРОБЛЕМЕ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ И РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ИКАВИЗМА

Существование связи между процессом падения редуцированных гласных и начальными стадиями развития украинского икавизма на базе праславянских *o* и *e* перед слогом со слабым редуцированным не вызывает сомнения у славистов. В то же время вопрос о характере этой связи до конца не решен, что отрицательно сказывается на трактовке содержания обоих процессов. В настоящее время доминирует гипотеза, которая рассматривает развитие качественных изменений *o* и *e* как процесс, обусловленный заместительной (заменительной, компенсационной, возместительной) долготой, возникшей в положении перед слогом со слабым редуцированным. Этот процесс включал в себя дифтонгическую стадию, был единым для всей украинской языковой территории, хотя неравномерно протекал в разных ее областях [1, с. 40—41]<sup>1</sup>. Схема развития чаще предусматривает древнее (праславянское) происхождение заместительной долготы *o* и *e* [2] и незначительное хронологическое расстояние с распределением редуцированных гласных на сильные и слабые. Заместительная долгота *o* и *e*, появление сильных (продленных) редуцированных считается результатом сокращения (девокализации) редуцированных гласных в следующем слого, связывается с рецессией ударения и возникновением новоакутовой интонации [3, с. 40]. Согласно другому мнению, заместительная долгота была обусловлена утратой слабых редуцированных в следующем слого и возникновением новых закрытых слогов, в этом случае она датируется приблизительно серединой XII в. [4, с. 51].

В предлагаемой статье некоторые аспекты названных выше проблем рассматриваются на материале группы рукописей южнорусского происхождения. Используются материалы Галицкого евангелия 1144 г. (ГИМ, Син. 404), Типографского евангелия № 6 XII в. (ЦГАДА, ф. 381, № 6), Выголексинского сборника XII в. [5], Добрилова евангелия 1164 г. (ГБЛ, ф. 256, № 103), Галицкого евангелия 1266—1301 гг. (ГПБ, Ф. п. I. 64).

Эти рукописи засвидетельствовали одновременное и параллельное развитие рефлексов *o*, *e* и *ъ*, *ь*. Если справедлива гипотеза о праславянском происхождении заместительной долготы и отсутствии большого промежутка времени между ее возникновением и разделением редуцированных гласных на сильные и слабые, значит, в говорах, отразившихся в рукописях, развитие *o*, *e* и *ъ*, *ь* шло синхронно и параллельно в течение многих веков — с праславянского периода до XIII в. В таком случае при оценке этих процессов полезно рассматривать их вместе, учитывая особенности и того, и другого. Такая постановка вопроса открывает в проблеме новые стороны.

Факт одновременного отражения древнерусскими рукописями появления *o* и *e* на месте сильных редуцированных гласных и *ѣ* (новый *ѣ*) на месте *e* перед слогом со слабым редуцированным в науке установлен давно [4, с. 51]. Новый *ѣ* внутри неодносложных слов наблюдается в рукописях перед слогами, содержащими слабые *ь* и *ї* (перед мягким согласным). Отсутствие нового *ѣ* перед слогом со слабым *ъ* (перед твердым согласным) чаще объясняют тембовыми отличиями такого *e* от *ѣ*, но существует и

<sup>1</sup> В указанной работе см. литературу вопроса.

мнение, что продления *e* в этих условиях не было (см. подробнее [6, с. 51—55]). Особые рефлексy *o* слабо отражены южнорусскими памятниками письменности. Чаще это относят на счет графической традиции — отсутствия специального знака [6, с. 50], иногда объясняют поздней дифтонгизацией *o*². Для современного состояния разработки проблемы характерно признание непрерывной самостоятельности рефлексов *ō* и *ē* в истории украинского языка, синхронности их развития (рефлекс *ō* — заднерядный коррелят *ē*) и дифтонгичности как этапа на пути их преобразования в *i* в южноукраинской зоне. Предполагается, что об акустико-артикуляционной природе древних рефлексов *ō*, *ē* в какой-то мере дают представление гласные неоднородной артикуляции типа  $\overset{u}{o}$ ,  $\overset{y}{o}$ ,  $\overset{i}{e}$ ,  $\overset{i}{e}$ , распространенные в правобережнополюсских украинских и соседних белорусских говорах [1, с. 51]. Дифтонгическая стадия датируется второй половиной XII в. (одновременно с общим падением редуцированных и появлением нового *ѣ*) и более поздним периодом.

Исследованные нами рукописи позволяют наблюдать поэтапное параллельное изменение сильных редуцированных гласных в *o*, *e*, а *e* в *ѣ*³.

В Галицком евангелии 1144 г. не имеется достоверных примеров, отражающих вокализацию сильных редуцированных, отсутствует и новый *ѣ*. В первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. вокализация редуцированных отражена приблизительно в 16% имеющихся написаний (общее их число — около полутора тысяч), во втором почерке — приблизительно в 30% написаний (общее число около двухсот). В обоих почерках имеется новый *ѣ*. Заметны общие тенденции в распределении орфограмм с *ъ*, *ь* — *o*, *e* и с *e* — *ѣ*. Сходная картина наблюдается в Выголексинском сборнике XII в.

Вне сочетаний с плавными между согласными вокализация редуцированных гласных и новый *ѣ* засвидетельствованы большим количеством примеров в тех категориях морфем, где *ъ*, *ь* и *e* находились в большинстве форм перед слогом со слабым редуцированным или в суффиксах и окончаниях, особенно если имелись сходные суффиксы и окончания, содержавшие *o* и *e*. Вокализация редуцированных гласных засвидетельствована преимущественно в основах *шьдъш-*, *тъмън-*, *довъльн-*, *възньз-*, *гарьм-*, *бьхъм-*, в суффиксах *-ъв-*, *-ък-* (ср. суф. *-ов-*, *-ок-*), в окончаниях основ на согласный, *и*, *й* (ср. окончания *o*, *jo*-основ), в окончаниях твор. пад. ед. ч. имен-*ъмь*, *-ъмь*, в словах *къгда*, *тъгда*, *къждо* (полагают, что в древности существовали параллельные образования с *къ-ко-* и *тъ-то-*). Новый *ѣ* часто пишется в форме 3-го л. ед. ч. глаголов на *-еть*, в суф. *-ение* (ср. суф. *-ѣние*), в других категориях случаев — редко. Располагаем следующими материалами. В первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. имеются примеры: *възньзъ* 147г, *въшедъ* 54а, *гаремъ* 41г, г, *крьмъника* 166б и некот. др. во втором почерке: *вонъ* 131г, *деньми* 211г, *жерци* 42а, а, 84б, 92в, *възньзъ* 204а, 205в, 208б, 210б, 212а, *оцетъ* 208г, 210б, *въшедъ* и др. 131в, в, 204б, 205б ... 27 раз (с *ъ* основа написана 7 раз), *сънемъ* 206б; в Выголексинском сборнике XII в.: *бехъма* 74об, 87об, 92, 115, *бехма* 82, 89об, *довольнъ*, *довольною* 132об, *темьнии* 12об, *пришествиемъ* 106об, *пришествие* 15б, 163, *съшествие* 148об, *низъшедъ* 56об., *шьдъшему* 106об, *зашедъша* 131, *съшедъ* 151, *въшедъше* 159 и т. д., всего 15 раз в данном корне.

В окончаниях твор. пад. ед. ч. имен буквы *ъ* и *ь* употреблены в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. около 20 раз, а *o*, *e* —

² А. М. Селищев писал по этому поводу: «Почему долго нет указаний на дифтонгизацию *o* (на  $\overset{u}{o}$ )? Потому, что дифтонгизация *ē*, *ō* вслед за утратой слабых *ъ*, *ь* не происходило: были не дифтонги, а долгие, напряженные (закрытые) гласные  $\overset{e}{e}$  (передавалось посредством *ѣ*, как и общерусский заменитель более раннего *ѣ*) и долгий напряженный гласный  $\overset{o}{o}$ . Только спустя какой-то период времени стало происходить выделение в первой части образования гласного — выделение элемента более высокого образования:  $\overset{e}{e}$ ,  $\overset{u}{o}$ ...» [7].

³ Факты, на основе которых отражение редуцированных гласных и нового *ѣ* в рукописях признается адекватным языковому состоянию, частично изложены в другой работе [8, с. 109—110].

около 150 раз: *дѣломъ* 2г, *недоугомъ* 16а, *словомъ* 2г, *именемъ* 34г, 45в, *словесемъ* 67а-б, *днѣмъ* 111г и др. Во втором почерке -*ъмъ*, -*ьмъ* написаны 4 раза, -*омъ*, -*емъ* — 17 раз. В Выголексинском сборнике XII в. писец 19 раз исправил окончание -*омъ*, на -*ъмъ*, 12 примеров остались не исправленными: *миромъ* 32, *бѣтствомъ* 36, *взоромъ* 50об, *патриархомъ* 158об, *именемъ* 2 и др.

В суффиксах -*ьв*-, -*ьк*- буква *о* написана в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. 23 раза, буква *ъ* — 13 раз: *смоковницею* 4в, в, *смоковь* 61б ... 11 раз в данной основе, *жърновъ* 58б, 127б, *сѣкровъ* 38в, *опръснокъ* 122а, б... 7 раз, *кротокъ* 166б, *крѣпокъ* 141б. Буква *е* употреблена в составе других суффиксов 7 раз: *жречьскимъ* 39б, 60в, 122б, 140а, *бѣчтець* 28б, *самарянескъ* 222г, *болень* 179а, случаев сохранения *ь* очень много. Во втором почерке Типографского евангелия № 6 XII в. имеем: *внѣць* 207б, 210г, *конѣць* 210б, *неповинень* 210в, *свѣтель* 245в, буквы *ъ*, *ь* употребляются в составе разных суффиксов 9 раз. В Выголексинском сборнике XII в. буквы *о*, *е* написаны в значительном количестве примеров: *потребень* 9б, *недостатокъ* 15об, *любовъ* 48, 96об, 144, 160об, 161об, 170, *любовьничѣ* 170об, *бжествьнымъ* 40об и др. В Типографском евангелии № 6 XII в. употребляются буквы *о* и *е* и в окончаниях: *въ домохъ* 40в, *дверемъ* 7а, *людъмъ* 88б, 116г, 117б, *людемъ* 206г и др.

В сочетаниях на плавный буквы *ъ* и *ь* написаны в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. 460 раз, буквы *о* и *е* — 9 раз (приблизительно 2% от общего числа орфограмм): *изверзи* 32а, 58в, *извержется* 191в-г, *разверзая* 235а, *извергыша* 50г, *сквернать* 42б, *истергьте(с)а* 53в, *черленюу* 202б, *наполниша* 83б. Во втором почерке буквы *ъ*, *ь* употреблены 63 раза, буквы *о*, *е* — 4 (менее 6%): *червлюю* 210г (вместо *червленюу*), *полною* 252а, *наполнивъ* 28а-б, *терниа* 210г. В Выголексинском сборнике XII в. имеется 18 примеров с *о* и *е* (общее число написаний 320): *ѡвергоуа* 7, *берниа* 8об, *жертва* 22об, 164 об, *поверзи* 31, *сѣвершити* 80об, 131об, *полною* 8об, *гордостию* 90об, *гордаго* 142 и др. В сочетаниях на редуцированный в соответствии с сильными *ъ* и *ь* буквы *ъ*, *ь* употреблены в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. 44 раза и 1 раз — *о* (*плотъ* 144г), во втором почерке есть только *ъ* и *ь* — 16 раз. В положении перед слогом с гласным полного образования буквы *о*, *е* употреблены в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. 1 раз — *кровоточива* 51б (буквы *ъ*, *ь* написаны свыше 120 раз), во втором почерке — 2 раза — *треми* 207г, 211г (буквы *ъ*, *ь* употреблены 12 раз). В Выголексинском сборнике XII в. имеется 4 примера с *о*, *е*: *сѣкровища* 1б, 35, *скрежете* 24об, *кровию* 169.

В первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. в формах 3-го л. ед. ч. глаголов новый *ѣ* употреблен 370 раз, при 220 случаях с *е* — *боудѣтъ* 4г, *градѣтъ* 9г и т. д.; во втором почерке имеется 17 примеров с новым *ѣ*; в Выголексинском сборнике XII в. примеров с *ѣ* свыше 30: *боудѣтъ* 1, 5об, *въстанѣтъ* 3, *ведѣтъ* 17об, и т. д. В именах существительных на -*еницъ* новый *ѣ* употреблен в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в. 47 раз, при 185 случаях с *е* — *камѣниемъ* 121а, 133а, и т. п.; во втором почерке таких примеров не встретилось, но текст, написанный этим писцом, небольшой по объему; в Выголексинском сборнике XII в. около 20 примеров с *ѣ*: *камѣниѣ* 29, *сѣмѣрѣниѣ* 45, 47 об, *сѣставѣниѣ* 47об, 57об, *погребѣниѣ* 150 и др.

Вне названных категорий новый *ѣ* внутри неодносложных слов пишется редко. В первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в.: *камѣнь* 68а, 121а, 137а, *въ нѣмъ* 67в, *сѣмѣньныа* 68б, *иноплемѣньникъ* 123б и др.; в Выголексинском сборнике XII в.: *камѣнь* 28, 144, *пламѣнь* 30, *стенѣнь* 35, *корѣнь* 62об, *камѣньно* 100об, *несѣмѣрѣньно* 123, *пѣщъ* 26об, *вѣщъ* 4б ... 9 раз и некот. др.

В отрицании новый *ѣ* в рукописях не засвидетельствован. Вокализация сильных редуцированных в предлогах отражена только двумя примерами: *ото книгъчи* 120б (в первом почерке Типографского евангелия № 6 XII в.), *ко естъмъ* 48об (в Выголексинском сборнике XII в.). Оба случая употребления *о* в предлогах приходятся на позицию перед корнями слов,

где предполагают раннюю утрату редуцированных, до начала так называемого общего падения редуцированных.

В Добриловом евангелии 1164 г. вокализация редуцированных последовательно отражена внутри неодносложных слов (*торжище, вопль, болень*), кроме образований с односложными приставками (см. подробнее [8]). Последние содержат *въз-, съ-, въ-* 190 раз, *воз-, со-, во-* — 60 раз (24% от общего числа написаний). Новый *ѣ* употребляется внутри всех неодносложных слов, где для его появления имелись условия, но не проводится столь последовательно, как вокализация сильных редуцированных гласных. Наличие нового *ѣ* не обусловлено ударением. Часто употребляется новый *ѣ* в форме 3-го л. ед. ч. наст. вр. глаголов *боудѣтъ* 6в, *придѣтъ* 11а и т. д. В отглагольных существительных на *-ение* буква *е* написана 184 раза, буква *ѣ* — 51 раз (21%): *оучѣнье* 19в, *помышлѣнья* 32в, *крыщѣнья* 75в, *граблѣнья* 79б, *въскрьсѣнья* 76г, *знамѣнья* 80г, *рождѣнья* 96в, *падѣнья* 51б и т. д. В формах слов *корѣнья* 58а, *зѣлья* 60г, *камѣнья* 25в, 27в, г и т. д. новый *ѣ* употреблен 11 раз (42%), буква *е* — 15 раз. В основе *сѣдѣтельствѣ* буква *е* перед *ѣ* использована 20 раз, буква *ѣ* — 31 раз (60%): 8в, 11г, г, 20в и т. д. Пишется новый *ѣ* в словах на *-тель*: *оучитѣль* 50б, *дѣлатѣль* 48в (много случаев), в корнях слов: *сѣдѣ* 74а, *нѣщѣ* 61б, *ремѣнь* 3г, *камѣнь* 14а и в других.

Распределение орфограмм *не:нѣ, въ, съ, къ:во, со, ко, нѣ:но* приблизительно одинаково в позиции перед слогом со слабым редуцированным гласным. Орфограммы *нѣ, во, со, ко, но* составляют соответственно 48%, 52%, 35%. Перед буквами гласных *нѣ, во, со, ко, но* употребляются редко, принципиальной разницы в распределении *не, въ, съ, къ:нѣ, во, со, ко* не наблюдается. Предлоги в позиции перед слогом со слабым редуцированным (*во, мнѣ, ко мнѣ, со мною, во тѣмѣ*) передаются через *въ, съ, къ* 130 раз, через *во, со, ко* — 144 раза (52% от общего числа написаний). В позиции перед буквами гласных предлоги на *-о* употребляются редко (*во има, во истину*), несколько выше процент таких написаний перед *и*, где реконструируется группа *\*іь* (эта позиция, таким образом, может быть отнесена к числу сильных). Союз *нѣ* передается через *но* в позиции перед слогом со слабыми редуцированными в 35% написаний (6 раз из 17), два раза перед рефлексом группы *\*іь* (*но имъ же*), один раз перед словом под титлом (*но спстѣ*). Всего орфограмм *нѣ* — 258 (97% от общего числа написаний), *но* — 9 (3%). Орфограмма *нѣ* употребляется не только перед слогом, содержащим слабые *ѣ, ѝ*, но и перед слогом, содержащим слабый *ѣ*. Это свидетельствует в пользу доминирующей точки зрения, согласно которой особые рефлексы *ѣ* имелись перед всеми слогами со слабыми редуцированными. Распределение орфограмм *не:нѣ* содержит табл. 1.

Таблица отражает следующие примеры: *нѣ много* 35в, 221а, *не* — 1 раз, *нѣ съмахоу* 150а, 244г, *не* — 1 раз, *нѣ всегда* 191г ... 4 раза, *не* 4 раза, *нѣ пѣцѣса* 45г, г, 49г, 51г ... 7 раз, *не* 1 раз, *нѣ чѣтѣтъ* 11а, *не* — 2 раза, *нѣ чѣстоуеѣтъ* 64б, *нѣ чѣствоваеѣше* 147а, *нѣ крѣстишиа* 130а, *нѣ въведи* 188а, 209а, *нѣ вѣда* 144а, *нѣ въпросите* 37б, *нѣ въсхотѣсте* 80а, *нѣ възахомѣ* [так в рукописи] 66г, 67а и т. д. 3б раз, *нѣ сѣтвориеѣ* 134г, *нѣ съблюдактѣ* 220в, *нѣ сѣрѣшиаи* 18а, *нѣ съблазните* 17а и т. д. 6 раз.

В положении перед начальными *а, о, и, ѣ* следующего слова употребляется только *не*: *не оба ли* 114в, *не обижю* 72б, *не обрѣте* 73г, *не азѣ* 175а, 227г, *не алчють* 47б, 85в, *не акы* 84в и др. Перед *оу* орфограмма *нѣ* использована 13 раз: *нѣ оубоитеса* 50б, в, 131в, *нѣ оувѣсть* 66а, *нѣ оувѣстьса* 50б, *нѣ оужасаитеса* 14б, *нѣ оумртѣ* 30г, *нѣ оучьса* 19в, *нѣ оумывають* 64а, 100б, *нѣ оумираеѣтъ* 157б, *нѣ оугасаеѣтъ* 157б, *нѣ оу* 13а. Перед начальным *и* процент орфограмм *нѣ* приближается к проценту этих орфограмм в позиции перед слогом со слабым редуцированным, среди слов с начальным *и* есть такие, где *и* отражает рефлексы группы *\*іь*: *нѣ имате* 15в, в, 20б, 22г, 23а ... 6б раз, *не* — 53 раза, *нѣ имѣють* 69в, 202г, *не* — 2 раза, *нѣ идоуть* 26в, 49а, 76а, *не* — 5 раз, *нѣ изидѣтъ* 81а, *нѣ иждѣноу* 15в, *нѣ исповѣдахоу* 32а, *нѣ изьмѣтъ* 55г ... 7 раз, *не* перед приставкой написана 11 раз, *нѣ ищю* 11г, г, 24г, 134б, 142а, *не* — 1 раз, *нѣистовѣ* 27а, 81г, 88а, *не іса дѣла* 197г, *не иже ли* 130б.

| Отражение в Добриловом евангелии 1164 г. отрицания, за которым следуют: | Употреблены орфограммы |    | Орфограмма нѣ (в %) |
|---|------------------------|----|---------------------|
|   | не                     | нѣ |                     |
| корень со слабыми ѣ, ъ  | 9                      | 19 | 66                  |
| сѣ-   | 11                     | 6  | 35                  |
| ѣѣ, ѣѣ-   | 46                     | 36 | 43                  |
| и-  | 74                     | 86 | 55                  |
| оу-   | 68                     | 13 | 16                  |
| о-  | 110                    | —  | 0                   |
| а-  | 5                      | —  | 0                   |

Таблица 2

| Отражение в Галицком евангелии 1266—1301 гг. отрицания, за которым следуют: | Употреблены орфограммы |    | Орфограмма нѣ (в %) |
|---|------------------------|----|---------------------|
|   | не                     | нѣ |                     |
| слог со слабыми ѣ, ъ  | 92                     | 29 | 17                  |
| и-  | 102                    | 51 | 33                  |
| оу-   | 53                     | 8  | 13                  |
| ѣѣ вместо оу-   | 12                     | 2  | 14                  |
| о-  | 108                    | 5  | 4                   |
| а-  | 4                      | —  | 0                   |

В Галицком евангелии 1266—1301 гг. сильные редуцированные гласные внутри неодносложных слов обычно передаются через *о* и *е*, за исключением односложных приставок, где процент орфограмм *во-*, *со-*, *ко-* ниже. В корнях слов (*золъ, ложь, день*) буквы *о*, *е* написаны 844 раза, *ѣ*, *ѣ* — 20 раз, в суффиксах и окончаниях (*жерновѣ, людехѣ*) написаний с *о*, *е* около 500, с *ѣ*, *ѣ* — 14. Односложные приставки отражаются орфограммами *во-*, *со-*, *во-* 135 раз (*возьми, сожжеть*), при 116 *ѣѣ*-, *сѣ*-, *ѣѣ*-. Появление нового *ѣ* не обусловлено ударением, он засвидетельствован приблизительно 400 раз. Почти постоянно употребляется новый *ѣ* внутри неодносложных слов, кроме форм 3-го л. ед. ч. глаголов (*боудеть, придет*). Почти регулярно употребляется новый *ѣ* в словах на *-тнннн*, *-тннннн*, *-тѣл(ство)*, в словах *сѣдѣмь, нѣщѣ* и некоторых других: *оучитѣлѣ, оутѣшитѣлѣ* и т. п. 4а, 24б ... не менее 44 раз, *ремѣнѣ, перѣстѣнѣ, камѣнѣ* 2б, 10бг, 8г ... не менее 29 раз, *ѣѣ нѣщѣ, дѣщѣрѣ, матѣрѣ* 34в, 29г, 59г ... не менее 12 раз, *штѣсть, сѣдѣмь* 6а, 37г ... не менее 16 раз, *исполнѣннѣ* 2а, *по ѣѣзѣмоуѣтѣннѣ* 11б, *ѣѣзнѣстѣннѣ* 21в, *остаѣлѣннѣ* 22а, *о ѣѣчѣтѣннѣ* 12г, *оучѣннѣ* 12г, *хоулѣннѣ* 5бв, *камѣннѣ* 16г, 112а ... более 200 раз.

Односложные предлоги в позиции перед слогом со слабым редуцированным, перед *и*, *оу* обычно отражаются через *во*, *со*, *ко*, перед *а*, *ѣ*, *ѣ* — через *ѣѣ*, *сѣ*, *кѣ*. Перед *о* предлоги на *-о* употребляются редко. Союз во всех позициях передается через *нѣ* и *но*, орфограмма *но* несколько преобладает. Распределение орфограмм *не:нѣ* отражает табл. 2.

Орфограмма *нѣ* употребляется перед слогом с *ѣ* и *ѣ*: *нѣмногѣ* 4в, 23в, *нѣ все* 20а, 29а, 53б, 30г, *нѣ мнѣте* 8а, *нѣ пѣчѣтѣса* 30б, б, 33а, 34в, *нѣчто* 73г и т. д. Большая часть слов с *и* в начале, перед которыми употребляется в отрицании новый *ѣ*, содержала группу \**ѣѣ*: *нѣ имѣуть* 6а, 10г, *нѣ имѣте* 7г, *нѣ имѣть* 9г, г, 13б, *нѣ имѣмѣ* 15а, б и т. д., всего 39 раз, *нѣ имѣше* 75в, *нѣ ищѣю* 16б, *нѣ изидѣте* 88в, *нѣ испѣвѣдахоу* 21б и т. д. Приведем другие примеры: перед *оу*, *ѣѣ* (вместо *оу*): *нѣ оумѣраѣть* 97в, *нѣ оумѣрѣть* 9б, *нѣ ѣѣгасѣаѣть* 169в, *нѣ оуѣстѣть* 43в, *нѣ оуѣсѣа* 19в, *нѣ ѣѣвѣдѣша* 65в, *нѣ ѣѣгасѣаѣть* 97в. Пять орфограмм *нѣ* употреблены перед словами, которые начинаются с *о*: *нѣ обѣноуѣса* 13а, *нѣ обѣртахоу* 91а-б, *нѣ остаѣнѣуть* 152в, *нѣ обѣдѣте* 161в, *нѣ отѣ мира сѣго* 141г.

Таким образом, в Галицком евангелии 1266—1301 гг. наблюдается сходство в отражении сильных редуцированных и нового *ѣ* внутри неод-

носложных слов. В односложных словах картина пестрая: *нъ* и *но* употребляются во всех позициях, причем *но* несколько преобладает, имеется различие в отражении односложных предлогов (*въ* и *сѣ*, *кѣ*), в отрицании новый *ѣ* идет на убыль, ликвидирован он в формах 3-го л. глаголов на *-еть*<sup>4</sup>.

После работ А. И. Соболевского традиционно считается, что в Галицком евангелии 1266—1301 гг. особые рефлексы *о* отражены достаточно надежными примерами [4, с. 51]. При анализе важно учитывать, где было начало слова. Задача исследователя облегчается тем, что в рукописи употребляются две буквы в соответствии с *о*, которые имеют разное распределение. Большое круглое *О* (передаем его прописной буквой *о*) регулярно пишется в начале слова (*Оба*), употребляется в предлоге *О* (*О вѣхъ*), используется в середине заимствованных имен собственных после букв гласных (*клеОна*), в единичных случаях — внутри славянских сложных слов и приставочных образований, когда корень начинается с *о* (*нрѣОбрацеть*). Во всех других случаях употребляется узкое *о* (*но*). Перечислим все необычные написания, которые содержатся в рукописи. Вместо *о* 5 раз написано *во* в основах *овьц-/овьч-*, *огньн-*: *поуцаю вы аки вовьца* 32г, *поражю пастоуха и вовьчъ разбѣгнууться* 108а, *разлоучаетъ пастырь вовьчѣ Ѡ козлищѣ и поставитъ вовьчѣ Одесноу себе* 111а, *въ ѳезеро вогньо* 97г. В последнем примере *в* определенно является частью прилагательного, а не предлогом (нельзя делить: *въ ѳезеро в огньо*), так как в этом случае *огньо* начиналось бы узким *о*, кроме того, перед буквами гласных односложные предлоги *въ*, *сѣ*, *кѣ* всегда передаются через *въ*, *сѣ*, *кѣ* и *во*, *со*, *ко*, но не *в*, *с*, *к*, в частности, перед начальным *о* следующего слова орфограмма *въ* употреблена 297 раз: *въ Одежю* 9а, *въ Огнь* 24а, *въ Очи* 43б и т. д. В трех примерах дублируется начало слова буквами *во* и *О*: *на во Овчи коупѣли* 11а, *приходатъ кѣ вамъ О Одежахъ во Овчихъ* 30в, в Добриловом евангелии 1164 г. *въ одежахъ овчѣхъ, дѣю свою полагаю за во Овьца* 150в. Ср. другие случаи двойной передачи фрагментов слов разными способами. Например: *двѣлахоу.с.а о вѣоучѣнны* 10г 125б, вместо *оучѣнны* или *вѣчѣнны*, *Ѡ съсна* 157в, *по състоу* 62б, вместо *сна*, *стоу* или *съна*, *сътоу*, *написати въ вселенюу* 157г, *ѳеуевѣфимые* 153а, ср. *ѳевѣфимые* 167б. Один раз употреблены лишние буквы *въ* перед словом, которое начинается большим круглым *о*: *не приидеть црѣтво бж҃ье съблюдѣнѣемъ, не рекоуть съде или въ Онѣде, се бо црѣтво, бж҃ье оутрьоудоу въ васъ ѳеть* 88б. Ср. ниже: *и рекоуть вамъ се съде се Онѣде хѣ* 88в. Не менее 10 раз использован предлог *во(въ)* вместо *о*, в том числе шесть раз перед начальным слогом с утраченным редуцированным и четыре раза перед начальными *и*, *о*, *въ* (на месте *оу*). Предлог *о* имеет в этих случаях разные значения, чаще — «относительно, об»: *азъ свѣдитѣльствоую во мнѣ* 7в, в Добриловом евангелии 1164 г. *о* 11г, *вси съблзните.с.а во мѣ/нѣ* 108а, в Добриловом евангелии 1164 г. *о* 175а, *ѳако во іоанѣ... рѣчѣ имѣ* 44г, в Добриловом евангелии 1164 г. *о* 68б, *мнѣша ѳако во въ/спѣнны... глеть* 120б, *и въ Одежи что са печете* 34б, *писаное... да сконьчаються во мнѣ* 113а. В трех примерах предлог имеет значение «для, ради»: *добро бо дѣло, съдѣла во мнѣ* 105г, *дѣло бо добро съдѣла во мнѣ* 130в, *добро бо дѣло съдѣла во мнѣ* 154б. В одном примере предлог имеет значение «с помощью, посредством»: *видѣхомъ иного во имени твоємъ изъгонѣща бѣсы* 76в-г, в Добриловом евангелии 1164 г. *о имени* 122в. Предлог *о* вместо *во* написан не менее шести раз, в том числе четыре раза перед начальным слогом с утраченным редуцированным и два раза перед начальными *и*, *о*; предлог *во* во всех этих случаях имеет свое основное пространственное значение «в, внутри»: *ѳако О мнѣ Оцѣ и азъ въ Оци* 18в, в Добриловом евангелии 1164 г. *въ* 28а, *за слово ѳеже глахъ вамъ боудѣте О мнѣ и азъ оу васъ* 136г, *си глахъ вамъ да О мнѣ миръ имате* 25б, *прииди Ѡсюдоу иди о иудѣю* 12б, должно быть *во иудѣю*, как в Добриловом евангелии 1164 г. 19а, *иже*

<sup>4</sup> О процессах аналогического выравнивания рефлексов *е*: *ѣ* в памятниках письменности XIII в. уже писали исследователи [9, с. 301—302].

приходать къ вамъ О Одежахъ во Овчихъ 30в, в Добриловом евангелии 1164 г. въ одежахъ овчяхъ, иродъ ...изби вса младѣнца съсоущага въ виѳлиомѣ и о всѣхъ прѣдѣлахъ ѿ двою лѣтоу и ниже 159а, в Добриловом евангелии 1164 г. во всѣхъ прѣдѣлахъ ѿ двою лѣтоу и ниже 254в. По-видимому, два примера являются простыми описками: ни *ОО/гнь нѣвъгасающии* 97в, *въ/въ Огнь* 50б.

Далее, есть все основания трактовать орфограмму *въ/змоужьно* (вместо *възможно*) 87г как свидетельство в пользу наличия особого рефлекса *о* в новых закрытых слогах. Эта ошибка не укладывается в рамки характерных для писца ошибок [10]. В рукописи есть значительное число пропусков фрагментов слов, реже встречаются двойные написания и замены одной буквы другою. Удалось заметить только два примера замены двух букв одной или наоборот: рассматриваемый пример *въ/змоужьно* 87г и *снѣ ѱсифовъ* 68а, в Добриловом евангелии 1164 г. *иосифовъ* 108г. Писец иногда не дописывал составные буквы, в том числе диграф *оу*, например: *пости* 59б, *посто* 42а, 62а, *ѿпоцю* 115а, где писец, по-видимому, забыл поставить над буквой *о* усики, чтобы получился «ук». В рассматриваемом примере *въ/змоужьно* вместо одной буквы употреблены две, т. е. вышнее написание более сложно, чем правильное.

Рефлексы заместительной долготы гласных перед слогом со слабым редуцированным наблюдаются в различных славянских языках, появление заместительной долготы слависты чаще датируют поздним праславянским периодом. Прочитируем два кратких высказывания, которые характеризуют существо явления: «В одном случае результаты заместительной долготы отражены во всех славянских языках. Речь идет о так называемой „сильной“ позиции сверхкратких гласных. Однако в некоторых славянских языках заместительному продлению подверглись и нормальные гласные» [11, с. 272—273].

«Приведем бесспорный случай удлинения *о* в форме именительного падежа единственного числа, ставшей односложной вследствие падения редуцированного: общеслав. *bog*, род. п. *boga*, откуда (по языкам) \**bōg*, *boga*: серб. и чак. *bōg*, *bōga*, слов. *bōg*, *bogā*, чеш. *būh*, *boha*, польск. *bōg*, *boga*, укр. *big*, *boга*. Это явление засвидетельствовано во всех группах славянских языков, но не везде в одних и тех же условиях» [12, с. 86].

В украинском языке позиционное распределение вариантов *о*, *е*, *ъ*, *ь* на «сильные» и «слабые» описывается одним правилом — правилом Потетби — Гавлика, выработанным на материале редуцированных гласных и достаточно хорошо описывающим большинство рефлексов редуцированных в славянских языках. Это надежно свидетельствует о единых истоках и параллельном развитии явлений. Кроме того, данный вывод подтверждают памятники письменности XII—XIII вв. Таким образом, есть серьезные основания считать, что в будущих украинских говорах гласные *ъ*, *ь*, *о*, *е* развивались приблизительно синхронно и параллельно с праславянской эпохи до XIII в. В подобной ситуации кажутся необходимыми попытки единого подхода при изучении падения редуцированных гласных и начальных стадий развития украинского икавизма, одновременный учет фактов, касающихся обоих процессов. Если оценивать эти процессы в единстве, возникнут вопросы. Рассмотрим один из таких вопросов.

При конвергенции «сильного» *е* с *ъ* (*камень* > *камѣнь*) «слабый» *е* в формах того же слова остался без изменения (*камѣне*). В таком случае, действительно ли находилась конвергенция сильных *ъ*, *ь* с *о*, *е* (*дѣнь*, *сѣнь* > *дѣнь*, *сон*) в тесной связи с утратой слабых редуцированных (*дѣни*, *сѣна* > *дни*, *сна*), как полагают некоторые ученые [13]? Далее, широко распространено мнение, что вокализация сильных редуцированных гласных (конвергенция с *о* и *е*) была обусловлена утратой (нулизацией) слабых редуцированных гласных в следующем слоге (*дѣнь* > *дѣнь*, *сѣнь* > *сон*); при этом предполагается существование второй «волны» заместительного удлинения (первая «волна» прошла в праславянском языке и обесценила распределение редуцированных гласных на сильные и слабые). Встает вопрос: как сказались нулизация слабых редуцированных гласных на рефлексах *ō* и *ē* и могло ли обеспечить «затухание» слабого редуцированного

гласного, уже пережившего одно сокращение в праславянскую эпоху, ту последовательность в вокализации сильных редуцированных, которая засвидетельствована древнерусскими рукописями (а также и в появлении нового ъ)? Сошлемся на показания Добрилова евангелия 1164 г. — первой рукописи, отразившей общее падение редуцированных гласных в древнерусском языке. В Добриловом евангелии употребление букв *o* и *e* на месте сильных редуцированных составляет в сочетаниях на плавный (*торжища, верха*) — 100% (общее число написаний — 654), в сочетаниях на редуцированный (*кровь, трость*) — 98% (60 случаев), в корнях слов (*вошь, дождь*) — 96% (843 случая), в суффиксах и окончаниях (*жерновъ, боленъ*) — 99% (638 случаев). Такое единство и одновременность рефлексов могут быть только результатом длительного развития, оно должно быть подготовлено всей предшествующей историей редуцированных.

Есть и другие факты в рукописях, которые не в состоянии объяснить гипотеза, связывающая вокализацию сильных *ъ* и *ь* с нулизацией слабых редуцированных в следующем слоге. Древнерусские рукописи не отражают прямой связи между утратой слабых редуцированных и вокализацией сильных редуцированных. В некоторых условиях слабые редуцированные были утрачены во второй половине XI в. (см., например, [9, с. 217—218]), в других условиях редуцированные продолжали удерживаться во второй половине XIII в. [8, с. 101 и сл.]. Конвергенция сильных редуцированных в большинстве слов произошла в середине XII в. «Несимметричное» развитие утраты слабых редуцированных и вокализации сильных редуцированных по данным древнерусских памятников известно давно и ранее трактовалось на языковой основе [4, 57—58; 11, с. 251; 14].

В течение последних десятилетий в отечественном языкознании неоднократно предпринимались попытки определить фонетико-фонологическое содержание (механизм и причины) процесса падения редуцированных в славянских языках [3, 15—17] и развития украинского икавизма [18]. Однако проблемы нельзя считать решенными. Есть основания считать, что предлагаемый в настоящей статье подход к ним и привлечение фактов древних памятников письменности поможет обнаружить в них новые аспекты и, тем самым, будет содействовать их дальнейшей разработке.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Назарова Т. В. К проблеме украинского икавизма. — ВЯ, 1971, № 2
2. Филин Ф. П. К истории исконных *o* и *e* в новых закрытых слогах. — Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1969, № 341, с. 351—352.
3. Журавлев В. К. Правило Гавлика и механизм падения славянских редуцированных. — ВЯ, 1977, № 6.
4. Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. 4-е изд., М., 1907.
5. Судник Т. М. Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII—XIII вв. — Уч. зап. Ин-та славяноведения, 1963, т. 27.
6. Булаховский Л. А. Питання походження української мови. Київ, 1956.
7. Селищев А. М. Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов. — *Slavia*, 1928, VII, 1, с. 42.
8. Малкова О. В. О принципе деления редуцированных гласных на сильные и слабые в позднем праславянском и в древних славянских языках. — ВЯ, 1981, № 1.
9. Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. — В кн. Энциклопедия славянской филологии, 11, Пг., 1915.
10. Малкова О. В. Ошибки писцов и лингвистическая интерпретация древних текстов. — ВЯ, 1979, № 6.
11. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
12. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1954, с. 86.
13. Поливанов Е. Д. Фонетические конвергенции. — ВЯ, 1957, № 3, с. 79.
14. Stanislav J. Dejiny slovenského jazyka. I. Úvod a hláskoslovie. Bratislava, 1967, s. 384.
15. Колесов В. В. Падение редуцированных в статистической интерпретации. — ВЯ, 1964, № 2.
16. Колесов В. В. К фонетической характеристике редуцированных гласных в русском языке XI в. — ВЯ, 1968, № 4.
17. Марков В. М. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.
18. Жовтобрюх М. А., Русанівський В. М., Скляренко В. Г. Історія української мови. Фонетика. Київ, 1979, с. 195—198, 273—287.

ПЕТР Я.

## О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ В РАЗВИТОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

В Международной целевой программе «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» сформулированы важнейшие задачи, которые поставлены перед Чехословацкой Академией наук в седьмой пятилетке в соответствии с планом международного сотрудничества академий наук европейских социалистических стран (эта программа была включена в план международного сотрудничества на совещании вице-президентов академий наук социалистических стран, состоявшемся в Праге в апреле 1980 г.). ЧСАН было поручено подготовить, а также в течение текущей пятилетки координировать работу над упомянутой целевой программой. По поручению Президиума ЧСАН в Институте чешского языка был разработан текст проекта целевой программы, представленный затем для рассмотрения и обсуждения Президиуму ЧСАН, который одобрил его на своем заседании 12 февраля 1980 г. На том же заседании была утверждена кандидатура главного координатора целевой программы (проф. Ян Петр).

В странах, принимающих участие в работе над международной целевой программой, на базе отдельных академических институтов (совместно с вузами) были образованы общегосударственные (в случае необходимости — национальные) комиссии по выполнению данной программы. Рабочее совещание представителей этих комиссий впервые состоялось в Либлице (ЧССР) 12—14 мая 1981 г. Организацию и фактическую подготовку этого совещания обеспечил Институт чешского языка ЧСАН, а также руководство чешской комиссии по выполнению программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе».

Основным итогом международного целевого проекта, а также результатом пятилетнего сотрудничества лингвистов НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР является коллективная монография объемом около 45 п. л. В задачи труда входит описание функционирования литературного языка на данном этапе развития социалистического общества, выявление роли человека в процессе сознательного регулирования функционирования языка. Тем самым мы будем иметь возможность противопоставить специфические особенности языка, характерные для современного периода социалистического общественного строя, той языковой ситуации, которая господствует в данном отношении в обществе капиталистическом.

В монографии разрабатываются проблемы, относящиеся к следующим тематическим направлениям:

- 1) Марксистско-ленинские принципы языковой политики в период развитого социалистического общества и его строительства;
- 2) Анализ и выявление роли социальных факторов, воздействующих на общественные функции и структуру национальных языков и форм их существования (т. е. литературных и нелитературных форм) в период развитого социалистического общества и его строительства;
- 3) Теоретические и методологические проблемы языковой культуры, в особенности проблематика задач языковой культуры, способов и средств регуляции и воздействия на язык, равно как и используемых при этом оценочных критериев (будут учтены как общие принципы, так исторически обусловленная специфика коммуникативной ситуации в отдельных национальных языках социалистических стран).

Координирование авторской работы, а также редактирование по первой теме было предложено советской комиссии, по второй теме — комиссии

из ГДР и по третьей теме — комиссии из ЧССР. Редакционную подготовку и издание монографии в целом обеспечит чехословацкая комиссия (монография будет публиковаться в ЧССР). По предложению чехословацких ученых, монография будет написана и издана на русском языке, в связи с чем советским товарищам предложили провести редактирование русского текста.

Некоторые национальные комиссии в зависимости от своих возможностей и степени заинтересованности смогут публиковать и другие работы, тематически примыкающие к указанной целевой программе, в которых они подробнее, чем это позволят рамки запланированного одного тома, остановятся на важных вопросах, касающихся указанных трех тематических направлений. Подобное намерение имеют наши советские товарищи, уже подготовившие подробный проспект будущего тома. Мы полностью поддерживаем подобные проекты и будем, разумеется, с большим интересом следить за ходом работы над ними. Далее мы ожидаем, что по мере подготовки монографии в странах-участницах целевой программы будут публиковаться журнальные статьи, затрагивающие некоторые вопросы, изучаемые в коллективной монографии.

Тематика программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» в целом входит в состав проблематики социолингвистики, поэтому и методологический подход, присущий всему труду, будет прежде всего носить социолингвистический характер [1]. В основу этого подхода положены марксистско-ленинская философия языка и диалектическое понимание соотношения между языком и обществом, в особенности соотношения между языковой политикой и функциями языка при марксистско-ленинском решении национального вопроса [2]. Мы специально останавливаемся на этом подходе потому, что благодаря ему будет создана надежная идейная и методологическая база для всего рассматриваемого труда. Сказанное будет творчески использовано при описании как общих, так и специфических явлений, при обобщении выводов, при анализе конкретных явлений. Мы сможем при этом использовать богатый опыт наших советских друзей, успешно изучающих эту проблематику уже в течение нескольких десятилетий. На основе марксизма-ленинизма в ряде социалистических стран были решены многочисленные практические и теоретические проблемы языковой политики. При изучении некоторых национальных языков в центре внимания находились вопросы языковых контактов — с учетом отношения этих языков к другим языкам (как во внутрисоюзных, так и в межгосударственных рамках), а также современных тенденций развития языков. Принималось во внимание, в частности, также то обстоятельство, что в наше время наблюдается интенсивное развитие словарного состава языков, а также сознательная унификация в некоторых терминологических сферах.

Вряд ли когда-либо в прошлом языковедам предоставлялись столь большие возможности для реализации своих исследований непосредственно на общественной практике, для участия в решении столь важных общественных задач. Нередко подобные исследования проводятся на фоне конфронтации с немарксистскими концепциями языковой политики, провозглашаемыми буржуазными политиками, языковедами, социологами или философами. Противоположность марксистского и немарксистского подходов к языковой политике, социолингвистике и языковой культуре проявляется также в понимании и осуществлении языковой политики в третьем мире этнических общностей, характеризующихся различным типом культуры.

После успешного решения этих основных социолингвистических проблем социалистическое общество поставило перед языкознанием как общественной наукой [3], учитывающей достижения естественных и технических наук, новые важные задачи. Эти задачи обусловлены многообразным функционированием языка в ходе осуществления научно-технической революции. Предметом научно-исследовательского изучения становятся проблемы функционирования, развития и взаимодействия языков во всех сферах человеческой деятельности, обеспечение коммуникации посредством

языка не только в отношении человек — человек, но также и в отношении человек — машина (роботика, автоматика, управление автоматами посредством устной речи и т. д.), проблемы языковой культуры, обусловленные потребностями строящегося или уже развитого социалистического общества, решение некоторых важных аспектов национального вопроса, а также рассмотрение других перспективных задач в области языковой политики.

Помимо того, что языковедение выполняет функции дескриптивную и экспликативную (прежде всего в связи с пониманием языка как иерархизованной структуры), при социалистическом общественном строе все более и более выдвигается на первый план также его активная регулирующая и кодифицирующая функция. Сказанное проявляется в целенаправленном воздействии на функционирование языка в обществе с целью повышения эффективности и оптимизации всесторонней коммуникации. Эта ни с чем не сравнимая роль языковедения, а также плодотворность деятельности лингвистов в нашем обществе уже получила всеобщее признание (впрочем, не всегда из этого делаются необходимые выводы). Существует многоуровневое многостороннее сотрудничество лингвистов с представителями различных технических специальностей, участвующих в создании и освоении новых профессиональных терминологических систем; результаты, достигнутые лингвистами, учитываются при рассмотрении и выработке решений по национальному вопросу, а также вообще при осуществлении языковой политики. Лингвисты-марксисты содействовали успешному решению и других сложных проблем современности.

Опираясь на философские основы марксизма-ленинизма [4], языковедение может прогнозировать направленность дальнейшего развития как самого языка, так и его функций, учитывая перспективы экономического и общественного развития социалистического общественного строя. Мы имеем здесь в виду прежде всего будущее развитие национальных языков, активное воздействие на этот процесс, предвидение появления в будущем некоторых новых его особенностей в рамках развития науки, при использовании языка в средствах массовой коммуникации, в технике, в процессе обучения языку, а также в процессе воспитания и профессионального образования широких народных масс. Об этом аспекте национального языка не следует забывать, поскольку в будущем он, несомненно, будет играть все большую роль. От анализа языкового явления необходимо перейти к его синтезу, а также к определению перспективных задач, в числе которых на первый план с неизбежностью выдвинутся проблемы отношения так называемых мировых языков и языков малых народов с учетом их практического функционирования и взаимовлияния. Ценные наблюдения при этом могут быть сделаны в результате социологического анализа нормы того языка, который оказывает влияние на другие языки, однако в первую очередь тех языков, которые воспринимают это влияние и после соответствующей адаптации в той или иной степени фиксируют его в специфических для них средствах выражения. Для некоторых языков стран социалистического содружества мы уже располагаем первыми результатами подобного анализа и сделанными на его основе методологическими наблюдениями. Эти исследования будут продолжены прежде всего с учетом запланированной тематики указанной выше коллективной монографии.

Нашими советскими коллегами были предложены несколько определенных языковой политики и соответствующие уточнения сферы их применения. Все эти определения, формулировка которых отличается лишь отдельными нюансами, объединяет то, что наряду с теоретическим обобщением языковых аспектов национальной политики они вместе с тем дают практические рекомендации относительно возможного воздействия на функционирование, развитие и взаимовлияние языков в рамках определенного государственного или национального целого. Некоторые специалисты ограничивают предмет языковой политики лишь языковым аспектом государственной политики по национальному вопросу; практическое же осуществление этой политики они относят к сфере языкового строительства, причем к языковому планированию причисляется намеренное и целена-

правленное воздействие на язык со стороны государства, общественных организаций, школы, а также видных деятелей политики, культуры и науки.

Из этой краткой характеристики предмета исследования и реализации языковой политики вытекает, что в первой части подготавливаемой монографии, помимо общетеоретических вопросов предмета, будут разрабатываться проблемы, касающиеся ситуации, характерной для всех европейских социалистических стран, и которые в каждой из этих стран получают специфическое воплощение. Это будет прежде всего теория марксистско-ленинской национальной политики и ее осуществления в странах социалистического содружества — в области культуры, в нормативно-языковой сфере, в сфере воспитания и образования, — теория, понимаемая как качественно новое общественное явление в истории данных наций (народностей). В монографии будут затронуты проблемы общественных функций языков национальных меньшинств в соотношении с функционированием языка, используемого в соответствующем государстве или же стране большинством населения, будет дан социологический анализ принципов кодификации литературной нормы языков малых народов, рассмотрены последствия языковой интерференции как закономерного процесса и отношение к ним, отражение политической и экономической интеграции в странах социалистического содружества в языках отдельных народов. Кроме того, будут даны анализ изменений, наблюдаемых в современной языковой ситуации в странах социалистического содружества под воздействием потребностей достигнутого уровня общественного развития, и всесторонняя характеристика этих изменений, исследованы проблемы установления международного коммуникативного контакта в социалистических странах в связи с интернациональной ролью русского языка, рассмотрены возможности прогнозирования будущего развития национальных языков стран социалистического содружества в аспекте их взаимоотношения и полнокровного развития процессов коммуникации и т. д.

Важно наметить проблематику, которая будет иметь первостепенное значение, и суметь ее разработать с учетом потребностей социалистического общества. Следует стремиться к тому, чтобы планируемый коллективный труд содержал рекомендации, которые повлияют на направленность практической деятельности в ходе строительства развитого или уже построенного социалистического общества.

Вторая часть планируемого коллективного труда будет посвящена описанию влияния социальных факторов на язык. В языкознании этот вид исследования также имеет многолетнюю традицию, значительный вклад в его развитие внесли языковеды с марксистской ориентацией. На основе предварительной договоренности с товарищами из ГДР и СССР эта часть монографии охватит три основных тематических направления: 1) всесторонний анализ тенденций развития языка и его функций, в особенности в сфере трудовой, научной и массовой коммуникации; 2) роль языковой коммуникации в жизни всесторонне развитой личности; 3) взаимоотношения между литературными и нелитературными формами национальных языков. В рамках указанной тематики будет также проводиться изучение процесса распространения литературного языка, проблем развития языковых способностей индивидуума, обусловленность форм существования языка, их взаимоотношения, а также социальной и региональной значимости и т. д.

В первоначальном проекте проспекта программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» задачи второго пункта, очевидно, были сформулированы недостаточно полно. Поэтому мы предлагаем сформулировать их в том смысле, что будет разрабатываться проблематика отражения общественно-экономических сдвигов в национальных языках стран социалистического содружества, возможности функционирования литературного языка и нелитературных форм существования языка в различных социальных слоях, а также проблематика развития коммуникативных способностей индивидуума в период строительства развитого социалистического общества. Следует отметить, что указанная тематическая **направленность** включает лишь часть важнейших проблем из сферы об-

ширной проблематики, касающейся воздействия социальных факторов на функционирование языка в обществе. Осуществить подобный отбор проблематики нас вынуждает запланированный объем монографии. Впрочем, мы полагаем, как уже отмечалось выше, что и некоторые другие вопросы могут стать предметом специальных исследований. Указанные исследования будут отражены в ссылочном аппарате монографии.

В третьей части монографии будут рассматриваться вопросы языковой культуры в социалистических странах. Нам хотелось бы выявить общий подход к решению этих важных проблем (равно как и специфический подход к их решению, характерный для отдельных социалистических стран), а также попытаться наметить общую теорию языковой культуры, соответствующую достигнутой ступени развития общества, его нуждам, тем требованиям, которые предъявляются к полноценному культивированию литературного языка в период строительства развитого социалистического общества. При этом нас будут интересовать не только теория нормы и кодификации литературного языка, но также и углубленное понимание социолингвистических методов, используемых при установлении нормы, отношение к норме, практическое выявление нормативных или же ненормативных средств, формулировка дифференцированного отношения к заимствованию иностранных слов в различной культурно-политической сфере (за пределами терминологической сферы), специфика функциональных стилей, установление динамики в нормах общественной языковой коммуникации, описание средств целенаправленного культивирования системы языковых средств, задачи, связанные с целенаправленным созданием предпосылок для культивирования языкового выражения, в особенности в сфере массовой коммуникации, и т. д. В качестве обязательного компонента будет включен раздел, посвященный рассмотрению стратегии практического осуществления кодификаторской деятельности, ее реализации в отдельных социалистических государствах, как однонациональных, так и многонациональных. При этом будут также учитываться достижения функциональной теории языковой культуры, созданной в тридцатых годах в Пражском лингвистическом центре. Вместе с тем мы должны стремиться к ее новому, в известной мере качественно отличному осмыслению. Только в этом случае наши выводы будут в полной мере отвечать потребностям современного состояния общественного развития, а также соответствовать методологическим и идеологическим постулатам марксистской теории и философии языка.

Отдельные тематические направления подготавливаемой коллективной монографии были подробно обсуждены и разработаны на совещании в Либлице в специальных докладах Ю. Д. Дешериева, Г. Шенфельда, Й. Крауза и др. С учетом содержания этих докладов, а также общей концепции целевой программы в рабочих комиссиях под руководством упомянутых докладчиков был подготовлен подробный проспект монографии в целом, а также намечены авторы отдельных глав. Тем самым была создана необходимая основа для непосредственного выполнения запланированного труда в целом. На совещании были уточнены сроки выполнения работы, а также составлен график предстоящих рабочих совещаний, на которых будут последовательно обсуждаться уже завершённые рукописи отдельных глав (в 1983 г. подобное заседание состоится в СССР). Всем этим вопросам было уделено исключительное внимание уже в самом начале выполнения нашего коллективного труда.

Включение целевой программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» в план многостороннего сотрудничества академий наук европейских социалистических стран дает лингвистам исключительную возможность продемонстрировать свою общественную и идеологическую активность, отразить в своем труде те лингвистические проблемы, которые непосредственно отвечают потребностям нашей социалистической действительности. Мы получаем возможность не только обобщить имеющийся опыт сопричастности языкознания со строительством социалистического общественного строя, но и подойти к решению вопросов, которые в рамках намеченной тематики, несомненно, вызовут большой ин-

терес широкой общественности. Лишь от нас самих зависит, сможем ли мы использовать в полном объеме предоставленную нам возможность, сможем ли мы к концу седьмой пятилетки предложить для широкого обсуждения читателей такой коллективный труд, который будет отвечать потребностям общества, внесет значительный вклад в дальнейшее развитие марксистского языкознания.

Перевела с чешского *Нещименко Г. П.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Дешериев Ю. Д.* Социальная лингвистика. М., 1977.
2. Взаимоотношение развития национальных языков и национальных культур. Отв. ред. Дешериев Ю. Д. и Туманян Э. Г. М., 1980.
3. O marxistickú jazykovedu v CSSR. Bratislava, 1974.
4. *Petr J.* Filozofie jazyka v díle K. Marxe a V. Engelse. Praha, 1980.

БУРЧУЛАДЗЕ Г. Т.

РЕДУПЛИКАЦИЯ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ  
В ЛАКСКОМ ЯЗЫКЕ

Одним из основных способов глагольного словообразования в лакском языке является редупликация. Она может выражать учащательное действие глагола, причастия от дюративных форм и образованные от них при помощи глагола (*b-*, *d-*) *ān* «сделать» формы каузатива, утвердительные формы настоящего времени и имперфекта, некоторые обстоятельственные формы, а также императив от дюративных форм.

Кроме отмеченных случаев, встречается и такая редупликация глагольных корневых морфем, когда удвоенная корневая морфема (без формантов грамматических классов) противостоит исходной корневой морфеме, маркированной переменным формантом грамматического класса:

1) (*b-*, *d-*)*uq-an* «стричь» — *duq-in* «резать, вырезать». Ср. анд. *b-ug<sub>2</sub>idu*, ахвах. *b-ugorul<sup>1</sup>a* «резать», ботл. *b-ug<sub>2</sub>*, чамал. *b-ug* (гадыр. *b-ug<sub>2</sub>*), тинд. *b-ug<sub>2</sub>*, багв. *b-ug<sub>2</sub>*, *b-egu* (тлонд.), карат. *b-oqe* (тоakit. *b-ug<sub>2</sub>*) «(раз)резал» [1, с. 117—118], дарг. *d-igv-is* (урах. диал.) «рубить дрова» [2, с. 147].

2) (*b-*, *d-*)*ix<sub>2</sub>-in* «выиграть, победить» — *x<sub>2</sub>ix<sub>2</sub>-in* «то же».

Форма *x<sub>2</sub>ix<sub>2</sub>-in* «выиграть, победить» встречается лишь в бартхинском диалекте лакского языка [3, с. 51, 200], в котором корневая морфема явно редуплицирована после утери формантов грамматических классов.

3) *zix<sub>2</sub>-in* (<\**d-ix<sub>2</sub>-in*) «отнять, отобрать» — *x<sub>2</sub>ix<sub>2</sub>-in* «то же».

Диалектная форма *x<sub>2</sub>ix<sub>2</sub>-in* «отнять, отобрать» [4, с. 133] редуплицирована, а литер. *zix<sub>2</sub>-in* (<\**d-ix<sub>2</sub>-in*), где *ix* исторически — корневая морфема; *z-* <\**d-* — окаменелый формант грамматического класса, сросшийся с корневой морфемой. Та же корневая морфема должна быть и в дарг. *d-ug-is* «отделиться» (о звукосоответствии дарг. *q*: лак. *x<sup>2</sup>* и т. д. см. [5, с. 127]).

Возможно <sup>1</sup>, с показаниями указанных глаголов увязываются и данные аварско-андийских языков, которые сравнивал Т. Е. Гудава [1, с. 175]: авар. *b-aqana*, анд. *b-ugidu*, ботл. *b-ux<sub>2</sub>*, чамал. *b-ux*, тинд. *b-uxo*, багв. *b-uhu*, карат. *b-oqe*, *b-ug<sub>2</sub>* (тоakit.), ахвах. *b-eqeri* «отнял».

В даргинском языке, как и в аварско-андийских, показатели грамматических классов живы, а в лакском языке *z-* (<\**d-*) (по происхождению формант грамматического класса вещей) окаменел.

4) (*b-*, *d-*)*uy-an* «вымазать, помазать» — *γuluy-in* «мазать».

В формѐ *γu-lu-γ-in* «мазать» *-l-u-* (в *-lu-u-* — разделитель согласных) выражает постоянное, учащательное действие и увязывается с морфемой дюративности *-l-*.

Корневую морфему *uy* мы находим и в форме *d-uy-anni* «косметика», где *d-* — окаменелый формант грамматического класса вещей, а *-anni* — словообразовательный суффикс.

5) *d-a-r-č-in* (<\**d-a-r-k-in*) «свалить» — *kvik-in* «дубить, мять». Ср. ботл. *b-akvaši*, багв. *b-ekvaši* «тереть, мять» [2, с. 146].

Интересно, что корневая морфема без классовых показателей редуплицирована и в аварском языке (*kvekaṇa* «тереть, мять»), в то время как в ботлхском и багвалинском языках соответствующие основы представлены классными формантами.

<sup>1</sup> Поскольку для аварско-андийских языков в одном случае исходным признается *x* [6, с. 158], а в другом случае, по данным же указанных лексем, возможным считается звукосоответствие авар. *q(-q<sub>j</sub>)*: *x<sub>2</sub>*, *x* анд. языков [6, с. 103].

6) (*b*-, *d*-)it-an «оставить» — *tat-an* «свернуться, скиснуть». Ср. дарг. *d-eries* «свернуться», авар. *b-etize*, ботл. *b-eti* «скиснуть, делать простоквашу» [2, с. 147].

В специальной литературе с аварской и ботлихской формами увязываются и авар. *teze*, анд., ботл., чамал., багв. *b-eta*, тинд. *b-eto* «оставил», а также лак. *b-itan*, дарг. *b-ates* «оставить», чеч. *b-ita*, бацб. *b-ita*<sup>n</sup> «оставить, бросить, оставлять». Предполагается семантический переход: «оставлять» > «оставлять молоко» > «киснуть, делать простоквашу» [1, с. 148—149]. На основании такого объяснения лак. *tatan* «свернуться, скиснуть» можно увязать в лакском с глаголом *bitan* «оставить» [2, с. 147].

7) *b-uru-g-an* «посмотреть» — *kak<sub>2</sub>-an* (<\**gag-an*) «увидеть»<sup>2</sup>. Ср. кап. *b-egal*, дид. *b-ikvada*, арч. *b-ak<sub>2</sub>us*, бацб. *d-agar* с тем же значением [2, с. 147].

Встречаются и такие случаи, когда в лакском языке представлены редуцированные глаголы, а соответствующие единицы, маркированные классными формантами, имеются в близкородственных языках:

1) *č<sub>2</sub>uč<sub>2</sub>-in* (<\**k<sub>2</sub>uk<sub>2</sub>-in* <\**gug-in*) «сгореть, сжечь». Ср. дарг. *d-iges*, арч. *b-ok<sub>2</sub>as*, таб. *u-v-guz/u-r-guz* «то же» [2, с. 147].

2) *š<sub>2</sub>aš<sub>2</sub>-an* «соткать, сплести». Ср. дарг. *b-ušes*, авар. *b-es<sub>2</sub>ize* [7], анд. *b-eš<sub>2</sub> du* [2, с. 147].

3) *γaγ-an* «сломаться». Ср. дарг. *b-urh<sub>2</sub>ās<sup>3</sup>*, авар. *γur-ize* (<\**r-uγ-ize*), где *r*-, должно быть, окаменелый формант грамматического класса вещей, «то же». К. Боуда лакскую форму сравнивал с табасар. *ür<sub>2</sub>ü<sup>b</sup>* «то же» [9, с. 82]. Форма *ür<sub>2</sub>ü<sup>b</sup>*, по-видимому, получена от \**r-üγ-ü<sup>b</sup>*, где \**r*- — окаменелый префикс грамматического класса.

4) *qvaqv-an* || *gaq-an* «высохнуть». Ср. дарг. *b-ir<sup>v</sup>*, *b-eryv-*, авар. *b-aqvaze*, анд. *b-egudi*, ботл. *b-eva<sub>2</sub>aj*, багв., карат. *b-edu*, ахвах. *b-ug-*, *b-igv-* «то же» [1, с. 115—116].

Закономерным соответствием исходной корневой морфемы *qv* в дидойских языках считается *q*: хварш. *quqa*, гинух. *quqajaz*, кауч.-гунз. *qoga* [1, с. 116]. В названных языках форманты грамматических классов явно утеряны, однако основа редуцируется.

5) *tai-an* «износиться, порваться». Ср. чеч. *d-atan* «расколоться, порваться» [2, с. 147].

6) *x<sub>2</sub>äx<sub>2</sub>-än* «вырасти». Ср. дарг. *b-uqes*, анд. *b-ax<sub>2</sub>idu* «то же» [4, с. 138].

7) *šaš-an* (<\**xax<sup>a</sup>-an*) «сварить, свариться». Ср. дарг. *b-il<sup>x</sup>es* «сварить» авар. *b-el<sup>a</sup>ana*, анд. *b-il<sup>on</sup>*, чамал. *b-il<sup>a</sup>n*, таб. *u-v-x<sup>us</sup>/u-r-x<sup>us</sup>*, агул. *r-ü<sup>x</sup>es* [10; 11, с. 317—318; 12] (в агулской форме *r* — окаменелый формант грамматического класса вещей), тинд. *b-il<sup>o</sup>n*, карат. *b-el<sup>a</sup>n* «сварил».

8) *ciç-in* «тесать, стругать». Ср. авар. *b-uçize* «тесать, стругать» [9, с. 87].

9) *x<sup>1</sup>irx<sup>1</sup>i tun* «хихикать».

Если это не звукоподражательная лексема<sup>4</sup>, тогда форма *x<sup>1</sup>irx<sup>1</sup>i tun* получена от \**x<sup>1</sup>irx<sup>1</sup>i tun* «хихикать»<sup>5</sup>, где *x<sup>1</sup>* закономерно соответствует *k* и *č* в лексемах дарг. *d-ukarikes* «насмеяться» (в данной форме *d*- — окаменелый префикс грамматического класса вещей), анд. *b-e-l<sup>1</sup>idu*, авар. *ve-l<sup>1</sup>ize* «смеяться»<sup>6</sup>. *č*, сохранившуюся в андийском и аварском языках, следует признать исходной корневой морфемой, рефлексом которой яв-

<sup>2</sup> *k<sub>2</sub>* < *g* в лакском — известный фонетический процесс.

<sup>3</sup> С. М. Хайдаков лакский и даргинский материал считает генетически разнородным [4, с. 140], однако о звукосоответствии лак. *γ*: дарг. *k<sub>2</sub>* см. [8].

<sup>4</sup> Известно, что понятию «хихикать» органично присущ момент многократности и поэтому для глаголов, обозначающих «хихикание», вообще характерна редупликация основ [13, с. 130].

<sup>5</sup> Такие вторичные *x<sub>2</sub>* < *x<sup>1</sup>* в лакском языке имеются и в других случаях: лак. *maš<sub>2</sub>i* (< \**maš<sub>2</sub>i* < \**maš<sup>1</sup>i*) «хутор», ср. дарг., цах., рут. *maš<sup>1</sup>i*, авар. *maš<sup>1</sup>i*, чамал. *maš<sup>1</sup>va*, арч. *mal<sup>1</sup>i* «то же»; лак. *x<sub>2</sub>iri* (< \**x<sup>1</sup>iri*) «море», ср. авар. *rel<sup>1</sup>ad*, анд. *rel<sup>1</sup>o* год., тинд., карат. ахвах. *rel<sup>1</sup>a...* «то же».

<sup>6</sup> В авар. *ve-l<sup>1</sup>ize* «смеяться» *ve-* самостоятельная морфема. Ср. авар. же *ve-gana* «лег», где *ve-* тоже выделяется [1, с. 60].

ляются в лакском  $x^l$ , а в даргинском  $k$  (звукосоответствие лак.  $x^l // > \xi$ ; дарг.  $k$  установлено Ш. Г. Гаприндашвили [11, с. 303]).

Примечательно, что в лакском языке из тех 77 глаголов, которые маркированы префиксальными классными показателями [3, с. 195], ни один не редуцирован.

Глаголы, маркированные одновременно префиксальными и инфиксальными классными формантами, а таких глаголов в лакском всего пять [3, с. 197], также не редуцированы.

В рассмотренных выше редуцированных глаголах как в лакском, так и в близкородственных языках, соответствующие корневые морфемы оказались не редуцированными, но маркированными классными показателями.

Известно, что разрушение системы грамматических классов в некоторых иберийско-кавказских языках не проходило бесследно. Например, в лакском языке форманты грамматических классов в ряде случаев окаменели:

А) В именах:  $d-ak$  «сердце»,  $l-as$  «муж, супруг» (ср. авар.  $r-os$  «то же» [14]).

Б) В глаголах типа  $l-as-un$  «братъ взять» (ср. авар.  $b-osize$ , дид.  $b-isa$  «то же» [2, с. 149]).

В) В глаголах типа  $b-usan$  «сказать, сообщить» окаменение классного префикса  $b-$  вызвано постоянством ближайшего объекта [15] <sup>7</sup>.

В других случаях классные форманты в глаголах утеряны, вследствие чего, как будто, получилось аспектное противопоставление: глаголы, маркированные классными показателями, стали недюративными, а соответствующие глаголы без классных формантов получили статус дюративности <sup>8</sup>.

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| $b-uk-an$ «съесть»     | $kan-an$ «есть»              |
| $b-uk_3-in$ «прочсть»  | $k_3al-an$ «читать, считать» |
| $b-ux_3-in$ «привести» | $x_3il-an$ «таскать, возить» |
| $b-uc-in$ «скосить»    | $cil-un$ «косить»            |

Следовательно, утеря формантов грамматических классов здесь морфологизована: глаголы типа  $kanan$  «есть» противопоставляются глаголам типа  $b-ukan$  «съесть» по аспекту.

Однако для аспектного противопоставления в данном случае главным оказывается не утеря формантов грамматических классов, а появление в основах указанных глаголов морфем дюративности  $-l$ ,  $-n$ , т. е. утеря формантов грамматических классов, — п о б о ч н о е средство для аспектного противопоставления, а не главное, так как в неклассных глаголах появились специальные морфемы дюративности, без которых невозможно аспектное противопоставление.

В примерах, рассмотренных выше, глаголы, маркированные классными формантами, и соответствующие неклассные варианты не отличаются друг от друга по аспекту:

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| $b-ux_3-in$ «победить» | $x_3ux_3-in$ «то же»          |
| $b-uq-an$ «обстричь»   | $quq-in$ «порезать, поранить» |
| $b-it-an$ «оставить»   | $tat-an$ «свернуть, скинуть»  |

От пар глагольных основ, маркированных показателями грамматических классов, и без таковых, дюративные формы образуются одинаково. Например:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| $b-uq-an$ — $b-uq-l-an$ ; | $quq-in$ — $quq-l-an$ |
| $bit-an$ — $bit-l-an$ ;   | $tat-an$ — $tat-l-an$ |

<sup>7</sup> Такое же положение в древнегрузинском языке, где в глаголах типа  $\text{šexzedna}$  «взглянул он на него» «с течением времени выпал прямой объект, ибо он был отражен одним е д и н с т в е н н ы м словом (разрядка наша. — Б. Г.) и легко подразумевался без упоминания — в результате чего объект утратился полностью» [16]. Однако в глаголе этот объект («очи») морфологически все-таки представлен в виде морфемы  $-n$ -мн. числа ближайшего объекта:  $\text{šexzed-n-a}$ .

<sup>8</sup> Ср.: в бацбийском языке классные глаголы суть совершенного вида, а соответствующие неклассные глаголы — несовершенного вида, последние выражают более общее содержание [17].

Выясняется, что утеря формантов грамматических классов не имеет отношения к аспектному противопоставлению.

Итак, можно заключить, что редупликация в таких случаях является лишь компенсацией утери формантов грамматических классов<sup>9</sup>: поскольку удвоение здесь функционально замещает утерянные морфемы, постольку оно морфологизовано<sup>10</sup>.

Редупликация в указанных выше случаях — вторична — является результатом определенных фонетических изменений: в глаголах типа *b-ug-an* «обстричь» гласный, следовавший за показателями грамматических классов, синкопирован, вероятно из-за непостоянного ударения, в результате чего в анлауте наблюдается стечение согласных, чуждое структуре лакского слога в начале слова<sup>11</sup>. Суперация скоплений согласных, по-видимому, происходила за счет классных формантов, после чего корневые морфемы и редуплицировались. Схематично: *b-ug-an* «стричь» ( $\triangleright$  \**b-q-an*  $\triangleright$  \**q-an*  $\triangleright$  *duq-in*) «резать, вырезать».

Если это так, то именно после утери показателей грамматических классов произошла редупликация корневых морфем. Именно поэтому редупликация представляется своеобразной компенсацией утери формантов грамматических классов.

Утеря показателей грамматических классов в данном случае, надо полагать, стоит на одной плоскости с процессом, наблюдаемым в лакском (геср. в иберийско-кавказских языках) языке и в других случаях. Имеется в виду о б щ а я тенденция замены префиксации суффиксацией. Например, ныне в лакском языке грамматические классы различаются в именах числительных при помощи суффиксов, а исторически они должны были различаться посредством префиксов [как, например, в андийском языке в числительном (*v-, j-, b-, r-*)-*og'ogi* «четыре»].

Учитывая известное положение Л. В. Щербы, согласно которому «внешние выразители категорий могут быть самые разнообразные: „изменяемость“ слов разных типов, префиксы, суффиксы, окончания фразовое ударение, интонация, порядок слов, особые вспомогательные слова, синтаксическая связь и т. д., и т. д.» [24], и, принимая во внимание то, что к числу отмеченных выразителей грамматических значений следует отнести и редупликацию [20, с. 254], можно сделать вывод: между редупликацией корневых морфем и утерей показателей грамматических классов в лакских глаголах (которые были маркированы классными формантами), по-видимому, имеется внутренняя взаимосвязь — процесс редупликации обусловлен процессом постепенного отмирания категории грамматических классов. Именно поэтому, факт, описываемый выше, интересен и с точки зрения истории грамматических категорий.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Гудава Т. Е. Сравнительный анализ глагольных основ в аварском и андийских языках. Махачкала, 1959.
2. Абдуллаев И. Х. Категория грамматических классов и вопросы исторической морфологии лакского языка. Махачкала, 1974.
3. Хайдаков С. М. Очерки по лакской диалектологии. М., 1966.
4. Хайдаков С. М. Сравнительно-сопоставительный словарь дагестанских языков. М., 1973.
5. Гигинейшвили Б. К. Сравнительная фонетика дагестанских языков. Тбилиси, 1977.

<sup>9</sup> В специальной литературе о компенсационном характере редупликации в некоторых иберийско-кавказских языках отмечается: например, в грузинском языке редупликация встречается как средство компенсации мн. числа в именах прилагательных (геср. атрибутивов), выступающих в роли определений при определяемых, стоящих во мн. числе [18]; идентичное положение засвидетельствовано в сванском и занском языках [19, с. 22; 49, 64].

<sup>10</sup> О морфологической функции редупликации в некоторых иберийско-кавказских языках см. [13, с. 115—116; 20, с. 255; 21; 22; 19, с. 22—23, 49—50, 64—65].

<sup>11</sup> Форманты грамматических классов в данном случае выявляют такую же тенденцию, как любые согласные в анлауте. Аналогичное положение наблюдается, например, в аварском языке [23].

6. *Гудава Т. Е.* Консонантизм индийских языков. Тбилиси, 1964.
7. *Trubetzkoy N.* Nordkaukasische Wortgleichungen.— Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1930, Bd. XXXVII, Hf. 1—2, S. 89.
8. *Гигинеишвили Б. К.* Вопросы консонантизма лакского языка.— Тр. Тбилисского гос. ун-та, 1963, т. 96, с. 74.
9. *Воида К.* Lakkische Studien, Heidelberg, 1949.
10. *Trubetzkoy N.* Les consonnes latérales des langues caucasiques septentrionales.— BSLP, 1922, t. XXIII, f. 3 (70).
11. *Гаприндашвили Ш. Г.* О лакско-даргинских звукосоответствиях.— ИКЯ, 1954, т. VI.
12. *Джейранишвили Е. Ф.* Окаменелые элементы грамматических классов в глагольных основах и отглагольных именах удинского языка.— ИКЯ, 1956, т. VIII, с. 356—357.
13. *Ломтатидзе К. В.* О функции редупликации в абхазском.— Изв. ИЯИМК, 1940, т. V—VI.
14. *Март Н. Я.* Непечатый источник кавказского мира.— ИАН, VI сер., № 5. Пр., 1917, с. 321.
15. *Джидалаев Н. С.* Категории грамматического класса и лица в лакском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Баку, 1965, с. 8.
16. *Шанидзе А. Г.* К вопросу о переходности в картвельских языках.— Сообщ. АН СССР, 1942, т. III, вып. 2, с. 187.
17. *Гагуа Р. Р.* Виды бацбийского глагола и выражение множественного числа.— ИКЯ, 1962, т. XIII, с. 262—263.
18. *Шанидзе А. Г.* Основы грамматики грузинского языка. Тбилиси, 1973, с. 95—96.
19. *Саникидзе Л. К.* Редупликация в сванском и занском языках.— ЕИКЯ, 1977, т. IV.
20. *Чикобава А. С.* Введение в языкознание. Тбилиси, 1952.
21. *Vogt H.* Esquisse d'une grammaire du Georgien moderne.— Norsk Tidsskrift for sprogvidenskap, 1938, t. IX, p. 76.
22. *Neisser Fr.* Studien zur georgischen Wortbildung.— Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 1953, t. XXXI, 2, S. 52—55.
23. *Церцвадзе И. И.* Глаголы с классным показателем и без классного показателя в аварском языке.— ИКЯ, 1970, т. XVII, с. 190—191.
24. *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 64.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## ОБЗОРЫ

ДЕШЕРИЕВ Ю. Д., ДЖОРБЕНАДЗЕ Б. А., ШЕНГЕЛМА В. Г.

**«ЕЖЕГОДНИК ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ»  
Т. I — VII (1974 — 1980)**

«Ежегодник иберийско-кавказского языкознания» основан в 1974 г. по решению Бюро Отделения литературы и языка АН СССР как общесоюзный орган лингвистов-кавказоведов. Издание «Ежегодника» возложено на АН ГрузССР.

«Ежегодник» призван обслуживать одну из важных отраслей советского языкознания, а именно иберийско-кавказское языкознание. К иберийско-кавказским языкам (ИКЯ) относятся 12 литературных (древнеписьменный грузинский, письменность восходит к V в. н. э.; младописьменные: абазинский, абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский, ингушский, чеченский, аварский, даргинский, лакский, лезгинский, табасаранский) и более 20 бесписьменных языков.

До революции ИКЯ были весьма слабо исследованы. В советскую эпоху достигнуты большие успехи в их изучении. Это необходимо подчеркнуть особенно в год 60-летия Союза Советских Социалистических Республик. Как справедливо отметил еще в 60-х годах акад. АН ГрузССР А. С. Чикобава, «поливалентность грузинского литературного языка за все 15 веков его существования не проявлялась так всесторонне, как за последние 40 лет благодаря национальной политике Советской власти» (Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967, с. 24)

Впервые в советскую эпоху общенародную письменность получили 11 младописьменных языков, которые стали языками периодической печати, общественно-политической, художественной, научно-популярной литературы, радиовещания, телевидения, общественно-политической и культурной жизни. Они применяются в общеобразовательных и высших учебных заведениях.

Большая научно-исследовательская работа по ИКЯ ведется в Москве, Ленинграде, в научных лингвистических учреждениях и на соответствующих языковедческих кафедрах вузов ГрузССР, АзербССР, Абхазской, Кабардино-Балкарской, Дагестанской, Аджарской, Чечено-Ингушской АССР, Адыгейской и Карачаево-Черкесской автономных областей. Все это является результатом последовательного осуществления ленинской национально-языковой политики КПСС.

Принципиальные установки «Ежегодника» были изложены во вводной статье А. С. Чикобава «„Ежегодник“, его назначение и общелингвистические установки», опубликованной в первом томе в 1974 г. В этой статье подчеркивается, что «Ежегодник» «ставит целью изучать иберийско-кавказские (палеокавказские) языки в связи с культурой и историей культуры соответствующих народов и в увязке с языковым мышлением и историей мышления, нашедшим воплощение в этих языках» (с. 32).

Как отмечалось в четвертом томе коллективного труда «Языки народов СССР», большинство кавказоведов предполагает исконное генетическое родство между всеми ветвями кавказских языков» (Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки, с. 7). Одной из основных задач

«Ежегодника» является всестороннее обоснование этого положения. Всего опубликовано семь томов. Общее представление об объеме проведенной работы и ее содержании дают следующие статистические данные: вышедшие тома содержат исследования по фонетике, морфологии, синтаксису, лексике — всего около 160 статей, в том числе по абхазско-адыгской группе — 54, дагестанской — 52, нахской — 21, картвельской — 19. 10 статей посвящено вопросам, касающимся двух или более групп языков. Опубликовано 30 рецензий.

Первый том (1974) содержит, в основном, материалы II региональной научной сессии. Они посвящены вопросам описательной и исторической фонетики ИКЯ.

«Ежегодник» имеет ряд специфических особенностей. Так, в каждом томе доминирующую роль играет определенная проблема, общетеоретическому освещению которой посвящается передовая статья главного редактора. По этому принципу расположен материал и в первом томе, но с тем лишь отличием от других томов, что в нем помещена вводная статья, характеризующая назначение и общелингвистические установки «Ежегодника». После этой статьи дается другая работа А. С. Чикобава «Узловые вопросы исторической фонетики иберийско-кавказских языков», поскольку в первом томе публикуются в основном исследования по звуковому строю ИКЯ.

Среди языков народов СССР иберийско-кавказские обладают наиболее сложным звуковым строем. Тем не менее до настоящего времени фонетика представляет собой наименее разработанный раздел иберийско-кавказского языкознания. Поэтому особого внимания заслуживают новые звуковые явления, возникшие в них как в результате действия внутренних законов их развития, так и под иноязычным влиянием. Например, в статье Г. Ворошила «К вопросу об абруптивных согласных в удинском языке» содержится принципиальной важности положение: система абруптивных (смычногортанных) согласных в определенных говорах удинского языка разрушается, по-видимому, под иноязычным влиянием (главным образом азербайджанского языка). Иберийско-кавказский язык (в данном случае удинский) без абруптивных согласных — явление весьма показательное не только в плане описательном, но и с точки зрения эволюции фонемного состава ИКЯ.

В то же время, как показано в статье А. М. Асланова, закатальско-кавказские говоры азербайджанского языка заимствовали из ИКЯ совершенно чуждые тюркским языкам абруптивные согласные. Аналогичные факты представлены и в статье Б. Б. Талибова, опубликованной в первом томе.

Второй том (1975) посвящен памяти выдающегося грузинского ученого И. А. Джавахишвили (в связи со 100-летием со дня рождения), широко использовавшего в своих трудах по истории и культуре грузинского народа данные ИКЯ. В этом томе, кроме статей А. С. Чикобава и К. В. Ломтатидзе о научной деятельности и трудах И. А. Джавахишвили, опубликованы материалы III региональной научной сессии по историко-сравнительному изучению ИКЯ. В статьях рассматриваются вопросы отраслевой лексики ИКЯ. В том включены также статьи: Г. В. Рогава «К генезису номинативной конструкции переходного глагола в картвельских языках», К. В. Ломтатидзе «Исходный тип корней и формантов в абхазском и абазинском языках» и др.

Впервые осуществлено фронтальное исследование отраслевой лексики ИКЯ.

Третий том (1976) включает в себя преимущественно исследования, в которых анализируются некоторые грамматические категории глагола в картвельских, абхазско-адыгских, дагестанских и нахских языках. Новый фактический материал и теоретические обобщения представлены в статьях А. С. Чикобава «К генезису личного спряжения в грузинском языке», К. В. Ломтатидзе «Категория версии в картвельских и абхазско-адыгских языках», Г. В. Рогава «К вопросу о посессивном происхождении глагольных, личных префиксов в адыгских языках», А. А. Магометова «Субъектно-объектное согласование глагола в лакском и даргинском

языках», Г. В. Топурия «К истории некоторых глагольных основ в лезгинском языке (по данным диалектов)» и др.

В этом же томе помещены статьи о числительных, системе склонения и некоторых фонетических явлениях. Отметим статьи Б. Х. Балкарова «О числительных в западно-кавказских языках», Р. С. Джанашиа «Имена числительные в абхазско-адыгских языках».

В центре внимания четвертого тома (1977) стоят вопросы категорий переходности и непереходности, статических и динамических глаголов, каузатива и потенциалиса. Ряд статей посвящен фонетическим процессам в ИКЯ.

В статье «К вопросу о переходности глагола как морфологической категории в грузинском языке» А. С. Чикобава исходит из следующего общетеоретического положения: «Одно и то же содержание, одна и та же смысловая категория в различных языках может выражаться по-разному (или же совсем не выражаться). Таково одно из основных теоретических обобщений исторической лингвистики, которое имеет фундаментальное значение для описательного (синхронного) анализа языка (и которое в наши дни часто забывается в поисках универсалий)» (с. 9). Опираясь на анализ конкретного языкового материала, автор доказывает, что «в иберийско-кавказских языках глагол может быть переходным, но не различать залогов, образование действительного и страдательного залогов в иберийско-кавказских языках системно могут не коррелировать: переходность в иберийско-кавказских языках древнее, чем залогов» (с. 9).

Из других крупных исследований, опубликованных в этом томе, следует отметить статьи Л. Саникидзе «Редупликация в грузинском, запском, сванском», К. В. Ломтагидзе «Из грузинско-абхазских звукоотношений: груз. *с* — абх. *š*»; Г. Б. Муркелинского «О глаголах переходных и непереходных в лакском языке», У. А. Мейлановой «О строе глагола в будухском языке».

Большинство статей, включенных в пятый том (1978), посвящено анализу категории грамматических классов и глагольных основ в ИКЯ. Авторы широко привлекают данные картвельских, дагестанских, абхазо-адыгских и нахских языков и диалектов. Грамматические классы и основы подвергнуты анализу в синхронном и сравнительно-историческом аспектах. Некоторые статьи отличаются широким охватом языков, относящихся к одной подгруппе или к двум группам. Так, статья Г. В. Рогава примечательна тем, что в ней анализируются «некоторые глагольные основы со значением *г о в о р и т ь, с к а з а т ь* в абхазско-адыгских и картвельских языках» (с. 129). Напротив, в статье И. И. Церцвадзе рассматриваются данные одной подгруппы языков и дается анализ «двух типов эргатива по исходной основе в личных местоимениях аварско-индийских языков» (с. 220) и т. д.

Шестой том (1979) включает исследования по сравнительной типологии, фонетике, морфологии, синтаксису, лексике, семантике, диалектологии картвельских, абхазско-адыгских и дагестанских языков. В этом же томе помещена интересная статья В. И. Абаева «К этимологии *Samaia*» (хороводная пляска), в которой дается этимологический анализ рассматриваемого слова. Здесь же находим содержательную информацию о работе по изучению ИКЯ в ЛО Института языкознания АН СССР, Отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Абхазском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа, Сухумском государственном педагогическом институте им. А. М. Горького, Адыгейском научно-исследовательском институте экономики, языка, литературы и истории, Адыгейском государственном педагогическом институте, Кабардино-Балкарском институте истории, филологии и экономики, Институте истории, языка и литературы им. Т. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. Эти научные учреждения и вузы, впервые созданные в советскую эпоху, вносят важный вклад в исследование ИКЯ.

Богатый материал и широкие теоретические обобщения, основанные на конкретном анализе языковых фактов, представлены в седьмом томе

«Ежегодника» (1980). Особое внимание уделено изучению глагольной системы в разных ИКЯ, анализируются фонетические процессы в исследуемых языках. В этом же томе опубликовано «Введение в иберийско-кавказское языкознание: общие принципы и основные положения». Здесь помещены краткие информационные сообщения о деятельности местных научных лингвистических учреждений и языковедческих кафедр вузов, а также отчет о VIII региональной научной сессии по изучению системы превербов и послелогов в ИКЯ.

В семи томах «Ежегодника» представлены и другие важные исследования, в том числе статьи И. Т. Арсаханова, Д. С. Имнайшвили, М. А. Кумахова, А. К. Шагирова и некоторых других авторов.

Начиная с третьего тома в «Ежегоднике» регулярно печатаются и рецензии на изданные труды. Например, в третьем томе помещено 7 рецензий, а в седьмом — 12.

На страницах «Ежегодника» освещаются вопросы изучения ИКЯ в зарубежных странах, помещаются персоналии. Так, в шестом томе представлены краткие характеристики научной деятельности известного французского кавказоведа Ж. Дюмезиля в связи с его 80-летием и крупного норвежского лингвиста-кавказоведа Т. Фогта по случаю его 75-летия. В седьмом томе даны рецензия К. Х. Шмидта (ФРТ) на монографию П. К. Услара «Табасаранский язык (Тбилиси, 1979) и краткая характеристика научной деятельности немецкого картвелиста Г. Петч в связи с ее 70-летием.

В «Ежегоднике» находят отражение проблемы, связанные с взаимоотношением баскского и ИКЯ. В шестом томе опубликованы рецензии на сборник статей «Баскский язык и баскско-кавказская гипотеза» (Тбилиси, 1976, на груз.яз.), в который включены две статьи французского кавказоведа Р. Лафона и статья А. С. Чикобава (рецензент — В. Т. Шенгелиа), и на работу испанского ученого К. Ротаера «Структурное исследование говора Ондорроа» (рецензент — Н. Н. Стурца).

Публикацией (в том же томе) информации Л. Магаротто (Венеция), И. Табагуа (Тбилиси) «Ежегодник» знакомит читателей с содержанием интересного письменного памятника грузинского языка — неопубликованной «Грамматики грузинского языка» (XVIII в.), составленной итальянским автором.

Заслуживает внимания и тот факт, что в «Ежегоднике», начиная с четвертого тома, печатается содержательная «Информация о работе по изучению иберийско-кавказских языков», проводимой в 12 научно-исследовательских и научно-педагогических учреждениях страны.

В «Ежегоднике» систематически освещаются итоги каждой региональной научной сессии по ИКЯ. Некоторые тома «Ежегодника» посвящены в основном изданию наиболее ценных докладов и сообщений региональных научных сессий. Такая постоянная связь между деятельностью редколлегии «Ежегодника» и региональных научных сессий способствует координации научных исследований в области иберийско-кавказского языкознания. Отдельные публикации «Ежегодника» представляют интерес и для специалистов по общему языкознанию, социолингвистике, истории и этнографии.

Хотелось бы обратить внимание не только на достижения «Ежегодника», но и на необходимость расширения круга авторов и углубления проблематики «Ежегодника», уделив еще больше внимания проблемам взаимодействия языков на Кавказе, современным процессам развития языковой жизни народов Кавказа, а также историко-типологическим проблемам. Такое расширение проблематики представляется целесообразным тем более, что журнал ставит перед собой задачу изучения ИКЯ в связи с культурой и историей культуры соответствующих народов.

Своими успехами «Ежегодник» обязан прежде всего инициатору его создания, бессменному главному редактору А. С. Чикобава, благодаря неутомимой деятельности которого журнал стал одним из серьезных лингвистических периодических изданий всесоюзного и международного значения.

## ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

## ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА Л. В. ЩЕРБЫ

Публикуемая впервые работа «Фонетические таблицы лаборатории экспериментальной фонетики Ленинградского государственного университета», обнаруженная в бумагах М. И. Матусевич и находящаяся в настоящее время в Ленинградском отделе Архива АН СССР (ф. 770), представляет собой рукопись, написанную рукой Л. В. Щербы. Она мыслилась как вступительная статья к сборнику разнообразных фонетических таблиц, созданных в Лаборатории экспериментальной фонетики Ленинградского университета. Это — и универсальные классификационные таблицы, и таблицы звуков целого ряда языков, а также профили артикуляции гласных и согласных разных языков и такие же профили основных типов звуков. Относится рукопись к середине тридцатых годов.

Подготовленный к печати сборник Л. В. Щерба до войны издать не успел, не увидел он света и до сих пор. Однако некоторые таблицы были включены в разные издания. Сокращенные таблицы основных типов согласных и основных типов гласных Л. В. Щерба поместил в своей «Фонетике французского языка», вышедшей первым изданием в 1937 г., полные таблицы опубликовала М. И. Матусевич в сборнике памяти Л. В. Щербы (Л., 1951). Были опубликованы и некоторые профили положений языка и мягкого нёба при образовании отдельных звуков (в работах М. И. Матусевич, И. П. Сушцова, О. И. Дякушиной). Подлинники таблиц, в том числе и те, на которые ссылается в своей статье Л. В. Щерба, хранятся в Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ.

Не только профили артикуляций, но и таблицы классификации звуков являются плодом многолетних скрупулезных исследований, выполненных путем прямого наблюдения и самонаблюдения, а также при помощи всевозможных приборов.

Свою классификацию основных типов гласных и согласных Л. В. Щерба строил не как систематизацию известных в науке артикуляций разных видов звуков, зарегистрированных в том или ином языке: он основывался на потенциально возможных артикуляциях произносительного аппарата человека. В этом смысле его классификация является универсальной. Он так и понимал ее, подчеркивая при этом фонетический характер классификации, т. е. фонологическая классификация универсальной быть не может по самой природе вещей.

Идеи Л. В. Щербы были использованы многими авторами в педагогических целях как при описании фонетических систем западноевропейских языков, так и при исследовании звукового строя многих языков Советского Союза. Его классификационные искания нашли дальнейшее развитие в частности в трудах одного из его последователей В. М. Наделяева.

До наших дней сохраняют свое значение содержащиеся в публикуемой ниже статье Л. В. Щербы высказывания, существенно уточняющие артикуляционные характеристики некоторых типов согласных. Это — его замечания о необходимости различать палатализованные и палатальные согласные, разные виды артикуляции переднеязычных, глубокие заднеязычные согласные и увулярные и др. Таблицы основных типов гласных и согласных могут явиться важным импульсом для дальнейших исследований, которые позволят открыть в малоизученных языках звуки, ранее науке не известные.

Рукопись обрывается как бы на полуслове. Надо думать, что дальше Л. В. Щерба предполагал остановиться на принципах классификации гласных и на анализе других видов таблиц, которые были включены в сборник.

*Зиндер Л. Р.*

## ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ЛАБОРАТОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФОНЕТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Уже более двадцати лет работаю я над созданием фонетических таблиц. Первоначально эта работа шла собственно под флагом выработки единой фонетической транскрипции. В этом плане и были написаны мои статьи: К вопросу о транскрипции. ИОРЯС, XVI, кн. 4, 1911 и *Notes sur la transcription phonétique*. BSL, № 86, 1928. Поскольку в основном я всегда принимал и принимаю до сих пор алфавит Международной ассоциации лишь с небольшими изменениями и дополнениями, постольку эти статьи, кроме теоретических рассуждений о принципах транскрипции вообще, содержат мало нового в области собственно фонетической.

Однако, так как в основе всякой транскрипции по необходимости лежит та или иная классификация звуков, то совершенно естественно, что занятия транскрипцией перерастают в занятия фонетической теорией, на которой должна базироваться всякая научная классификация звуков. Поэтому в приводимых ниже таблицах нашли себе то или другое отражение многие из моих фонетических воззрений, являющихся результатом наблюдений и размышлений всей моей жизни.

Суть ниже приводимых звуковых таблиц — в клетках классификации и соответственно в надписях горизонтальных и вертикальных рядов, и, конечно, вовсе не в знаках, которые стоят в некоторых клетках, на что намекают и самые заглавия таблиц.

Чтобы не возвращаться больше к вопросу о знаках, скажу сразу, что выбор их совершенно безразличен с научно-лингвистической точки зрения. Я стою в большинстве случаев за те, которые даны в моих таблицах; однако если я увижу, что в международной науке частично или полностью приняты другие, то я без всякого сожаления перейду к ним, совершенно забыв о своих. Однако пока я стою за свои знаки, так как считаю, что они объективно являются самыми международными, т. е. понятными лингвистам и образованным нефилологам всего мира, что и является основным практическим требованием современной научной фонетической транскрипции. Я отбирал те или другие знаки не потому, что они мне нравятся или отвечают каким-либо моим идеям, а потому, что считал их или действительно общепринятыми, или по крайней мере общепонятными в ученом мире или объективно близкими к этому. Конечно, в отдельных случаях я мог не угадать степени международной того или иного знака, и в этом смысле моя система подлежит улучшению, но я уверен, что всякая индивидуальная выдумка в этой области, как бы она ни была остроумна (а особо остроумной она и быть не может, ибо все знаки, если отвечают некоторым основным требованиям, сами по себе одинаково хороши), не имеет шанса на успех, если не базируется на каких-то международных тенденциях и чаяниях.

В связи с этим стоит и то обстоятельство, что во многих клетках моих таблиц нет никакого знака. Это значит, что соответственная звуковая возможность не нашла себе еще четкого и общепонятного знака: в таких случаях я вовсе не стремился быть изобретателем. Во многих случаях возможно при этом, что соответственная звуковая единица и не фигурирует как особая фонема ни в одном из более известных нам языков.

Перехожу теперь собственно к фонетике, отсылая интересующихся вопросами транскрипции к вышеупомянутым моим статьям, где указана и основная литература предмета. Первое, о чем приходится задуматься по поводу классификации, лежащей в основе наших фонетических таблиц, — это вопрос об их предмете. Что в них классифицируется — фонемы или звуки? Поскольку основной звуковой единицей в лингвистике является фонема, постольку таблицы говорят о фонемах русского языка, фонемах французского языка и т. д. Однако невозможно говорить о фонемах вообще, ибо то, что в одном языке образует две фонемы, в другом может

оказаться одной фонемой и обратно: фонемы теснейшим образом связаны со структурой языка, а следовательно, и со значением, а потому фонемы являются категорией только каждого данного языка в отдельности. Универсальный алфавит фонем принципиально невозможен, как это было разъяснено в разделе VII моей вышеупомянутой французской статьи и как об этом должно быть подробно рассказано в моем полном курсе *Общей фонетики*.

О чем же приходится говорить, имея в виду все человечество? Очевидно также, что и не о звуках — ибо их возможно бесчисленное множество, как этому учит нас акустика, — а о типах звуков, согласных и гласных, как это и указано в заглавиях соответственных таблиц. Чем же определяются, однако, типы звуков? Надо всячески подчеркнуть, что акустика при современном состоянии науки не в состоянии дать нам полной типологии звуков. Акустически мы можем установить категории шумных глухих согласных, шумных звонких согласных, сонантов и гласных и некоторые другие категории. Но дать полную акустическую типологию хотя бы гласных невозможно, если не исходить из данных конкретных языков: ряды «i — e — æ», «u — o — э», «u — y — i» и т. п. представляют собой, по-видимому, непрерывные ряды, между членами которых как будто нет точных фонетических границ. По-видимому, наши «a, e, i, o, u» и т. д. являются величинами скорее фонологического, т. е. функционального, лингвистического происхождения, чем величинами чисто акустическими. Говорю все это предположительно, так как таково положение вещей в науке на сегодняшний день; сам же думаю, что разные гласные типы тех или других языков, создававшиеся в основном несомненно функционально<sup>1</sup>, имеют, однако, и кое-какие предпосылки акустического и во всяком случае рецепторного характера. К сожалению, этим вопросом не только никто не занимается, но никто его даже и не ставит, хотя он и является одним из актуальнейших вопросов теории гласных. Во всяком случае в моем филологическом окружении никогда не было людей, которых можно было бы им вдохновить.

В области согласных, конечно, тоже возможно установление некоторых акустических категорий, но в общем дело обстоит гораздо хуже, чем с гласными: в конце концов мы не знаем даже, чем акустически отличаются, например, звуки «s, f, v» друг от друга (чем отличается, например, «a» от «e»), мы приблизительно все же знаем, несмотря на то, что некоторые принципиальные вопросы теории гласных еще не решены). Поэтому нечего и думать, чтобы можно было установить акустическую типологию согласных вообще.

В этих условиях вполне естественно обращаться к традиционной артикуляторной классификации звуков речи, как она ни кажется на первый взгляд противоестественной. На самом деле противоестественной она кажется лишь при одностороннем взгляде на язык как на нечто слышимое; если же мы обратим внимание на двоякую природу языка — слышимую и произносимую, то противоестественное станет вполне естественным. Многочисленные факты психологии и особенно психиатрии и неврологии (ср. труды W. Wundt'a, Jac. van Ginneken'a и множества других авторов и особенно новейший богатый опыт поврежденных мозга в связи с расстройством речи, собранный во время империалистической войны и обобщенный и популяризованный H. Piéron в его книге *Le cerveau et la pensée*<sup>2</sup>), показывают с несомненностью теснейшую, неразрывную связь этих двух сторон речевой деятельности. Ввиду их полной параллельности, обусловленной самим существом дела, мы всегда вправе переходить от акустической классификации к артикуляторной и обратно.

Не должен нас пугать при этом и вопрос о «полиморфизме» звуков, особенно гласных. Я глубоко убежден, что некоторые звуки можно произносить разными способами. Однако на практике еще никем не приводи-

<sup>1</sup> Что, к сожалению, совершенно упускают из виду физики и физиологи, занимающиеся звуками речи.

<sup>2</sup> H. Piéron. *Le cerveau et la pensée*. Paris, 1923.

лось фактов, которые бы разрушили традиционные классификации: немецкое губное *ö* («*oe*») и английское смешанное негубное *u* (вариант «*ü*», а не «*~*»), несмотря на все их акустическое сходство, все же вполне различаются тренированным ухом, между норвежским *o* и немецким *uh* при всей их акустической близости имеются все же неоспоримые акустические и артикуляторные различия. Некоторые глубокие *a* могут действительно производить иногда впечатление своеобразных губных *o*, но при этом всегда обнаруживалось, что это все же или действительно губное «*e*», как в узбекском и в таджикском, или что действительно мы имеем дело с «негубным *o*», как это, по-видимому, имеет место в некоторых немецких диалектах. Далее, мне известен случай почти полного наподобления русского коронального *ш* посредством апикальной артикуляции (что обуславливалось особым строением зубов) и некоторые другие подобные случаи. Более глубокое исследование обнаружит, несомненно, и много других отклонений от норм артикуляторной классификации, которые, может быть, объяснят некоторые неясные сейчас исторические звуковые изменения. Однако это будут лишь отклонения от нормы, которая несомненно существует, так как оправдывается на практике постановки звуков речи у глухонемых, и специально иностранных звуков у нормальных людей.

Как будто больше смущения должна была внести в вопрос замечательная книга Хлумского \*, которая посвящена рентгенографии в применении к гласным. Несомненно, что многолетняя работа автора в этой области двигала технику фонетической рентгенографии сильно вперед. Однако из книги не видно, были ли объекты автора настолько фонетически тренированы, чтобы быть в состоянии с уверенностью сохранять во время съемки нужное положение органов речи. Между тем опыт учит, что это страшно трудно, так как при не очень длительном произношении отдельных гласных они всегда являются скользящими звуками даже в тех языках, которым, вообще говоря, это не свойственно; при длительном же произношении они очень легко искажаются против воли произносящих и притом совершенно незаметно для этих последних.

Результаты исследования при непринятии совершенно исключительных мер предосторожности в указанном направлении всегда являются более или менее сомнительными <sup>3</sup>, а потому к скептическим выводам относительно артикуляторной классификации гласных можно пока относиться совершенно хладнокровно, основываясь на практике обучения, которая, как сказано было выше, подтверждает в основном правильность традиционной артикуляторной классификации.

Ряд рентгенограмм, опубликованных в новейшее время опытными фонетиками, целиком подтверждает сказанное. Все это сходится и с моими наблюдениями, сделанными в основном при помощи Аткинсонова измерителя рта. Эти наблюдения путем сравнения были продолжены уже посредством моего мышечного чувства и зрительного чувства моих сотрудников, описавших свои впечатления на основе стоматограмм, которые были получены по Аткинсоу. Не придавая, конечно, результатам наших стоматографических наблюдений (они публикуются ниже впервые) значения аутентичных документов, я все же утверждаю, что они, безусловно, отражают относительную действительность. Дело в том, что можно сказать с полной уверенностью, что форма и размеры резонаторных полостей человеческого речевого аппарата бесконечно разнообразны (ср. хотя бы данные проф. Е. И. Малютина и данные Хлумского в вышецитированной книге), а потому приведение абсолютных цифр расстояния той или другой точки языка от той или другой точки твердого неба и т. п. при том или другом

\* В рукописи автор не указан, но, по-видимому, имеется в виду книга: *J. Chlumsky. Radiografie fracouszkých samohlásek a polosamohlásek. Praha, 1938.* — [Примеч. ред.]

<sup>3</sup> Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть, что результаты громадного большинства работ, даже первоклассных по технике работ последнего времени, посвященных и акустическому анализу гласных, также значительно обесцениваются, если в них не принимали участия безусловно опытные и тренированные фонетики: при несоблюдении этого последнего условия всегда остается в той или другой степени неизвестным, что именно было зарегистрировано, а тем более, что исследуется теми или другими методами, особенно в тех случаях, когда исследуются лишь части полученных кривых.

гласном лишено всякого смысла. По-видимому, однако, — так учит повседневный фонетический опыт — французское *è* всегда получается из *é* путем опускания спинки языка, а для получения русского *у* из русского *о* совершенно необходимо сузить губное отверстие и так далее в таком роде. Данных, противоречащих этому старому опыту человечества, пока, насколько мне известно, не существует, а потому я позволяю себе, вопреки утверждениям <...> о полной бессмысленности традиционного «треугольника» гласных, в основном сохранить его (с большими, однако, видоизменениями и усложнениями), но, конечно, лишь как относительную схему.

То, что на самом деле, однако, является связанным у говорящего человека, — это слуховые ощущения и моторные импульсы, а не всякие топографические описания отдельных артикуляций, которые фигурируют в наших классификациях звуков речи. Действительно физиологическая классификация в отличие от акустической должна была бы быть основана на возбуждениях центральных нервов нашего речевого аппарата: мы должны были бы говорить, что для произнесения, например, звука *e* необходимо возбуждение такой-то силы нерва *A* + возбуждение такой-то силы нерва *B* и т. д. Однако современное состояние науки не позволяет и думать о таких вещах: физиология нервной системы вообще и органов речи в частности во многих отношениях находится еще в зачаточном состоянии. Впрочем, как ни важна была бы такая постановка вопроса с научной точки зрения, она не давала бы никаких основ для практических правил речевого поведения, тогда как традиционная основа классификации звуков речи дает возможность учить речевой артикуляции. Строго говоря, и тут последовательная научная точка зрения требовала бы исходить не из внешней топографии каждой данной артикуляции, а из соответственных мускульных и тактильных ощущений, которые, собственно, и связаны непосредственно со слуховыми ощущениями. Однако полный параллелизм первых двух рядов ощущений позволяет нам основывать артикуляторную классификацию звуков речи на этих внешних данных. Этот параллелизм позволяет нам рассматривать наш речевой аппарат как некий акустический прибор и артикуляторную классификацию звуков человеческой речи как типологию основных звуковых возможностей этого прибора, обусловленную его механическим устройством. Таков смысл наших звуковых таблиц. При рассмотрении наших звуковых таблиц надо иметь прежде всего в виду, что, конечно, не все звуковые возможности нашего речевого аппарата предусмотрены этими таблицами: так, в них нет свистов и «чмоков» как редко встречающихся в языках звуков.

Далее, очень многие звуки тех или других языков не найдут себе места в клетках наших таблиц, являясь промежуточными: таковы, например, шепелявые русские *с* и *з*, звуки, средние между сонантами и соответственными шумными, и многое другое. В конце концов большинство гласных реальных языков будут лишь приблизительно отождествляться с теми или другими типами (недаром в таблицах гласных нет даже клеток): гласные разных языков так редко совпадают друг с другом, особенно в деталях.

Далее, клеточки и ряды таблиц представляют собою состояние нашей науки на сегодняшний день, по крайней мере, как она представляется на сегодняшний день в Ленинградской Лаборатории экспериментальной фонетики. Подобно тому как я прибавил кое-какие новые типы звуков, так дальнейшее исследование наверно прибавит и еще новые, а также уточнит определения старых.

Наконец, надо признать и то, что хотя таблицы в принципе и стремятся дать классификацию звуковых возможностей речевого аппарата как такового, однако совершенно несомненно, что фонематическое использование этих возможностей в хорошо исследованных до сих пор языках играло большую, хотя и не всегда сознательную, роль в установлении звуковых типов.

Перехожу к отдельным таблицам \*\*. В таблице все в большинстве

---

\*\* В статье словом «таблицы» обозначены собственно таблица и рисунки. — [Примеч. ред.]

Основные типы согласных и некоторые знаки для них  
*Consonantium sonorum genera principalia litteraeque quaedam ad eos exprimendos*

| По Щербе               |                     |                    | Губные-Labiales             |                             | Переднеязычные-Praelinguales |                           |                     |                     | Среднеязычные Mediolinguales | Заднеязычные Postlinguales | Увулярные-Uvulares  |                               | Фарингальные-Pharyngales      |                   | Гортанные Laryngales |     |  |  |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----|--|--|
|                        |                     |                    | Губно-губные Labio-labiales | Зубно-губные Denti-labiales | Ретрофлексные Retroflexae    | Какуминальные Cacuminatae | Апикальные Apicales | Дорсальные Dorsales |                              |                            | Язычные Linguales   | Фарингальные Faucales         | Верхние Superiores            | Нижние Inferiores |                      |     |  |  |
| Смычные - Occlusivae   | Шумные - Explosivae | Чистые Purae       | p b                         |                             | t d                          | t̪ d̪                     | t̺ d̺               | t̻ d̻               | t̼ d̼                        | h ɦ                        | K g                 | q c                           |                               |                   | ç                    | ʔ   |  |  |
|                        |                     |                    | m                           | ɱ                           | ɳ                            | ɲ                         | ɳ̺                  | ɳ̺̻                 | ɳ̺̼                          | ɳ̺̽                        | ŋ                   | ŋ̺                            | ŋ̺̻                           |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    | p̂ b̂                       |                             |                              |                           | t̂ d̂               | t̻̂ d̻̂             | t̼̂                          | t̂̽                        |                     | K <sup>x</sup> g <sup>x</sup> | q <sup>x</sup> c <sup>x</sup> |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             |                              |                           | t̺̻̂ d̺̻̂           | t̺̼̂                | t̺̂̽                         |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             |                              |                           | t̺̻̻̂ d̺̻̻̂         | t̺̻̼̂               | t̺̻̂̽                        |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             | t̺̻̼̻̂ d̺̻̼̻̂                | t̺̻̼̼̂                    | t̺̻̼̂̽              |                     |                              |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        | Сонанты - Sonantes  |                    | m                           | ɱ                           | ɳ                            | ɲ                         | n                   | n                   | ɳ̺̻̻̻                        | ŋ                          | ŋ̺̻̻̻               |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
| Щелевые - Rimales      | Шумные - Fricativae | Срединные - Mediae | ф β                         | f v                         |                              | ɹ                         | θ ð                 | θ ð                 | ç j                          | x ɣ                        | χ ʁ                 |                               |                               | ç ʃ               | h ɦ                  | ʌ ɤ |  |  |
|                        |                     |                    | ɸ ɸ̂                        |                             | ʂ ʐ                          | ʂ ʐ                       | ʂ ʐ                 | ʂ ʐ                 | ʂ̺̻̻̻ ʐ̺̻̻̻                  | ʂ̺̻̻̻̻ ʐ̺̻̻̻̻              | (ʂ̺̻̻̻̻̻̻ ʐ̺̻̻̻̻̻̻) |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             |                              |                           |                     |                     |                              |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             |                              |                           |                     |                     |                              |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             |                              |                           |                     |                     |                              |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        |                     |                    |                             |                             |                              |                           |                     |                     |                              |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        | Сонанты - Sonantes  |                    | ɸ ɸ̂                        | ʋ                           |                              | ɹ                         |                     |                     | j                            | ɣ                          | ʁ̺̻̻̻̻̻̻            |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
| Дрожжающие - Vibrantes | Шумные Fricativae   |                    | ɸ                           |                             |                              | ɹ                         | ɹ̺̻̻̻̻̻̻            |                     |                              |                            |                     |                               |                               |                   |                      |     |  |  |
|                        | Сонанты - Sonantes  |                    |                             |                             |                              | ɹ                         | ɹ̺̻̻̻̻̻̻            |                     |                              |                            |                     | ʁ                             |                               |                   |                      |     |  |  |

случаев объясняется надписями. Надо отметить только то, что вместо терминов «зубные», «палатальные» или «средненёбные» (а иногда также «твердонёбные») и «задненёбные» (иногда «мягконёбные», или велярные) я употребляю вслед за Бодуэном «переднеязычные», «среднеязычные», «заднеязычные» и «увулярные» (лучше бы сказать «велярные», но термин чересчур двусмысленный). И это не только по теоретическим соображениям о необходимости классифицировать звуки речи по действующим органам (ср. сказанное выше о лежащих в существе дела моторных импульсах), а и по чисто практическим.

Все понимают, что под «зубными» надо разуметь «переднеязычные» и что слово «зубные» является лишь традиционным термином. Но уже с «палатальными», или «средненёбными», или «твердонёбными» дело обстоит гораздо хуже: одни авторы готовы загнать туда польские *ć, dź, ś, ź*;

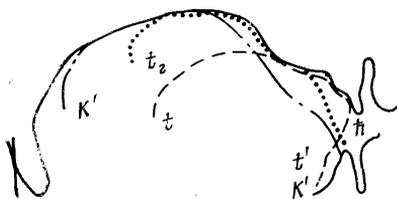


Рис. 1

Рис. 1. Профили палатальных (среднеязычных) и палатализованных смычных согласных: — — — — палатализованные заднеязычные; — — — — палатализованные переднеязычные; . . . . . среднеязычные (палатальные).

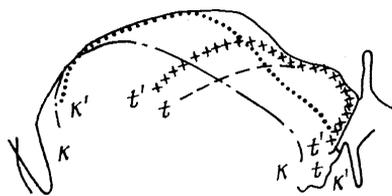


Рис 2

Рис. 2. Профили палатализованных и непалатализованных смычных согласных: — — — — непалатализованные переднеязычные; + + + + палатализованные переднеязычные; — — — — непалатализованные заднеязычные; ..... палатализованные заднеязычные.

другие — русские *кь, гь*; третьи помещают туда только палатальные звуки романских языков. Между тем это совершенно своеобразная категория, которая прекрасно представлена в латышских перечеркнутых *k, g, n, l*. Настоящее латышское [среднеязычное] *k* напоминает и русское *ть*, и русское *кь*, но не совпадает с тем, ни с другим, являясь их контаминацией (правильная их артикуляция показана на рис. 1). Звуки эти известны также в венгерском, в некоторых тюркских (азербайджанском, туркменском, хорезмийском говоре узбекского языка), в романских говорах, в некоторых североазиатских языках и вообще вовсе не редки. Но хуже всего причислять сюда русские *кь, гь*, которые являются обыкновенными заднеязычными, но палатализованными, как это показано на рис. 2. Смычка у них, как это является вполне естественным при палатализации, несколько продолжена вперед, но в основном она остается на месте твердого *k* или лишь немного продвигается вперед; зато можно артикулировать сильно продвинутое вперед «*k*», что будет ясно слышно на слух, — которое будет твердым, непалатализованным (обо всем этом см. рис. 3): таково будет французское *c* в словах *cave, cage*, особенно в парижском просторечии. Сказанное не исключает, конечно, того, что русские *кь, гь* склонны продвигаться вперед, а по говорам, может быть, и переходить в соответственные среднеязычные (фонетическая природа произношений *тисть* и *андел* мне неизвестна).

Позволю себе надеяться, что русские учебники после настоящих разъяснений перестанут называть средненёбными русские *кь, гь*; это справедливо в общем и по отношению к *хь*; но здесь мне известно и среднеязычное произношение «*ç*» (ср. рис. 4), которое, впрочем, я никак не могу считать литературным.

Наконец, нужно несколько слов сказать о противоположении «заднеязычных» и «увулярных». Многие лингвисты склонны здесь видеть менее или более глубокие *к, г*. Между тем суть вещей состоит совсем в другом: при заднеязычных поднимается и активно действует спинка языка; при увулярных — опускается и активно действует край мягкого нёба (конечно,

вовсе не uvula, которая активна лишь при раскатистых увулярных «г»). И те, и другие могут быть более или менее глубокими, в конце концов легко произнести очень переднее «q» и гораздо более глубокое «к». Внешне артикуляцию «к» и «q» можно сделать совершенно одинаковой, вероятно, можно даже добиться более или менее одинакового слухового впечатле-

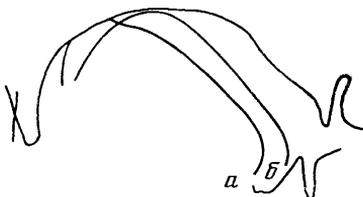


Рис. 3

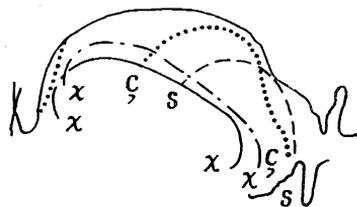


Рис. 4

Рис. 3. Профили типов щелевых согласных: — — — — — переднеязычные; . . . . . среднеязычные; —.—.— заднеязычные; — увулярные.

Рис. 4. Профили глубокого заднеязычного (а) и продвинутого вперед (б).

ния; но для говорящих это будут всегда два совершенно разных звука, так как они имеют совершенно различную иннервацию (ср. опять сказанное выше).

Что касается фарингальных, то уже давно было констатировано, что арабские аин и гамза произносятся в результате неполного фарингального сжатия (возможно, что в некоторых случаях или диалектах они сопровождаются полным сжатием, т. е. представляют собой нечто вроде аффрикат). Я прибавляю еще другой тип фарингальных, произносящихся где-то ниже: дело в том, что гамзу можно произносить двумя способами — как гортанный взрыв «ʔ» (как я это слышал в сирийском арабском) и как взрыв, устраиваемый в другом месте дыхательного пути, по-видимому, у выхода, из гортани (как я это слышал в Средней Азии). Я умею произносить гамзу обоими способами, и не может быть никакого сомнения, что это два и акустически, и артикуляционно совершенно разных звука. Дело, конечно, не в гамзе, а в том, что таким путем выясняется новая артикуляционная зона. Раз там возможно и неполное смыкание (т. е. образование щелевых), то я отношу туда и пару *h* [и соответствующий ему звонкий согласный], помещение которых в гортани, между голосовыми связками, вызывает, по-моему, серьезные затруднения. На долю голосовых связок (конечно, помимо голоса) остаются разнообразные типы шепота, в том числе и шумы, сопровождающие голос при неплотно закрытых голосовых связках, ср. «*lufterfüllte Stimme*» Forchhammer'a (их не бывает, собственно, лишь у высоких и кристально чистых голосов)<sup>4</sup>.

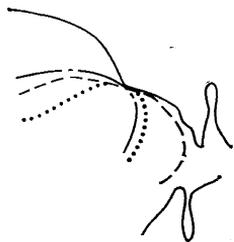


Рис. 5. Профили дорсальных, апикальных и какуминальных переднеязычных согласных: — — — — — дорсальная артикуляция; —.—.— апикальная; . . . . . какуминальная.

Несколько слов надо сказать о различных типах переднеязычных. Место артикуляции вообще не предусматривается в наших таблицах. Каждая артикуляция может быть продвинута или выдвинута вперед и отодвинута назад (см. таблицу дополнительных знаков). Зато подвижная передняя часть языка может артикулировать разными способами, которые наглядно иллюстрируются рис. 5. Нужно иметь в виду, что в конце все эти типы могут быть и зубными, и альвеолярными, хотя, конечно, какуминальные обыкновенно бывают альвеолярными, а дорсальные зубными (однако это последнее вовсе не обязательно: очень распространено против-

<sup>4</sup> Обо всем этом я готовлю специальное экспериментальное исследование: пока это лишь предварительное сообщение фонетика-практика.

положение зубного «t» альвеолярному «d», которое находит себе простое механическое объяснение в меньшей воздушности «d»). Яркое противоположение дорсальных и апикальных иллюстрируется, например, русскими или французскими «t, d, s, z», с одной стороны, и теми же звуками в английском. Противоположение артикуляций дорсальной и апикальной, с одной стороны, и какуминальной, с другой, можно констатировать между «t, d, n, s, z» и «g», во множестве языков — русском, французском, немецком, английском и т. д. В русском «ṣta, ṣḍa» какуминальные противопологаются дорсальным «sta, zda», «ṣ, ṣḍ» фонематически, а «t, d» лишь как комбинаторные варианты фонем «t, d» и то, может быть, не у всех. Ретрофлексный ряд как противопологающийся дорсальному (или апикальному) характеризует, как известно, санскрит, многие новоиндийские языки и ваханский из новоиранских.

Понятие двухфокусных, с точки зрения слухового впечатления называемых шищящими, выясняется из противоположения «s» — «ṣ».

## РЕЦЕНЗИИ

**Язык и идеология. Критика идеалистических концепций функционирования и развития языка.** Под ред. Жлуктенко Ю. А. Киев: Вища школа, 1981. 242 с.

Десять украинских лингвистов<sup>1</sup> опубликовали интересную и весьма актуальную книгу. Ее создатели проанализировали различные проблемы, которыми занимаются зарубежные лингвисты идеалистической ориентации. Так как таких ученых и таких ориентаций с различными оттенками очень много, то, естественно, осветить все подобные теории в одном, сравнительно небольшом исследовании, невозможно. Да к этой цели авторы и не стремились. Но то, что они все же сделали, и интересно, и поучительно.

Отмечу прежде всего, что авторы еще раз доказали: понятие «современная лингвистика», которым пользуются очень многие, в том числе и советские ученые, несостоятельно. «Современная лингвистика» — это арена борьбы разных, нередко диаметрально противоположных теоретических концепций языка. Одни из этих концепций прогрессивны, способствуют развитию нашей науки, ее движению вперед, другие — реакционны, мешают развитию науки о языке, тянут ее назад. Разобраться во всем этом многообразии совсем непросто. Вместе с тем авторы рецензируемой книги убедительно показывают опасность методологического эклектизма, методологического плюрализма: многие ученые сейчас рассуждают так, будто бы научная истина раскрывается в процессе объединения всех теорий в единое целое. Но объединить теоретически несовместимое и невозможно, и бесплодно. Нельзя, например, объединить концепцию, согласно которой история любого языка с большой литературной традицией, на котором говорят многие миллионы людей, является историей его неуклонного, хотя и сложного исторического совершенствования, с противоположной концепцией, весьма модной в наше время, согласно которой «все символические системы (в том числе и язык) способны видоизменяться, но совсем не способны развиваться» [1].

Получается так, будто бы всякий язык может лишь топтаться на месте. При такой безотрадной и бесперспективной постановке вопроса ни о каком историческом языкознании не может быть и речи. Вот и бытуют одновременно методологически несоместимые концепции языка. И таких

примеров нетрудно привести множество. В зависимости же от того, какую общую теоретическую концепцию разделяет тот или иной исследователь (сознательно или даже бессознательно), определяется и освещение более конкретных вопросов, которыми он занимается.

Лингвистика нашего времени характеризуется наличием двух, на мой взгляд, диаметрально противоположных и взаимно исключаящих друг друга тенденций: с одной стороны, как будто бы стала процветать социальная лингвистика со всеми вытекающими отсюда последствиями — пристальным вниманием к таким ее вечным проблемам, как язык и общество, язык и люди, язык и мышление людей, их думы, чувства, радости, горести в их же языковом выражении. А с другой — настоячивые призывы изучать язык «в самом себе и для себя» (тезис, идущий от Соссюра), постоянные опыты отождествления естественных языков человечества во всем их бесконечном многообразии и разнообразии с искусственными кодами, где все строится принципиально иначе, чем в естественных языках. В кодовых построениях невозможна многозначность слов и их переносные осмысления, здесь совсем излишня синонимика синтаксических средств, а богатство ресурсов языка воспринимается в кодах не со знаком плюс, а со знаком минус.

Вот и оказывается, что лингвистика, о которой пишут наши авторы, характеризуется двумя противоположными тенденциями: призывами анализировать язык «в самом себе и для себя», с одной стороны, и с социологическими декларациями — с другой.

Разумеется, вполне допустимо рассуждать и так: в одних случаях людям может понадобиться код с его прямолинейной и элементарной структурой, а в других — естественный язык с его бесконечно более сложной структурой и с бесконечно более широкими возможностями (что особенно существенно). Это совершенно верно, и с такими достижениями лингвистики нашей эпохи все мы обязаны считаться. Но вот что должно вызвать решительное возражение: нельзя исследовать естественные языки человечества так, будто бы они «устроены» по образу искусственных кодовых построений. Нельзя, ибо сущности тех и других принципиально и глубоко различны и их функции. Сложность каждого естественного языка с большой исторической традицией является следствием самой его

<sup>1</sup> Авторский коллектив: А. А. Белецкий, И. И. Борисенко, Ю. А. Жлуктенко, В. И. Карaban, Ф. А. Никитина, О. Е. Семенец, С. В. Семчинский, Е. Н. Старикова, И. Ф. Ухванова-Шмыгова, А. И. Чередниченко.

природы. Многоаспектность и многогранность естественного языка дают ему возможность быть средством передачи духовного мира людей нашей сложной современной эпохи. Принципиально иной оказывается природа кода: в своей элементарности она ограничивает возможности человека.

Вот почему стремиться изучать естественные языки человечества с позиции кодовых построений невозможно, но сами по себе кодовые построения и их «устройство» представляют несомненный интерес и для лингвиста. Хотя авторы обсуждаемой публикации об этом и не говорят, однако материалы, ими собранные и проанализированные, об этом свидетельствуют.

В центре рецензируемой книги — проблемы творческого характера языка. В наше время существует множество совершенно несходных истолкований самого этого понятия. Для Хомского и его последователей творчество здесь выражается в том, что по модели одного предложения (например, *Я строю дом*) люди могут воспроизводить бесконечное количество других предложений. При этом Хомский считает подобное «творчество» совершенно автоматическим. Умение говорить он сравнивает и даже отождествляет с различными физиологическими действиями, в частности, — с умением ездить на велосипеде (с. 60). Стремление отождествить язык с элементарным кодом и здесь обнаруживается с предельной ясностью.

Совершенно иначе творческий характер языка истолковывают неогумбольдтианцы. Как известно, В. Гумбольдт (1767—1835) был великим лингвистом-мыслителем. Поэтому недопустимо смешивать гумбольдтианство и неогумбольдтианство (что весьма часто наблюдается в наши дни), как мы не смешиваем гегельянство и неогегельянство. Творческий характер языка Гумбольдт истолковывал с прогрессивных позиций. Он справедливо обращал внимание на большую роль языка в процессе познания и умел обосновывать подобную роль не только теоретически, но и практически, на интересном языковом материале. И хотя «дух языка» Гумбольдт понимал идеалистически, сама попытка проанализировать функцию языка в процессе познания имела большое научное значение.

Неогумбольдтианцы нашей эпохи ставят вопрос уже совсем иначе. Б. Уорф, Л. Вайсгербер и их последователи принцип активности языка превращают, с одной стороны, в принцип его полной и абсолютной относительности, а с другой — в принцип дробления языка на всевозможные «подязыки», вплоть до положения, гласящего «сколько индивидуумов, столько и языков». При такой постановке вопроса от социальной природы языка ничего собственно не остается (с. 109). В наше время сама эта проблема приобретает очень большое общественное значение: научно-техническая революция способствует созданию особых «подязыков», нередко резко отличающихся друг от друга. К тому же и классовое расслоение общества, углубляющееся в капита-

листическом мире, способствует тому же процессу дробления единого языка на своеобразные «подязыки». Тем не менее большие языки, на которых говорят десятки миллионов людей, с о х р а н я ю т с в о е е д и н с т в о. И лужно прямо сказать, что это важнейшая не только лингвистическая, но и остросоциальная проблема все еще мало изучена: как силы, объединяющие язык, не только противостоят силам, разъединяющим язык, но и побеждают эти последние. Именно поэтому мы можем говорить о едином русском языке, как мы говорим о едином английском, едином арабском или едином японском языках, несмотря на наличие у них всевозможных «вариантов» и разновидностей.

В советском языкознании и эта проблема решается принципиально иначе сравнительно с ее освещением у неогумбольдтианцев или у последователей Хомского (см. об этом с. 137 и сл.).

В этой связи хотелось бы особенно выделить удачный третий раздел книги, посвященный функционированию языков в развивающихся странах, соотношению между европейскими и так называемыми местными языками в странах Азии, Африки и Латинской Америки (с. 190—238). Авторы справедливо отмечают, что подобное соотношение в различных странах неодинаково. Например, в бывших французских колониях, в таких, как Алжир, Конго, Мали, Гвинея и Бенин, избравших социалистическую ориентацию, в лексике французского языка, бытующего на их территориях, развиваются соответствующие слова и словосочетания, семантические характерные для лексик и фразеологии европейских социалистических стран и менее характерные для французского языка в самой Франции (с. 203). Нередко тот или иной европейский язык в Азии или в Африке приобретает функцию, не предусмотренную бывшими колонизаторами. Так, английский язык в некоторых азиатских странах дает возможность руководителям освободительного движения, ранее говорившим только на разных местных языках и не понимавшим друг друга, обрести подобное понимание с помощью английского языка (с. 217).

Так общественная значимость того или иного языка детерминирована его же социальными функциями. Все это несколько не умаляет значения местных языков в культуре тех или иных народов. И авторы справедливо отмечают, что тот же английский язык «в руках неоконколлизаторов» может выступать «как инструмент идеологической экспансии». Поэтому о «двойственном характере языка метрополины народы развивающихся стран должны постоянно помнить» (с. 225). В книге хорошо обосновано, как казалось бы одни и те же политические термины совершенно различно толкуются представителями различных идеологических убеждений (с. 168, 173).

Нельзя не присоединиться к автором и тогда, когда они показывают, что понятия *т о ч н о с т и* и *с т р о г о с т и* в науке о языке ни в какой мере не сводятся к цифровым выкладкам, как это

теперь часто считают. Можно оперировать цифрами и быть при этом неточным. И возможно совсем иное соотношение: быть предельно точным, не прибегая ни к каким цифровым подсчетам. Справедливы и суждения о псевдоматематической терминологии Хомского (с. 78). Мы не имеем никакого права забывать, что В. И. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, заметил: «Метод философии должен быть ее собственным (не математики...)» [2]. Безусловно, то же следует сказать и о лингвистике: у нее должен быть собственный метод (не математики), хотя в известных, отдельных случаях и математики может быть полезной.

Высоко оценивая исследование украинских лингвистов в целом, я считаю своим долгом все же сделать несколько необходимых, как мне кажется, критических замечаний:

1) О знаке и знаковой теории написаны горы книг и статей, и все же вопрос о том, как следует понимать «знаковость» языка, остается открытым. В рецензируемой книге раздел о «знаковых системах» написан в целом интересно (с. 80—100), но положение одностороннем характере языкового знака представляется мне ошибочным. Если согласиться с этим тезисом, то надо будет признать, что и наше мышление имеет знаковый характер — доктрина, противоречащая, как известно, и диалектическому материализму, и человеческой практике. Как мне уже приходилось писать, «знаковость языка» — его вторичный признак, — ибо язык является прежде всего «практическим, действительным сознанием». Вместе с тем авторы рецензируемой публикации правы, считая, что из весьма запутанного семиотического лабиринта нам должна помочь выбраться «ариаднина нить материалистической диалектики и ленинской теории отражения» (с. 81).

2) Уже в подзаголовке книги (см. выше) справедливо отмечается исключительная важность исследования проблемы развития языка. Между тем о самой проблеме развития в книге сказано очень мало. Об этом нельзя не сожалеть, так как нападки на доктрину развития языка,

вплоть до полного отрицания его развития, стали весьма модными во всех антиматериалистических концепциях языка.

3) Третье замечание сводится как будто бы к «мелочам», хотя «мелочей» (в отрицательном смысле) в научном исследовании не может быть вовсе: а) не следует употреблять нелепый термин *набор* (с. 88, 94, 119), создающий впечатление о языке, как о чем-то случайном («набор элементов», «набор правил» и пр.), б) не следует цитировать серьезные исследования по их случайным отрывкам, данным в различных учебных хрестоматиях (с. 65), в) в рассуждениях об особенностях построения диалога нельзя было не упомянуть блестящую публикацию на эту тему выдающегося советского филолога Л. П. Якубинского (с. 131), г) хотя книга написана просто и ясно — это ее несомненное достоинство, — но все же в ней иногда чувствуется влияние так называемого гегелтерского стиля (бедствие нашего времени!) в виде предложений типа «...единица результативности закрепление за словами информации...» (с. 141).

Оценивая исследование в целом, я еще раз хочу подчеркнуть его актуальность и бесспорную научную ценность. Нельзя только не сожалеть, что книга вышла ничтожно малым тиражом в 1500 экземпляров. Будем ожидать ее нового, расширенного и дополненного, издания<sup>2</sup>.

Будагов Р. А.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Gras A.* Le temps de l'évolution. — *Dio-gène*, 1979, N 108, p. 69.
2. *Ленин В. И.* Конспект книги Гегеля «Наука логики». — Полн. собр. соч., т. 29, с. 88.
3. *Крючкова Т. В.* К вопросу о многозначности «идеологически связанной» лексики. — ВЯ, 1982, № 1.

<sup>2</sup> История изучения проблемы «язык и идеология» в советском языкознании 30—40-х гг. освещена в статье Т. В. Крючковой [3].

**В. Н. Ярцева.** *Контрастивная грамматика.* — М.: Наука, 1981. 110 с.

Исследования в области так называемой «контрастивной лингвистики» привлекают к себе все больше внимания в современном мировом языкознании. Наибольший подъем контрастивных исследований, разработка дидактических и прикладных программ в различных странах приходится на 60-е годы, но и в 70-е годы внимание к этой области лингвистики не ослабевало. Контрастивная тематика была представлена на двух последних Международных конгрессах лингвистов (Болонья — 1972 г., Вена — 1977 г.), доклад на эту тему (Я. Юхаз, Будапешт) был включен в программу пленарного за-

седания VI Международного конгресса германистов (Базель — 1980 г.). Однако несмотря на это до настоящего времени многие принципиальные положения этого лингвистического направления не получили определения. Нет, в частности, единства взглядов относительно объема самого понятия «контрастивности», неодинаков подход к оценке содержания, статуса и внутренней структуры контрастивной лингвистики как особой отрасли языкознания, нет критериев выделения этого раздела лингвистики на фоне уже существующих.

Именно это обстоятельство, как нам

представляется, побудило В. Н. Ярцеву написать книгу, в которой впервые предлагается общая теория контрастивного исследования на примере грамматики (теория контрастивной грамматики) и обсуждаются общие и наиболее дискуссионные положения этого направления исследований в целом. Появление книги следует особенно приветствовать прежде всего потому, что перу ее автора принадлежат многие работы в данной области, получившие широкую известность среди специалистов не только у нас, но и за рубежом.

Книга В. Н. Ярцевой, открывающаяся кратким предисловием, состоит из трех глав, заключения и библиографии, включающей названия около 60 работ, опубликованных на русском и иностранных языках.

Изложение первой главы — «Место контрастивной лингвистики среди других разделов науки о языке» (с. 4—31) — начинается с утверждения, что появление за последние два десятилетия многообразных работ по проблемам контрастивной лингвистики свидетельствует о формировании новой отрасли языкознания. Развитие теоретического интереса к лингвистическим аспектам понятия «контрастивности» произошло в ходе обучения иностранным языкам. Дидактические положения, которые легли в основу указанного лингвистического направления, удачно сформулированы Ч. Фризом: «Наиболее эффективны те материалы, которые основаны на научном описании изучаемого языка с тщательным сравнением с результатами параллельного описания родного языка учащегося» [1]. К этому выводу Ч. Фриз пришел на основании наблюдений, сводящихся к тому, что изучение иностранного языка происходит иным путем, чем овладение родным языком, поскольку обучающийся уже владеет накопленной языковой системой (родной язык), которая, безусловно, интерферирует в процессе обучения иностранным языку. Феномен интерференции необходимо учитывать при построении стратегии обучения, поэтому такая стратегия требует создания сопоставительно (конфронтативно) ориентированных учебных материалов. Известно, что Р. Ладо, тесно сотрудничавший с Ч. Фризом в Мичиганском университете, попытался позднее применить эти положения [2], но помимо этого он разработал (также совместно с Ч. Фризом) курс английского языка [3], который можно рассматривать в качестве практического воплощения идеи систематизации лингвистического сравнения для целей преподавания.

Безусловно, проблема интерференции и задача преодоления ее отрицательного воздействия, в равной мере как и сознательное использование ее положительных влияний на процесс обучения на основе сопоставительно представленного учебного материала, не являются чем-то новым для специалистов. В связи с этим В. Н. Ярцева указывает на Л. В. Щербу, который, как хорошо известно, придавал большое значение сопоставительному изучению языков не только для усвоения иностранного языка, но и для лучшего

понимания особенностей родного языка и проникновения в суть его структур.

По мере того, как увеличивалось число контрастивных работ, расширялось и понимание объема и пределов их задач, в том числе и для целей оценки постулатов и требований самой лингвистической теории. Так постепенно сложилось представление об известной двойственности назначения контрастивного исследования, служащего как целям дидактики, так и теории языка, но наряду с этим разрабатывающего самостоятельные программы, соответствующие каждой из этих целей.

Остановившись на перечислении конкретных проектов и разработок по контрастивному исследованию языков в разных странах (сербохорватско-английский в ФРГ, румынско-английский в Румынии и др.), В. Н. Ярцева сосредотачивает внимание на основных специфических чертах контрастивного анализа, что подводит ее к решению главной задачи данной главы — определению места контрастивной лингвистики среди других разделов языкознания.

Идея контрастивного анализа для целей преподавания языков основывалась на задаче поисков путей преодоления трудностей в усвоении изучаемого языка. Выявить их характер и объем представляется возможным, по мнению специалистов, на основе «грамматики ошибок», образующейся при выяснении, какие именно черты родного и иностранного языков не накладываются друг на друга и в какой области (структурной или семантико-функциональной) лежат их расхождения. Таким образом, сравнение для выявления языкового контраста становилось важнейшей задачей лингвистического анализа в дидактических целях.

Контрастивный анализ для целей теории языка основывается на сравнении и выявлении сходств и различий между языками, т. е. на интерпретации всех результатов наложения двух языков друг на друга по тому или иному параметру языковых систем. В этой связи В. Н. Ярцева подчеркивает, что «сравнение языков плодотворно лишь при наличии хотя бы одного сходного элемента их структуры, т. к. мало пользы от сравнительного изучения в том случае, если приходится каждый раз констатировать, что сравниваемые предметы ни в чем не имеют сходства» (с. 9). Далее В. Н. Ярцева показывает, что отношения сходства могут быть сведены к трем типам: сходство генетическое, сходство функциональное и сходство элементов структуры или приемов передачи грамматических значений. Выявление того или иного типа сходства сближает, таким образом, контрастивный анализ как со сравнительно-историческим изучением языков, так с типологическими исследованиями и теорией языковых универсалий. Одновременно В. Н. Ярцева раскрывает специфические черты каждого из подходов языкового анализа, подчеркивая при этом, что, имея различные цели и приемы исследования, эти направления обладают пограничным характером и могут способ-

ствовать продвижению контрастивных исследований (с. 23).

Раскрывая дальнейшие связи контрастивной лингвистики с другими разделами науки о языке, В. Н. Ярцева рассматривает отношения контрастивного анализа и психолингвистики, а также связи этого направления с проблематикой социолингвистических исследований. В целом эти отношения могут быть определены и как непосредственные, и как опосредованные в зависимости от характера их взаимодействия, целей и приемов изучения (с. 24—31).

Вторая глава — «Грамматический уровень структуры языка и модель его анализа» (с. 32—66) — подчинена задаче раскрытия сущности контрастивного анализа применительно к грамматическому строю языка, являющейся основной целью книги, обозначенной и в ее названии. Еще в первой главе, говоря о том, что сравнение может и должно охватывать все уровни организации системы языка и что нельзя, например, не учитывать столь «рыхлую» область языка, как лексика, которая связана в отдельных своих участках с грамматическим строем языка (с. 16), В. Н. Ярцева подчеркивает то положение грамматики, которое она занимает в определении языкового типа, понятия столь же актуального для контрастивного анализа, как и для типологии языков (с. 31).

Глава начинается с разработки методов, используемых для контрастивных исследований. Прежде всего В. Н. Ярцева возражает против мнения Г. Никкеля, будто «контрастивная лингвистика не зависит от какой-либо особой модели описания языка, что касается моделей, то контрастивная лингвистика просто требует унифицированной манеры сравнения» [4]. Она подчеркивает, что именно «правильность избранного метода обеспечивает истинность результатов научного исследования, их соответствие реальной действительности, возможность их практического использования», а отрицание «важности метода анализа неизбежно приводит к агностицизму...» (с. 34). Говоря о различных попытках применения при контрастивном анализе таких подходов, как трансформационно-порождающая модель языка Н. Хомского и З. Хэрриса, В. Н. Ярцева раскрывает их недостатки на фоне оценки грамматического анализа, проводимого «от формы к содержанию» или «от содержания к форме». Проблема соотношения формы и содержания в контрастивной грамматике, подчеркивает В. Н. Ярцева, осложняется тем обстоятельством, что в поле зрения желательно одновременно держать два языка, каждый из которых обладает своеобразием как форм, так и их значений. Поэтому в практике контрастивных исследований обычно либо рассматривают набор сходных форм в двух языках и затем определяют круг выражаемых ими значений, либо, исходя априорно из какой-либо одной категории, выясняют тип ее передачи в двух языках. В целом в последнее время в контрастивной грамматике начинает преобладать подход «от содержания к форме» (с. 35).

По ходу дальнейшего анализа методов и приемов контрастивной грамматики В. Н. Ярцева противопоставляется на попытках вовлечения «в зону исследования как структурных, так и смысловых черт сравниваемых языков», т. е. на синтезе подходов «от содержания к форме» и «от формы к содержанию» (с. 37—38). Далее проверка подвергается тезис Хэллidayя — Макинтоша — Стривенса о том, что имеется два основных положения сопоставительно-описательной лингвистики: «описывай раньше, чем сравнивай» и «сравнивай модели, а не языки в целом». Отмечая как положительные стороны такого подхода, так и его серьезные недостатки, В. Н. Ярцева заключает, что «в целом желателен индуктивный подход к исследуемому материалу, который гарантирует, что не будет навязано данному языку то, что в общем ему чуждо» (с. 45). Включая в свой собственный анализ различных теоретических положений конкретный языковой материал, В. Н. Ярцева показывает отношения взаимосвязи лексик и грамматики, проблемы лексико-семантических условий использования грамматических форм и др. При установлении семантических корреляций между языками возникает проблема вариантов и инвариантов значений грамматических форм и необходимость учета таких, например, понятий, как футуральность, илтеративность и их значений в разных языках в случае привлечения категории языковых универсалий (с. 56). Вывод, к которому приходит В. Н. Ярцева, сводится к установлению следующей стратегии анализа: при сопоставительном изучении языков важно расчленить материал (в качестве предварительного приема исследования) сообразно различным сторонам (уровням) языковой системы, а затем выделять для каждой из них то количество «малых подсистем», члены которых связаны семантическими и функциональными корреляциями (с. 66).

Заключительная — третья глава книги «Грамматические корреляции генетически родственных и типологически сходных и несходных языков» (с. 67—104) представляет собой следующий ярус программы контрастивного анализа. Речь здесь идет о путях установления при анализе сходств и различий меры схождения и расхождения, связанных с такими понятиями, как генетическая принадлежность сравниваемых языков, их типологическая отнесенность, индексация социально-коммуникативных функций сравниваемых элементов в системе языка и др. Судя по всему, перечень вопросов этого характера приводится из дидактики, поскольку, как отмечает В. Н. Ярцева, «в теоретических работах по контрастивным исследованиям ответов на поставленный вопрос найти нельзя» (с. 67). Но и дидактическое осмысление этих положений, например, почему испанцу труднее выучить китайский, чем итальянский, дает возможность получения полезных сведений для «контрастивиста». Они не могут ответить на вопрос о лингвистических причинах тех или иных затруднений, но понятия «свое», «чужое», «трудное», «легкое» и т. д. здесь

следует рассматривать не «вообще», а в его конкретизации применительно к тому или иному уровню языка и с учетом генетических и типологических связей сравниваемых языков. В этой связи В. Н. Ярцева вновь возвращается к положению о направлениях контрастивного исследования и необходимости сочетания анализа как формы, так и содержания. При этом В. Н. Ярцева подчеркивает значение функционального подхода, отмечая, что именно благодаря последовательному применению понятия формы и функции в языке она считает работу В. Г. Гака [5] по сопоставлению французского с русским языком «самым значительным явлением в литературе по проблеме сопоставления языков за последние годы» (с. 70).

Функциональный подход в контрастивной грамматике неизбежно ставит вопрос о соотносительной роли морфологии и синтаксиса в строе данного языка и делает необходимым выявление центральных и периферийных значений того или иного грамматического элемента и определение сильных и слабых звеньев парадигмы. Подобные соображения побуждают исследователя искать центральную семантическую зону, которая может быть общей для однопорядковых форм двух языков. В этой связи В. Н. Ярцева обращается к оценке понятия семантического поля применительно к задачам контрастивного анализа. Соответствующий раздел главы разработан на основе фактического материала целого ряда языков (русский, английский, немецкий, французский, венгерский, турецкий, суахили и др.) при широком использовании соответствующих теоретических положений таких исследователей, как Т. Г. Акимова, Н. А. Баскаков, А. В. Бондарко, В. Г. Гак, М. С. Гурьчева, Н. А. Козничева, Ю. С. Маслов, Л. А. Покровская, А. А. Холодович, а также Б. Трнка, Б. Херцлик и др. Именно возможность известной опоры контрастивного анализа на достижения исследователей в области типологического изучения языков подтверждает наличие зон пограничных интересов обоих направлений, на что указывала В. Н. Ярцева еще в первой части своей книги.

Заключение книги дает основание для вывода о том, что контрастивное исследование всегда предполагает гибкое использование совокупности различных приемов с учетом структуры грамматических подсистем сравниваемых языков и типа языка. Такое исследование включает в себя, таким образом, учет логико-грамматической модели предложения, воплощение синтаксической схемы предложения в морфологически оформленных единицах морфологического уровня, а также актуальное членение предложения в его коммуникативной направленности, лексико-семантическое наполнение синтаксической модели, в особенности для случаев лексического или контекстуального разрешения синтаксической синонимии (с. 106).

Рецензируемая книга представляет со-

бой первое систематическое описание общей теории контрастивного анализа, специально ориентированное на грамматический строй языка. Несомненной ценностью книги является теоретическая интерпретация целого направления в современном языкознании, в результате чего стало возможным наметить линии, отделяющие его от других направлений лингвистического анализа, определить общие черты, сближающие эти направления с контрастивным подходом, а также охарактеризовать статус данного направления в качестве самостоятельного раздела науки о языке. Все это автору удалось сделать в книге объемом всего в шесть печатных листов.

В работе, которая сразу же становится для многих специалистов настольной, хочется, как в энциклопедии, сразу найти ответ на все вопросы, все сведения о предмете, хотя и понятно, что это не реально. В пределах более обширной книги можно было бы углубить анализ терминологического описания данного направления (ср., например, попытки Л. Заброцкого разграничить контрастивную и контрастивную грамматику, тогда как у других авторов оба определения используются синонимично [6], рассмотреть более полно типологию контрастивных грамматик (ср., например, интересный опыт контрастивного исследования диалекта и литературного языка внутри единого национального языка, вызванный прагматическими потребностями в рамках социолингвистических проблем в ФРГ [7]).

Книга В. Н. Ярцевой представляет собой большой вклад в развитие контрастивной лингвистики в нашей стране, способствует правильному пониманию задач контрастивного исследования и является полезной как для лингвиста-теоретика, так и для любого специалиста, интересующегося проблемами сопоставительного изучения языков.

Домашнев А. И.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Fries Ch. C.* Teaching and learning English as a foreign language. Ann Arbor, 1945, p. 9.
2. *Lado R.* Linguistics across cultures.— In: Applied linguistics for language teachers. Ann Arbor, 1957.
3. *Fries Ch. C., Lado R.* An intensive course in English. Ann Arbor, 1963—1964.
4. *Nickel G.* Contrastive linguistics and foreign language teaching.— In: Papers in contrastive linguistics. Ed. by Nickel G. Cambridge, 1971, p. 5.
5. *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. Л., 1977 г.
6. *Zabrocki L.* Grundfragen der Konfrontativen Grammatik.— In: Schriften des Instituts für deutsche Sprache. Bd. 8: Probleme der kontrastiven Grammatik. Düsseldorf, 1970, S. 31—52.
7. *Ammon U., Loewer U.* Dialekt/Hochsprache — Kontrastiv — Schwäbisch. Düsseldorf, 1977.

Рецензируемая монография М. К. Сабанеевой, несомненно, привлечет внимание широких кругов романистов, классиков, специалистов по общему языкознанию. Развитие системы форм наклонения от латыни к французскому исследуется в монографии с новых теоретических позиций, разработанных самим автором. Семантическое содержание наклонения определяется М. К. Сабанеевой оппозициями двух видов: во-первых — эквивалентной оппозицией индикатива (как формы, выражающей констатацию действия в реальности) косвенным наклонением, т. е. императиву и кондиционалу (как формам, выражающим нереальность действия и способ связи его с действительностью); во-вторых — привативной оппозицией модальных наклонений (индикатив, императив, кондиционал) — амодальному наклонению (субжонктив). Маркированные члены данной оппозиции выражают отношение действия к действительности с позиции говорящего, немаркированный же член ее (субжонктив) данного отношения не выражает.

Новое решение проблемы семантики наклонения, которое, как нам кажется, верно отражает сложность структуры этой категории в языковой действительности, найдено М. К. Сабанеевой в результате ее отхода от общепринятого взгляда на наклонение как на одну из форм выражения категории времени и попытки найти у наклонения собственное содержание, которое, как показывает автор монографии, оказывается богаче, чем констатация реальности или нереальности действия.

Монография состоит из введения и трех частей, посвященных последовательно развитию модального конъюнктива, генезису кондиционала и взаимодействию модальности, вида и времени в системе наклонения. М. К. Сабанеева предлагает конструктивное решение целого ряда теоретических и исторических проблем, которые, несмотря на обилие научной литературы по данной теме, до настоящего времени оставались открытыми. В монографии объясняются: 1) причины сокращения модальных функций конъюнктива от архаической латыни до старофранцузского языка; 2) механизм и речевые условия перерождения модального конъюнктива в амодальный; 3) причины смены форм, выполнявших функцию эвентуальности, от архаической латыни до старофранцузского языка; 4) причины закрепления модальных значений старофранцузского субжонктива за разными видо-временными формами (волеизъявления — за презенсом, эвентуальности — за имперфектом); 5) причины ущербности выражения видо-временных отношений в системе форм косвенных наклонений; 6) причины и пути вытеснения конструкцией *portare habebam* других способов выражения отношения будущего к прошлому. Большое внимание уделяется смысловым взаимоотношениям модальных глаголов с формами наклонений.

Наиболее важным достижением первой части работы следует, как мне кажется,

считать выявление доминирующего значения волеизъявления у конъюнктива в архаической латыни. М. К. Сабанеева показывает, что значение волеизъявления было свойственно разным видо-временным формам латинского конъюнктива, она вскрывает связь между волеизъявлением, повелением и пожеланием и, таким образом, уже на этом плане исследования подводит читателя к объяснению первого важнейшего сдвига в системе конъюнктива: ослабление первичной функции конъюнктива классической латыни произошло в результате перехода оттенков волеизъявления от конъюнктива к более специализированным формам — императиву и модальному глаголу долженствования.

Во второй части монографии выявляются причины образования в поздней латыни нового способа выражения отношения будущего к прошлому. Формирующийся кондиционал рассматривается как новое романское косвенное наклонение, совмещающее две функции (временную и модальную). Временная функция проявляется при отсчете времени от протагониста, модальная же — при оценке действия самим говорящим как эвентуального для плана «настоящее — будущее».

Веским доводом против распространенного в научной литературе мнения о включении кондиционала в систему видо-временных форм индикатива является положение работы М. К. Сабанеевой об отсутствии временных связей кондиционала с актом речи в его временной функции и о нечеткости временной локализации действия у кондиционала в его модальной функции.

Общая целевая установка исследования М. К. Сабанеевой — вскрыть системную обусловленность изменений, происходящих в процессе функционирования языка, — привела ее к структурно-функциональному анализу синхронных языковых срезов архаической и классической латыни и старофранцузского языка. Рассматривая языковые срезы как динамические системы, содержащие в себе возможность преодоления данного состояния, М. К. Сабанеева находит в них «критические» точки, заключающиеся в нарушении соответствия формы ее функции. Это нарушение, как показывает автор монографии, происходит в результате активности говорящего, который при кодировании текста расширяет первоначальное значение формы.

Так объясняется, например, передвижение имперфекта субжонктива в старофранцузском языке из плана прошлого в план настоящего — будущего для выражения субъективного ирреалиса. Многозначность имперфекта субжонктива нарушает объективно принятый в системе принцип формального противопоставления временных планов. Это в свою очередь дает импульс для восстановления указанного противопоставления путем вытеснения имперфекта субжонктива из плана настоящего — будущего формой кондиционала.

Стремление к сохранению формально-противопоставления временных планов справедливо объясняется М. К. Сабанеевой активностью собеседника, т. е. это стремление поддерживается говорящим в интересах декодирующего.

Диалектическое взаимодействие объективного и субъективного факторов определяет, как показано в работе, две общие тенденции развития системы наклонения: 1) передвижение форм из плана прошлого в план настоящего — будущего; 2) возникновение полисемии, не устраняемой контекстом, в результате перехода вторичной функции на позиции доминанты и ее устранение путем распределения полисемичных значений между разными видо-временными формами.

Отличительной чертой монографии М. К. Сабанеевой является индуктивный

метод исследования — от фактов языка к их теоретическому толкованию, метод, который обеспечивает максимально объективное и в то же время критическое отношение как к уже принятым в научной литературе теориям, так и к собственным исходным гипотезам.

Монография М. К. Сабанеевой представляет несомненный вклад в историческую и теоретическую грамматику латинского и французского языков, а также в общее языкознание. Четкость построения работы, ясность и простота изложения сложнейших теоретических проблем, богатый латинский и французский языковой материал делают ее доступной широкому кругу читателей.

Щерба Г. М.

*Straka G. Les sons et les mots.* — Strasbourg: Librairie C. Klincksieck, 1979. 620 p.

Ж. Страка, один из крупнейших специалистов по общей фонетике и фонетике французского языка, в 1947 г. основал при Страсбургском университете Фонетический институт, где он долгое время был директором и где под его руководством были выполнены многие экспериментально-фонетические исследования. Из более чем шестидесяти работ Ж. Страка, посвященных проблемам общей фонетики, фонетическому строю современного французского языка, исторической фонетике французского и других романских языков, в сборник включено двадцать наиболее важных и интересных. Ознакомление с этими работами дает достаточно полное представление об общей лингвистической позиции автора, о решении им отдельных теоретических проблем и его исследовательских методах.

В большинстве статей сборника рассматриваются вопросы общей фонетики и исторической фонетики французского языка. Каждая из работ — вполне самостоятельное исследование (они публиковались в разных изданиях и в разное время). Тем не менее сборник обладает внутренней целостностью, а отдельные статьи читаются как разделы единого труда, связанные общими идеями и представляющие их развитие. Исследования по проблемам исторической фонетики тесно переплетаются с общefonетическими размышлениями: для Страка выяснить артикуляторные закономерности при функционировании языка — это способ объяснить фонетическую эволюцию языков. В этом отношении Ж. Страка продолжает старые общелингвистические традиции. Ж. Страка интересует прежде всего физиологический — артикуляторный — аспект; он не рассматривает ни акустической стороны звуков речи, ни восприятия и почти не касается фонологических отношений. Связь всех работ Ж. Страка с исследовательской тради-

цией XIX в. выражается и в том, что он чрезвычайно внимателен к своим предшественникам: его статьи изобилуют ссылками на разыскания, затрагивающие разбираемые им вопросы; он указывает имена и тех, с кем полемизирует, и тех, кто высказывал сходные взгляды и предлагал аналогичные решения.

В небольшой рецензии не представляется возможным остановиться на всех помещенных в сборнике работах. Ниже будут рассмотрены только те, которые посвящены собственно фонетической проблематике; вопросы исторической фонетики французского языка рассматриваться не будут.

Все исследования Ж. Страка богато документированы экспериментальным материалом, который представляет самостоятельную ценность. Основное внимание Ж. Страка привлекают общие механизмы звукообразования, связанные с наиболее общими фонетическими характеристиками звуков речи. В статье «Дыхание и фонация» анализируется механизм выдоха и действия голосовых связок. Основываясь на материалах своих предшественников, Ж. Страка формулирует общие закономерности расхода воздуха при артикуляции гласных и согласных: расход воздуха увеличивается по мере сужения речевого канала (от открытых гласных к закрытым, от звонких согласных к глухим, от щелевых к смычным). С особенностями расхода воздуха Страка связывает замену звуковысотного ударения силовым: при высоком тоне расходуется меньше воздуха, сохранение равномерного расхода воздуха приводит либо к понижению тона, либо (при высоком тоне) к усилению звука; последнее создает большую нагрузку на голосовые связки, и в результате происходит ослабление признаков ударения (как во французском) или замена музыкального ударения динамическим.

Выполненные в последние годы исследования не подтверждают рассуждений Ж. Страка. В языках с так называемым «динамическим» ударением (русский, английский, немецкий) ударный слог чаще всего выделен длительностью, тоном, а также качеством гласного; большая интенсивность определяется близостью к началу фразы. Термин «динамическое» ударение отражает восприятие ударного слога как выделенного, а не акустические признаки ударения. Превращение так называемого музыкального ударения в динамическое означает, по видимому, изменение фонологической природы ударения, устранение фонологического противопоставления разных типов ударения (это наблюдается сейчас в литовском языке).

Рассматривая строение гортани и механизм образования голоса, Ж. Страка принимает нейрехронактическую теорию Р. Юссона (R. Husson), согласно которой колебания голосовых связок вызваны нервными импульсами. В настоящее время физиологи считают эту теорию недостаточно доказанной и придерживаются мпозластической теории, в соответствии с которой колебания напряженных и сближенных голосовых связок определяют разность между подвязочным и надвязочным давлением.

Ж. Страка определяет согласные [h] и звонкий [h] как гортанные, образуемые на голосовых связках. Однако в соответствии с современными представлениями о механизме образования глухих согласных в потоке речи звонкий гортанный [h] невозможен. Между тем этот звук широко распространен: в языках, где нет оппозиции глухого и звонкого (немецкий, английский, вьетнамский и мн. др.), интervoкальное /h/, как правило, озвончается. Это обстоятельство было одной из причин, по которым Л. В. Щерба определил [h] и звонкий [h] как фарингальные согласные; теперь это подтверждено и экспериментально.

Статья «Может ли быть оправдано деление звуков речи на гласные и согласные» посвящена поискам общего абсолютного критерия для различения этих двух категорий звуков, поскольку все обычно указываемые артикуляторные, акустические и функциональные различия имеют относительный характер и ограниченное применение. Такой абсолютный критерий Ж. Страка видит в особенностях изменения артикуляции в зависимости от ее общей напряженности: «при более энергичной артикуляции согласный закрывается, а гласный открывается». При этом Ж. Страка ссылается на В. А. Богородицкого, термины которого — «ртраскрыватели» и «ртосмыкатели» — он приводит. При энергичном произношении артикуляторный контраст между согласным и гласным в слого увеличивается, при вялом произношении — стирается. Это наблюдение Ж. Страка, подтвержденное богатыми экспериментальными данными, согласуется с современными акустическими исследованиями.

В конце статьи приводится таблица классификации согласных с учетом действующего органа, места артикуляции,

способа образования, участия голоса; в таблицу включены все важнейшие артикуляторные типы согласных. Возражение вызывает лишь введение в нее палатализованных и твердого [t]: поскольку эти звуки характеризуются дополнительной артикуляцией, их наличие в общей классификации излишне.

Тщательные и богато документированные артикуляторные описания содержатся в статье «К истории согласного r во французском», где рассмотрены возможные артикуляции r и фонетические изменения, которые претерпевает этот согласный, и в статье «К описанию и истории согласных типа L», где рассмотрены и систематизированы разные типы l с учетом артикулирующего органа, места артикуляции, узости прохода и ширины контактов языка с небом. Твердый [l], типичный для русского языка, по рентгенограммам характеризуется как апикоальвеолярный фарингализованный (с сужением язычно-фарингального прохода), а не веляризованный (с подъемом задней части спинки языка к небу), как он обычно описывается. Материалы Ж. Страка косвенно подтверждают тем, что русское [l] в целом совпадает с арабским эмфатическим согласным, который тоже определяется как фарингализованный. Возможно, следует говорить о полиморфизме артикуляции русского [l].

По Ж. Страка, любой звук должен быть однозначно отнесен, в соответствии с тем или иным абсолютным критерием, к гласным или согласным. С этих позиций и ропается вопрос о так называемых полугласных во французском и других языках в статье «К вопросу о полугласных». Французские /j, w, y/ Страка по артикуляторным признакам относит к согласным и оценивает как особые фонемы. По его мнению, в их фонологической трактовке как вариантов гласных чувствуется влияние графики, а отсутствие оппозиций [i — j, u — w, y — y] ничего не доказывает, ибо ни один гласный не может образовать оппозицию ни с одним согласным. Это замечание чрезвычайно важно для общей фонологической теории. Действительно, критерий дополнительной дистрибуции сам по себе не позволяет отнести аллофоны к той или иной фонеме. Как подчеркивал Л. Р. Зиндер [1], одну фонему представляют звуки, находящиеся в отношениях дополнительной дистрибуции, но обязательно при этом чередующиеся друг с другом в пределах одной морфемы. Именно возможность такого чередования отличает французские полугласные /j, w, y/ от прочих согласных фонем и затрудняет решение вопроса об их фонологической самостоятельности. Сами по себе фонетические свойства звука не могут служить основанием для его фонологической трактовки. Признавая, вместе с Ж. Страка, фонологическую самостоятельность французских /j, y, w, y/ (хотя и по другим причинам, а не просто в силу их артикуляционных особенностей), нельзя не отметить, что они отличаются от других французских согласных при слогоделении и в чередованиях и поэтому занимают особое место в системе фонем. При описании звуковой системы того

или иного языка выделение такой «промежуточной» группы фонем может быть вполне оправдано.

Статья «Длительность и тембр гласных» посвящена анализу различий в качестве гласных при их удлинении, в основном на материале французского и чешского языков. В обоих языках обнаруживаются две группы гласных; одни, более высокого подъема, при удлинении закрываются, другие, более низкого подъема, — открываются. Во французском граница проходит между /e/ и /e:/, в чешском между /e/ и /a/. Ж. Страка связывает изменение тембра гласных с различиями в действии мускулатуры языка при артикуляции гласных разного подъема. Найденными общезвучными закономерностями Ж. Страка объясняет особенности дифтонгизации гласных в истории французского языка. Общезвучные законы артикуляции являются, по Ж. Страка, основой всех исторических изменений в фонетике.

Этот подход к объяснению фонетической эволюции отражен в заглавии одной из самых обширных статей сборника: «Фонетическая эволюция от латыни к французскому как результат энергичной или ослабленной артикуляции». Фонетические изменения на протяжении истории французского языка классифицируются с точки зрения возможных физиологических механизмов, связанных с ослаблением или усилением артикуляции. Тонкий анализ истории звуковых переходов и богатый экспериментальный материал (палатограммы, кимограммы, рентгенограммы различных звуков речи) представляют основное содержание и главный интерес этой работы. К сожалению, нигде в работе мы не находим анализа фонологических отношений, хотя это исследование создавалось намного позже всеобщего признания фонологической теории и после выхода в свет работ по исторической фонологии французского языка.

Фонетическую эволюцию Ж. Страка объясняет только условиями изменения артикуляции и находит, что в истории французского языка периоды ослабления и усиления артикуляции сменяли друг друга. Причины этого Ж. Страка ищет в факторах чисто физиологических (указывается, например, на изменения иннервации органов речи, зависящие от конституции говорящих), определяемых, по его мнению, материальными условиями жизни, политической и экономической обстановкой, — вульгарно-материалистические объяснения, которые не могут быть приняты.

Отсутствие фонологического подхода при тщательном фонетическом описании обнаруживается и в статье «Возникновение и исчезновение палатальных согласных в эволюции от латыни к французскому». Ж. Страка подчеркивает артикуляторную разницу между палатальными (среднеязычными) и палатализованными (мягченными) согласными (что, к сожалению, и до сих пор не всегда учитывается) и отмечает существование палатализованных в современном французском. Среднеязычные согласные оценены как

имеющие энергичную артикуляцию, отчего они появляются в детской речи вместо твердых. С этим трудно согласиться скорее дело в том, что при артикуляции среднеязычных язык занимает примерно то же положение, что и в состоянии покоя.

Ж. Страка подчеркивает, что среднеязычные согласные выступают как простые единицы в звуковой системе языков, и их толкование как сочетаний согласных объясняет акустическим впечатлением от их рекурсии. Между тем дело здесь не столько в особенностях артикуляции или звучания, сколько в фонологических отношениях. С фонологическими отношениями (а не с силой артикуляции, как полагает Ж. Страка) следует связывать и само наличие смягченных согласных: так, палатализация согласных /t, d, n/ отсутствует в тех языках, где есть противопоставление переднеязычных среднеязычным — например, в чешском (а если такая палатализация возникает, возможно исчезновение среднеязычных как особых фонем, что происходит во французском с /r/) или в тех, где в слове CV аллофонное варьирование гласных подчинено согласным (английский, немецкий).

Для фонологической позиции Ж. Страка очень показательна его работа «О носовых гласных, их происхождении и эволюции во французском». Фонологические объяснения, которые, по Страка, сводятся к необходимости сохранить оппозицию типа *bas — banc, pope — potpe*, справедливо отвергаются. Не согласен Страка и с тем, что носовые гласные появляются в момент исчезновения после них носовых согласных, ибо в ряде языков (португальский, польский) и во французских диалектах консонантный элемент присутствует. Очевидно, что эта критика отнюдь не опровергает роли фонологических факторов; приводимые Страка аргументы касаются чисто фонетического механизма артикуляции, тогда как проблема появления и существования носовых гласных во французском — проблема фонологическая. Носовые гласные как особые фонемы действительно возникают тогда, когда создается оппозиция  $\tilde{V} \sim V, \tilde{V} + N \sim V + N$ , а это связано, с одной стороны, с исчезновением носовых согласных, а с другой — с невозможностью рассматривать  $\tilde{V}$  как  $V + N$  по морфологическим соображениям.

Отказ от фонологических толкований и замена их фонетическими — вот основная мысль, которую проводит Ж. Страка. В статье, где рассматривается падение конечно-слогового *s*, он пишет о «всеобщей значимости физиологических законов, которые играют ведущую роль в фонетической эволюции языка» (с. 457). Мы не можем согласиться с таким пониманием фонетической эволюции; физиологические артикуляторные закономерности объясняют только механизм возможных звуковых изменений, а не причину их осуществления.

Работы Ж. Страка ценны прежде всего детальным анализом фонетической реальности, рассмотренной на большом экспериментальном материале во многих язы-

*Imart G. Le Kirghiz. Description d'une langue de littérisation récente. Avec une étude sur: Le dialecte kirghiz du Pamir afghan par Dor R. — Aix-en-Provence, 1981.*

Книга Г. Имара — синхронное описание киргизского языка — ротапринт в двух больших томах — представляет собой докторскую диссертацию, завершённую автором под руководством известного французского тюрколога проф. Л. Базэна и проф. П. Гарда. К книге приложен небольшой очерк, посвящённый описанию киргизского диалекта киргизов афганского Памира другого автора — Р. Дора.

Исследование Г. Имара, как и некоторые другие диссертации и исследования, реализованные под руководством проф. Л. Базэна и его коллег и учеников, например, работа Ж. Бастуджи «Пространственные отношения в современном турецком языке» [1], отличающаяся оригинальностью и вместе с тем тщательностью решения тюркологических проблем, новыми аспектами и ракурсами рассмотрения ряда спорных вопросов тюркского языкознания, своеобразными сопоставлениями и сравнениями, выходящими за рамки традиционного описания фактов тюркской фонетики и грамматики и вместе с тем с учётом всех новейших исследований, выполненных не только французскими и западноевропейскими лингвистами, но и тюркологами Советского Союза и в первую очередь крупнейшими специалистами по киргизскому языку К. К. Юдахиним, И. А. Батмановым, Б. М. Юнусалиевым, Б. О. Орусбаевой, С. К. Кудайбергеновым и др.

Своеобразие работы Г. Имара заключается прежде всего в системности и строгой последовательности рассмотрения всех фактов и явлений киргизского языка по всем его основным уровням, что выразилось также и в соответствующей системной рубрикации изложения фактического материала каждого уровня, состоящей из основных разделов, объединяющих несколько частей и подчастей, которые, в свою очередь, расчленяются на секции и подсекции, а секции на главы или статьи и подглавы, наконец, последние распадаются на 292 параграфа и подпараграфа. Таким образом создается очень строгая иерархическая последовательность в описании всех фактов киргизского языка, позволяющая соответственно соотнести между собой различные категории языка и определить их соподчинённость.

После предварительных сведений о киргизском алфавите и орфографии, о транскрипции и транслитерации, использованной автором в своей книге, и обо всех условных обозначениях, двух схематических карт распространения киргизского

языка, а также после тщательно отработанного оглавления книги, занимающего 30 страниц и хорошо представляющего всю структуру книги, исследование Г. Имара композиционно разделяется на четыре основных раздела.

Первый раздел — «Фонематическая характеристика киргизского языка» — состоит из четырёх частей: первой — о с т и, устанавливающей методику исследования фонематической структуры слова и морфемы, второй — посвящённой фонематическому анализу в парадигматическом плане, в которой автор описывает фонемный состав киргизского языка с соответствующими классификациями гласных и согласных, третьей — о с т и, содержащей фонематический анализ в плане синтагматическом со всеми соответствующими закономерностями, связанными с функционированием фонем в слове и слове, анализом сингармонизма гласных и согласных, механизмом агглютинации, особенностями контактирования фонем на стыках морфем, прогрессивной и регрессивной ассимиляции и диссимилиацией в составе слова, явлениями эпитезы, протезы, метатезы, сандхи и проч., и последней — о с т и, посвящённой вопросам развития фонематической структуры киргизского языка в советскую эпоху в связи со значительными заимствованиями русских слов и освоением новых звуков, корректирующих фонематическую структуру киргизского языка.

Второй раздел книги — «Типы значимых единиц» — содержит морфологическую характеристику киргизского языка и состоит из одной части, в которой автор подробно, сначала в синхронном плане, классифицирует и анализирует морфемную структуру киргизского слова, устанавливая различные типы морфем, их значение, их структуру и характер их образования, а затем в историко-типологическом плане исследует конструирование слова, процессы, устанавливающие механизм агглютинации и основные закономерности, связанные с агглютинацией и её универсальностью, принципы эвонимии грамматических средств, систему иерархии аффиксов и отсутствие префиксации и инфиксации. Далее в связи с механизмом агглютинации автор анализирует природу киргизского ударения, основного и вторичного, и их место в простом и сложном слове, а также в группе слов и в словах заимствованных из русского и других языков, останавливаясь в то же время на критике существую

щих воззрений на природу тюркского ударения. В заключение этого раздела автор приводит общую типологическую классификацию морфем в киргизском языке, устанавливая два класса: 1) *д е р и в а ц и о н ы й* (словообразовательный) т. е. морфем, образующих значение слова и переход слов из одной части речи в другую, к которым он относит четыре типа аффиксов, образующих: а) имя от имени ( $N \rightarrow N$ ), б) глагол от имени ( $N \rightarrow V$ ), в) имя от глагола ( $V \rightarrow N$ ) и г) глагол от глагола ( $V \rightarrow V$ ); 2) *ф л е к с и о н ы й* (словоизменительный), т. е. морфем-аффиксов, выражающих отношение слов в составе предложения и словосочетания.

Второй раздел книги завершается индексом всех аффиксальных морфем. Они классифицируются следующим образом:

1. Именны е с у ф ф и к с ы с подразделениями на: 1.0. Продуктивные: 1.00. Межименные (Intraomniаnа) словоизменительные; 1.01. Межименные словообразовательные; 1.02. Словообразовательные конвертирующие (Translatifs) и 1.10. Непродуктивные: 1.10. Межименные словообразовательные; 1.11. Словообразовательные; 1.12. Словообразовательные конвертирующие.

2. Г л а г о л ь н ы е с у ф ф и к с ы с подразделениями на: 2.0. Продуктивные: 2.00. Словоизменительные; 2.01. Словообразовательные; 2.02. Смешанные; 2.03. Конвертирующие и 2.1. Непродуктивные: 2.10. Смешанные; 2.11. Словообразовательные; 2.12. Конвертирующие.

3. С у ф ф и к с ы 3 - г о к л а с с а, к которым автор относит суффиксы, образующие экспрессивные формы имен и глаголов.

4. С у ф ф и к с ы - ч а с т и ц ы: вопроса, сомнения и убеждения.

Раздел третий и центральный в книге состоит из трех частей.

Первая часть представляет анализ именных частей речи, к которым автор относит так называемые «имена в собственном смысле слова» (Stricto sensu) с соответствующими категориями словоизменения (падежей, принадлежности и лица) и их парадигмами. Собственно именами автор считает имена существительные, местоимения и числительные, разделяя их на субстантивные, адъективные и адвербиальные формы, выделяя в особую группу имена прилагательные и наречия вместе с их словообразованием и в том числе образованием степеней сравнения. Далее в той же части автор переходит к словообразованию имен путем аффиксации и лексикализации словосочетаний с их характеристикой с точки зрения семантической, а также морфологической и синтаксической функций.

Во второй части, посвященной глаголу, дается общая характеристика глагола в семантическом, морфологическом и синтаксическом аспектах. В ней рассматриваются все основные категории глагола, включающие вид, залог, наклонение и время и их образование морфологическим и синтаксическим путями. Особо выделены автором перифрастические формы киргизского глагола, представляющие собой различные сочетания причастных и дее-

причастных неличных форм глагола с *verbum finitum*, образующие многообразные модально-временные, видо-временные и прочие аналитические формы.

В последней части 3-го раздела дан анализ единиц третьего класса, к которым относятся союзы, послелоги, частицы, а также междометия и мимемы, с их словообразованием.

В четвертом разделе книги исследуются синтаксис киргизского языка. Первая часть раздела содержит общие вопросы, определяющие характер синтаксиса и синтаксических категорий, вторая часть — типологическую характеристику основных синтаксических единиц, третья — рассматривает типы синтаксической связи подчинительной и сочинительной, четвертая — различные типы предиката и прочих членов предложения.

Все разделы, части и прочие подразделение в соответствующей иерархии исследования снабжены автором обильным и хорошо подобранным фактическим материалом.

Как видно из изложения всех разделов, частей и параграфов работы, исследование Г. Имара представляет собой общую типологическую характеристику киргизского языка по всем основным его уровням: фонологическому, морфологическому и синтаксическому. Автор в некоторой степени использовал опыт советских тюркологов как в отношении самой методики исследования, так и в отношении терминологии, о чем свидетельствуют его воззрения, например, в трактовке знаменательных частей речи и их функциональных форм субстантивных, адъективных и адвербиальных, а также выделения прилагательных и наречий как функциональных форм (адъективных и адвербиальных) общего предметно-качественного имени.

Глубокий анализ всех фактов и явлений основных уровней киргизского языка, широкий охват материала и отработанная автором методика бинарных оппозиций и последовательная дихотомия сравнений и сопоставлений позволили автору представить в своем исследовании наиболее полное и продуманное описание одного из тюркских языков, сохранивших самобытные и характерные черты и последовательную агглютинацию.

Несмотря на то, что автором достаточно полно учтено своеобразие тюркских языков и применена соответствующая специфике агглютинативных языков схема описания грамматической структуры киргизского языка, все же в книге Ги Имара сохранились следы не до конца преодоленных грамматических традиций осмысления некоторых явлений и фактов с позиции описания грамматики индоевропейских флективных языков. Так, не до конца проведен принцип классификации аффиксальных морфем в структуре киргизского слова, равно как и не точно определены границы между различными типами словообразования, с одной стороны, и между словообразованием и словоизменением, — с другой.

Неправомерно, как нам представляется, отнесены к словоизменительным суффиксам (Suffikeses de Désinence) аффиксы, образующие категории модальности

времени, которые в тюркских языках, как правило, не имеют особого аффиксального оформления, совпадая с причастными или исторически происходящими от причастий формами. Причастные формы выражают одновременно как категории модальности и времени, так и категории причастий, которые являются функциональными формами глагола, а аффиксы, образующие причастия и соответствующие категории модальности и времени, относятся к функционально-грамматическому словообразованию. Кстати, в книге не всегда последовательно классифицированы функциональные формы глагола: глагольные имена, причастия и деепричастия, из которых первые — глагольные имена и частично причастия — отнесены к именным частям речи, а деепричастия к глагольным формам; несколько затемнена в книге и классификация субстантивных, адъективных и адвербиальных форм именных частей речи. Спорным, с нашей точки зрения, представляется также выделение в качестве особых предикативных слов *bar* «наличие; есть, имеется» и *d̄zoq* «отсутствует; нет, не имеется» (*Predicats nominaux bar/ jok*, § 1387), которые по существу представляют собой обычные имена с реальным значением, изменяющиеся по всем основным категориям словоизменения и не отличающиеся от других имен существительных, выполняющих функцию сказуемого со связкой или без связки. Впрочем, неправомерное выделение этих слов в качестве «предикативных» вошло в традицию и в советской тюркологии.

Наконец, следует выразить некоторое сожаление по поводу того, что автор во всех случаях передачи фактического материала пользовался не транскрипцией, а существующей графикой и орфографией, применяющей некоторые условности, и только в разделе фонетики и фонологии отдельные примеры даны в фонетической транскрипции. И хотя киргизская графика и орфография довольно точно передают фонемный состав киргизского языка, все же некоторые знаки киргизского алфавита, например, *ж* (*dž*), *з* (*g*, *γ*), *л* (*l*, *l'*), *к* (*k*, *q'*) и проч. только приблизительно передают соответствующие звуки.

Впрочем, в вводной части книги автор оговаривает принципы передачи фактического материала в грамматической части своего труда.

Приведенные выше критические замечания ни в какой степени не влияют на общее впечатление о превосходной книге Г. Имара, создавшего одно из лучших систематических описаний конкретного тюркского, в данном случае, киргизского, языка, его общих типологических особенностей, его фонологии со всеми оппозициями, определяющими точно фонологическую структуру, его морфологические и синтаксические категории,

изложенные в последовательной системе, характеризующей во всех деталях тип киргизского языка. Труд Г. Имара вместе с тем дает полное представление о тех успехах французской тюркологии, которые достигнуты известной школой Ж. Дени и Л. Баззана в теоретическом осмыслении структуры тюркских языков и в их изучении.

Как уже отмечалось в начале рецензии, к книге Г. Имара приложено небольшой (44 с.) очерк Р. Дора «Диалект языка киргизов афганского Памира».

Автор очерка рассматривает свои заметки как самые предварительные сведения о данном диалекте. Тем не менее, эти сведения представляют значительный интерес, поскольку литература о тюркских языках и диалектах Афганистана представлена в тюркологии только единичными исследованиями [2, 3], а о киргизском языке афганского Памира работа Р. Дора является по существу первой.

Несмотря на краткость очерка, автор дает в нем достаточно необходимое представление о месте данного диалекта среди других диалектов и языков афганского Памира, о его носителях, принадлежащих к родоплеменным подразделениям киргизов Тейет и Кезек и отчасти к Наиманам и Кыпчакам, о влиянии на данный диалект тюркских (узбекского и новотуркского) и иранских языков афганского Памира и главное — в достаточной степени освещает особенности диалекта как в отношении фонетической, так и грамматической его структуры.

В фонетическом разделе, кроме состава фонем, приведены также и основные закономерности гласных и согласных, а в морфологическом рассмотрены все части речи и процессы словообразования и словоизменения с соответствующими иллюстративными примерами и целыми фразами в общепринятой международной тюркологической латинской транскрипции. Отсутствует в очерке только характеристика лексики данного диалекта.

Очерк Р. Дора представляет не только значительный интерес для киргизского языковедения, но и для общей тюркологии.

Баскаков Н. А.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Bastuji J.* Les relations spatiales en Turc contemporain. Etude sémantique — Etudes linguistiques. XX. Paris, 1976.
2. *Jarring G.* Uzbek texts from Afghan Turkestan. With glossary. Lund — Leipzig, 1938.
3. *Jarring G.* On the distribution of Turk tribes in Afghanistan. Lund — Leipzig, 1939.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

14 января 1982 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись традиционные тридцатые чтения памяти академика Виктора Владимировича Виноградова, посвященные проблеме функционирования грамматических категорий, разработка которой всегда находилась в поле деятельности ученого.

В докладе Л. И. Скворцова «Системное и нормативное в грамматике (на материале русской морфологии)» основное внимание было уделено вопросам соотношения системы языка и нормы, проблемам морфологической вариантности, причины которой, по мнению докладчика, следует искать как в историческом прошлом языка, так и в закономерностях его развития, в процессах ассимиляции иноязычных слов, приходящих в противоречие со сложившейся системой и, соответственно, нормами заимствующего языка. Характерное для грамматики преодоление противоречия формы и содержания языковых единиц было показано в докладе на материале несложняемых существительных (главным образом заимствованных неологизмов), относящихся к разным грамматическим родам или имеющих по преимуществу форму множественного числа. Родовая квалификация заимствованных слов не связана теперь с соответствующим оформлением в языке-источнике (как это было в XVIII—XIX вв. и даже в нач. XX в.), а зависит в основном от того общего понятия, к которому принадлежит слово. Однако отнесение того или иного слова к общему понятию неустойчиво, оно изменяется во времени. Этим и объясняется, по мнению докладчика, вариантность отнесения к грамматическому роду таких слов, как *цунами*, *кроки*, *драпри*, *жалюзи*, *ралли* и т. п., непоследовательность их грамматической квалификации в существующих толковых словарях и справочниках. В русском литературном языке за последние 150—200 лет, как подчеркивалось в докладе, произошла смена установок в грамматическом оформлении неизменяемых заимствованных слов: от формально-грамматической к содержательно-смысловой, при этом опора на понятийную сторону, динамически изменяющуюся во времени, соотносится с системными явлениями (грамматическим обликм слов), что оказывается решающим в нормативной судьбе морфологических вариантов.

В выступлении А. В. Бондаряко «Грамматическая форма и контекст»

были рассмотрены различные подходы к соотношению «форма — контекст», в частности, подходы, связанные с использованием понятий частного значения и функции грамматической формы. Основное внимание в докладе было уделено понятию «категориальная ситуация», которая определяется как выраженная в высказывании типовая сигнификативная ситуация, выделяемая на основе принадлежности ее элементов к определенному функционально-семантическому полю, т. е. на основе определенной семантической категории. Речь идет о разовом понятии, охватывающем такие видовые понятия, как аспектуальные, темпоральные, модальные, персональные, залоговые ситуации, ситуации определенности/неопределенности, качественные, possessивные, компаративные, каузальные, кондициональные, локативные и т. п. Понятие категориальной ситуации, как подчеркивал докладчик, связанное с направлением грамматического описания от семантики к формальным средствам ее выражения, включается в систему понятий и терминов функциональной грамматики.

Доклад П. А. Соболевой «Число как лексико-грамматическая категория» был посвящен вопросу о категории числа имен существительных, рассматриваемой как грамматико-словообразовательная. Большое внимание было уделено типам семантических связей между формами единственного и множественного числа в пределах слова: грамматико-семантическому и лексико-семантическому. Делается вывод, что для грамматического типа связи значений характерно равенство с единственным числом и ожидаемая предсказуемость значений множественного числа. Лексико-семантический тип отношений между формами единственного и множественного числа имеет место тогда, когда налицо непредсказуемое различие в лексических значениях, однако лексическое значение у формы множественного числа семантически выводимо из единственного, например: *лес — леса* (сооружение из досок), *час — часы* (прибор), *вода — воды* (курорт). Большое внимание здесь уделено решению вопроса о том, следует ли говорить о синонимии или омонимии в случаях: *барашки* «молодые животные» и *барашки* «волны, облака». Докладчик считает, что это не омонимы, а различные значения одного слова: морфологически связанные и свободные. Исходя из рассматриваемых типов связи между лексическими значениями слов в форме единственного и множествен-

ного числа, докладчик намечает области, тяготеющие к словообразованию: ожидаемо-предсказуемого значения слова во множественном числе (*почки, зубы, воды*) и непредсказуемого, но семантически выводимого на основании единственного числа. С этим вопросом докладчик связывает также распределение множественного числа на множественное дистрибутивное и множественное коллективное, свободно коррелирующие с единственным числом. В рамках множественного коллективного особо выделяется множественное цельносоставное у семантического разряда сложных действий (типа: *хлопоты, горелки, схватки* (родовые, ср. *схватки с врагом*). На основании изложенного делается вывод, что категория множественного числа имен существительных является грамматико-словообразовательной.

В. В. Иванов в докладе «О становлении будущего аналитического в русском языке» на материале памятников XI—XV вв. рассматривал вопрос образования аналитической формы будущего времени — *буду* + инфинитив. Развивая положение акад. В. В. Виноградова о том, что в *буду читать* нельзя видеть свободного сочетания двух слов или двух форм; это одна сложная (аналитическая) форма будущего времени глагола *читать*, целостное грамматическое единство, докладчик полностью семантического анализа и четко доказательство сделал шаг вперед в этом вопросе. Была показана история сочетаний *хочу, иму, начну* + инфинитив с точки зрения выражаемого ими значения, путь превращения которых в аналитическую форму лежал, по мнению докладчика, через синтетизацию компонентов сочетания и превращение вспомогательного глагола из лексически полнозначного в связку с нейтральным лексическим значением, разделенную только грамматическими признаками. Выступавший подробно остановился на факторах, способствовавших или, наоборот, препятствовавших превращению инфинитивных сочетаний с *хочу, иму, начну* в качестве вспомогательных в аналитическую форму будущего времени. Это: контекст, реальная ситуация, определявшая лексико-грамматическое содержание этих сочетаний, ограниченность их предикативных связей: избирательность по отношению одушевленности/неодушевленности агенса, наличие лексических коррелятов вспомогательных глаголов. Делается вывод, что указанные инфинитивные сочетания не могут считаться идеальными для выполнения функции обозначения будущего времени несовершенного вида. В русском языке в этом случае закрепилось сочетание *буду* + инфинитив. Докладчик подробно остановился на причинах этого явления, связывая их с изменением семантики глагола *буду*. Утрата глаголом *буду* ингрессивного значения превращала его в грамматическую связку времени; лишенный лексического зна-

чения, он оказался среди других вспомогательных глаголов наиболее подходящим для того, чтобы выступить в составе аналитической формы будущего времени. Однако эта форма нашла позднее отражение в памятниках письменности (не ранее XIV в.), а нормой становится лишь в XIII—XVIII вв. По мнению докладчика, дело в том, что сочетание *буду* + инфинитив первоначально в ингрессивном, модальном и др. значениях существовало в говорах древнерусского языка уже ко времени появления письменности, но не получало доступа в памятники до XIV—XV вв., поскольку было чуждо книжному языку, воспринимаясь как просторечное, разговорное. Глагол *буду*, лишенный самостоятельного лексического значения в сочетании с инфинитивом, принимает на себя функции формы будущего времени несовершенного вида и с расширением торгово-экономических связей внутри государства постепенно проникает в письменный язык, превратившись к XVIII в. в норму, что явилось отражением закрепления в письменности явлений разговорной речи.

В выступлении Е. Н. Прокопович «Формы глагольного времени в их употреблении» (на примере «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова) шла речь о синтагматике видо-временных форм глагола, понимаемой широко. Она не ограничивается, по мнению докладчика, валентностью, сочетаемостью, синтаксическими связями глагола с зависимыми именными образованиями, а распространяется на сферу синтаксического употребления видо-временных форм в составе глагольного предложения. На синтаксическом уровне (а не в составе временной парадигмы) эти формы глагола, разнообразные в структурно-семантическом отношении, приобретают целый ряд не только грамматических, но и стилистических особенностей. Так, в сложном и специфичном лермонтовском сказе одни формы можно считать примерами. «сигналами» сказа, другие — нейтральны в этом отношении; одни формы можно рассматривать как особенность печоринского сказа, другие — сказа Максима Максимыча, третьи — следует связывать с образом автора-рассказчика. Синтагматика любой морфологической категории, как обобщил докладчик, любой формы, ее употребление в составе предложения и более сложных синтаксических структур, в связях и отношениях с другими формами — это ее жизнь, это та «активная грамматика», над которой работал В. В. Виноградов.

Виноградовские чтения 1982 г. показали, что проблема функционирования морфологических категорий, над которой в течение всей своей жизни работал акад. В. В. Виноградов, находит успешное решение в трудах его продолжателей.

Юношева В. К. (Москва)

9—11 декабря 1981 г. в Институте русского языка АН СССР состоялось очередное заседание Комиссии по изучению грамматического строя славянских языков при Межгосударственном комитете славистов. Оно было посвящено обсуждению двух проблем: «Глагольный вид и связанные с ним категории в их реализациях» и «Разные виды темпоральных значений предложения и способы их выражения». В заседании участвовали члены Комиссии, представляющие славистов НРБ, ВНР, ГДР, СССР, СФРЮ, ФРГ, ЧССР, а также сотрудники Института русского языка АН СССР и других московских институтов.

Большая часть докладов была посвящена обсуждению проблем вида в русском и других славянских языках. А. В. Бондарко (СССР) в докладе «Аспектуальные ситуации» сосредоточил внимание на проблеме соприкосновения аспектологии с областью описания функционально-семантических полей. Аспектуальная ситуация, по определению докладчика, это отражаемая в содержании данного высказывания ситуация, рассматриваемая с точки зрения ее аспектуальных элементов. Во всех многообразных типах аспектуальных ситуаций реализуется взаимодействие компонентов поля аспектуальности, и потому исследование аспектуальных ситуаций органично включается в описание поля, проектируемого на высказывание и текст в целом.

М. И в и ч (СФРЮ) в докладе «Видо-временные формы глагола, представленного в референционном значении» рассмотрела вопрос о роли категории вида в организации оппозиции значений «регулярность/нерегулярность». Анализ форм, связанных с аспектуальностью повторяемости действия в прошедшем, настоящем и будущем временах, показал, что видовые формы глагола могут сигнализировать об оппозициях «регулярно/нерегулярно» и «абсолютно регулярно/относительно регулярно». Было подчеркнута также, что инвентарь референционных глагольных форм с временным значением не должен совпадать с соответствующим инвентарем референционных форм.

Проблеме аспектуальных универсалий и доминантных семантических признаков аспектуальности был посвящен доклад Л. Д э ж е (ВНР) «Общая аспектология и вид в русском языке». Отметив, что в настоящее время слависты располагают набором семантических признаков и формальных средств выражения аспектуальности на основе данных разных языков, докладчик высказал и обосновал предположение о наличии двух главных типов аспектуальности: качественной и количественной.

А. Е. М и х н е в и ч (СССР) в докладе «Средства разграничения видовых значений в письменном тексте» выделил и подробно охарактеризовал четыре группы таких средств: паратекстные (графика, рифма и ритм), собственно текстовые, видовая координация глаголов, лекси-

ческие и грамматические категории во вторичной функции), контекстные (интерпретация семантических и синтаксических особенностей построения фразы с омографическим глаголом) и внетекстовые (анализ конституции). Решение этой проблемы позволит установить многообразные связи видовых значений с другими языковыми категориями и приблизит к построению типологии средств выражения видовых значений.

Ф. М и х а л к (ГДР) в докладе «О некоторых вопросах вида, времени и способа действия в серболужицком языке» подверг критике ошибочные представления об отсутствии в серболужицком языке категории вида. Докладчик проанализировал три релевантные позиции для форм несовершенного вида, а также рассмотрел случаи взаимодействия категорий вида и времени.

В докладе П. А. С о б о л е в о й (СССР) «Опыт упорядочения способов глагольного действия (семантические условия перфективации)» было показано, что такое упорядочение возможно с помощью деревьев семантических дифференциальных признаков, и подробно проанализированы дерево темпоральных и дерево количественных признаков. Решение проблемы иерархического упорядочения способов глагольного действия прояснит отношение этих способов друг к другу, выявит относительную простоту или сложность их значений и подчиненность одних значений другим.

М. К о м а р е к (ЧССР) в докладе «Роль префиксации в системе глагольного вида — к вопросу о так называемых пустых приставках (на материале чешского языка)» основное внимание уделил семантическому анализу перфективных глаголов с приставкой *u-*. Результаты анализа, по мнению докладчика, свидетельствуют о том, что даже так называемые пустые приставки являются носителями вневидовых значений и определяют место глагола в системе способов действия.

В докладе К. И в а н о в о й (НРБ) «Взаимоотношения между аспектуальностью и партиципальностью на синтаксическом уровне» были приведены доказательства организующей роли аспектуальной характеристики в составе синтаксических единиц. Рассмотренный докладчиком материал показал, что существует ряд способов действия, посредством которых в составе минимальной глагольно-именной структуры можно выразить либо только (+парт.), либо только (—парт.).

Семантическая классификация лексем с предикатным значением была предложена Т. В. Б у л ы г и н о й (СССР) в докладе «Факторы, регулирующие функционирование видо-временных форм (лексика, грамматика, прагматика)».

Рассмотрению вопроса о текстообразующей функции вида в связи с выражением «определенности/неопределенности» Х. Ш а л е р (ФРГ) посвятил доклад «Вид глагола и текстовая лингвистика славянских языков». Докладчик проанализировал две существующие возможности употребления вида в тексте: упот-

ребление глаголов одного вида и употребление глаголов разных видов.

М. Я. Г л о в и н с к а я (СССР) в докладе «О некоторых модальных значениях видовых форм» отметила, что представляет интерес изучение частных видовых значений с точки зрения того, как они соотносятся с главными значениями видов. Исследование частных видовых значений, являющихся либо модальными, либо модусными, дало основание докладчице сделать вывод о нецелесообразности применения понятий маркированности — немаркированности к оппозиции видов.

К. М и л о ш е в и ч (СФРЮ) в докладе «Категория аспекта и связанные с ней категории, используемые для темпоральной детерминации в сложном предложении с придаточным времени в сербохорватском языке» обратила внимание на правила и возможности совместного действия аспектуального значения с иными семантическими категориями (на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях), формирующими разные виды темпоральных отношений.

Определению правил употребления видов в деепричастных конструкциях был посвящен доклад Р. Р у ж и ч и (ГДР) «Семантические и синтаксические импликация видового противопоставления деепричастных форм». По мнению докладчика, основной фактор, регулирующий употребление видов, заключается в том, что в релевантной для выбора видов контекст включается конституируемое деепричастием семантическое отношение между деепричастным оборотом и синтаксическими элементами, составляющими его сферу действия.

Б. К о р у б и н (СФРЮ) в докладе «Глагольный вид и интранзитивация переходных глаголов» на материале македонского языка рассмотрел условия употребления глаголов с нереализованным прямым объектом. Актуальная интранзитивация находится в определенном соотношении с семантикой вида и охватывает только переходные глаголы совершенного вида начинательного, ограничительного и финитивного способов действия.

Ряд докладов был посвящен проблеме «Разные виды темпоральных значений предложения и способы их выражения».

Д. С т а н и ш е в а (НРБ) в докладе «Единицы лексики и грамматики, вы-

ражающие темпоральное значение „период“ в некоторых славянских языках» обратила внимание на расширение в болгарском языке (в отличие от русского и чешского) состава глаголов с общей семой «период». Докладчик подверг критике мнение о том, что в болгарском языке предлоги явились единственным заместителем утраченных надежных морфем, и высказал предположение о возрастании смыслоразличительной роли лексики в болгарском языке как языке аналитического строя.

Описанию значений сложноподчиненных предложений с временными союзами, а также соотношению их значения и формы Л. П о п о в и ч (СФРЮ) посвятил доклад «Проблема полисемии и формальной дифференциации значений в сложноподчиненных предложениях с временными союзами (на примере предложений с союзом *pre nego što*)». В докладе различается несколько семантических типов сложноподчиненных предложений с этим союзом, означающих непосредственное предшествование, временной приоритет, разграничение релевантного предшествующего периода и антиципативность (предварительность). Временные и имплицитивные характеристики данных предложений связаны с ударностью — безударностью союза, комбинацией видов глагола, интенсивностью фразового ударения и др.

В докладе Й. М и с т р и к а (ЧССР) «Корреляция между темпоральным значением глагола и текстом» на материале словацкого языка было показано, что в формировании временного значения глагола, кроме собственно-грамматических средств, используются лексико-семантические, синтаксические, контекстные и паралингвистические средства.

Доклады участников заседания вызвали оживленную дискуссию, в ходе которой были затронуты поднятые в большинстве сообщений проблемы. Обсуждение актуальных вопросов теории и практики описания грамматической системы славянских языков в докладах, а также в дискуссионных выступлениях представляет собой реальный вклад в лингвистику и свидетельствует о плодотворности заседания Комиссии.

Белюсов В. Н., Суханова М. С. (Москва)

## CONTENTS

**Articles:** Trubačev O. N. (Moscow). Linguistics and ethnogenesis of the Slavs: Ancient Slavs in the light of etymological and onomastic data; [Filiin F. P.] (Moscow). On the word-stock of the Great-Russian people's language; **Discussions:** Borodina M. A. (Leningrad). Dialects or regional languages? (on the linguistic situation in modern France); Sveicer A. D. (Moscow). On the social differentiation of language; Belyi V. V. (Vinnitsa). W. D. Whitney and the development of American descriptivism; Džaukjan G. B. (Yerevan). Indo-European phoneme \*b and problem of reconstruction of Indo-European consonantism; **Materials and notes:** Gercenberg L. G. (Leningrad). On the traces of Indo-European prosody in Latin; Degtjarev V. I. (Rostov-on-Don). Formal expression of relations between predicate and subject with collective meaning in Old Slavonic languages; Mur'janov M. F. (Moscow). Once more on the menaion of Dubrovskij; Malkova O. V. (Moscow). On the disappearance of reduced vowels in Slavonic languages and the development of Ukrainian ikavism; Petr J. (Prague). On the implementation of the program «National languages in the advanced socialist society»; Burčuladze G. T. (Kaspi). Reduplication and grammatical classes in Lakian; **Reviews; Scientific life.**

## SOMMAIRE

**Articles:** Trubačev O. N. (Moscou). La linguistique et l'éthnogenèse des slaves. Slaves anciens selon les données de l'étymologie et de l'onomastique (suite et fin); [Filiin F. P.] (Moscou). Sur le vocabulaire de la langue du peuple grand-russe; **Discussions:** Borodina M. A. (Léningrad). Dialectes ou langues régionales? (sur la situation linguistique dans la France contemporaine); Sveicer A. D. (Moscou). Sur la différenciation sociale de la langue; Belyi V. V. (Vinnitsa). W. D. Whitney et la naissance du descriptivisme américain; Džaykjan G. B. (Yérevane). Le phonème indoeuropéen \*b et les problèmes de la reconstruction du consonantisme indoeuropéen; **Matériaux et notices.** Gercenberg L. G. (Léningrad). Sur les vestiges de la prosodie indoeuropéenne en latin; Degtjarev V. I. (Rostov-sur-Don). Expression des rapports entre prédicat et sujet à sens collectif dans les langues slaves anciennes; Mur'janov M. F. (Moscou). Une fois de plus sur le menaion de Doubrovskij; Malkova O. V. (Moscou). Sur la chute des voyelles réduites dans les langues slaves et le développement de l'ikavisme ukrainien; Petr J. (Prague). Sur la réalisation du programme «Langues nationales dans la société socialiste avancée»; Burčuladze G. T. (Kaspi). Reduplication et classes grammaticales en lakien; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.06.82 Подписано к печати 08.09.82 Т-10572 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>  
Высокая печать Усл. печ. л. 12,6 Усл. кр.-отт. 77,7 тыс. Уч.-изд. л. 15,3 Бум. л. 4,5  
Тираж 6082 экз. Заказ 1837

Издательство «Наука». 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10